

**ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН**

**Д.В. Винник, Ю.В. Попков, Н.С. Розов,
Е.А. Тюгашев, В.В. Целищев, А.А. Шевченко**

**НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ**

**Новосибирск
Манускрипт-СИАМ
2013**

УДК 1/14
ББК 87
В48

*Исследования, нашедшие отражение в монографии,
поддержаны Интеграционным партнерским проектом
СО РАН и УрО РАН т. 26 (2012–2014 гг.) «Новые парадигмы
социального знания»*

Утверждено к печати Ученым советом
Института философии и права СО РАН

Ответственный редактор
В.В. Целищев

**Винник Д.В., Попков Ю.В., Розов Н.С., Тюгашев Е.А.,
Целищев В.В., Шевченко А.А.**

В48 Новые парадигмы социального знания. – Новосибирск: Ма-
нускрипт-СИАМ, 2013. – 390 стр.
ISBN 978-5-93240-240-5

В монографии представлены новые направления в исследованиях основных трендов социального знания. Рассмотрены новые парадигмы социального знания, возникшие в последние два десятка лет, которые объясняют ряд феноменов общества знания.

УДК 1/14
ББК 87

© Д.В. Винник, 2013
© Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев, 2013
© Н.С. Розов, 2013
© В.В. Целищев, 2013
© А.А. Шевченко, 2013

Без объявления

ISBN 978-5-93240-240-5

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОВОРОТЫ И ГЛУБОКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ	9
Современная философия истории: истоки кризиса и перспективы проблемной интеграции	9
Доверие к истории и интеграция исторических описаний	22
Структура и ход социальной эволюции: подход к периодизации Всемирной истории	50
Смысл истории и общезначимые ценности	101
Философские проблемы преподавания отечественной истории	119
ГЛАВА 2. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И НОРМАТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ	137
Рациональность практического действия	139
Эпистемические контексты рационального выбора	145
От «сущего» к «должному»: варианты перехода	157
Источники нормативности	162
Обязательства как парадигма нормативности	167
Публичное обоснование норм и обязательств	182
ГЛАВА 3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА В СОЦИАЛЬНОМ ЗНАНИИ	193
Проблема дисциплинарного статуса социокультурной парадигмы	193
Социокультурный дискурс Питирима Сорокина	211
Социально-философская интерпретация социокультурного подхода	224
Эвристические возможности социокультурного подхода (на примере анализа этнонациональной политики и этнокультурного неотрадиционализма)	234
ГЛАВА 4. НАУКА, РАЦИОНАЛИЗМ И КУЛЬТУРА: СХОЖДЕНИЕ ПАРАДИГМ	251
Зрелые и незрелые науки М. Фуко: встреча научных и социальных парадигм	251
Формализм Гильберта и постмодернистская концепция языка	269

Наука и парадигмы социального знания: метафоры, нарративы и мифотворчество	283
Информационные парадигмы и онтология мира	296
Наука в демократическом обществе	317
Публичные интеллектуалы и научное сообщество	327
Наука, рационализм и политика	335
ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ	
ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ	346
Риторика ненависти	347
Инфляция копирайта	350
Полицейский надзор	356
Анонимность	360
Материалы непристойного содержания	364
Социальные сети как новая форма «сарафанного радио»	370
Цензура и фильтрация данных	386

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга Т. Куна «Структура научных революций» была весьма критически принята профессиональным сообществом физиков, многие представители которого обвиняли автора в искажении истории и нынешней ситуации в науке. Это обстоятельство является несколько парадоксальным в свете восторженного приема книги гуманитарным сообществом, внутри которого наиболее популярным термином является «парадигма». Причина этого кроется, среди прочего, в природе социальных наук, где разнообразие концепций и теорий, отсутствие возможностей фальсификации теории в смысле К. Поппера, радикально отличается от более или менее однообразной трактовки знания в естественных науках. С. Фуллер утверждает, что защита многих зачастую идиосинкратических взглядов в социальных науках стала более успешной при принятии мыслителями следующей стратегии: «если вам не нравится моя теория, то несмотря на приводимые доводы против нее, вам следует признать, что у вас есть своя парадигма, у меня – своя»¹. Памятуя о тезисе о несоизмеримости парадигм, которой придерживались, среди прочих сам Кун и П. Фейерабенд, сопоставление концепций в социальном знании представляется непродуктивным. Естественно, что эта стратегия привела к значительной «атомизации» таких концепций, и в этом не нужно искать лишь отрицательные стороны. Сама сложность объектов социального знания такова, что вряд ли в нем можно добиться какой-либо однородности, присущей точному знанию, получаемому в естественных науках.

Есть еще одно обстоятельство в пользу множественности парадигм в социальных науках, опять-таки восходящее к Т. Куну. Если в первом издании «Структуры научных революций» термин «парадигма» относится к глобальным революциям в человеческом

¹ См.: Fuller S. Thomas Kuhn. A Philosophical History for Our Times. – Chicago, 2000.

познании, например, рождению ньютоновской физики, то во втором издании Кун говорит о парадигмах, принятых научным сообществом, или его частью, вплоть до такой научной единицы как лаборатория. Все это позволяет с полным основанием говорить о парадигмах социального знания, имея в виду их множественность и разнообразие.

Именно это разнообразие является одним из наиболее сложных препятствий для какой-либо единообразной трактовки социального знания на современном этапе. Однако это обстоятельство не препятствует поиску тех новых феноменов в социальном знании, которые важны для понимания социальных процессов, а также исследования интеллектуального климата, сопутствующего этому поиску.

Предлагаемая монография является частью такого исследования. Ее название апеллирует к новой трактовке известных и вновь родившихся феноменов социального знания. Так, Н.С. Розов в главе 1 **«Интеллектуальные повороты и глубокие затруднения современной философии истории»** выдвигает тезис, что большинство споров относительно интерпретаций исторического прошлого не решаются с помощью обращения к документам и данным, логики и научного знания. Поскольку практически все споры об истории связаны с оценками и осмыслением, единственным квалифицированным арбитром могла бы выступить философия истории.

А.А. Шевченко в главе 2 **«Рациональность и нормативность в социальных контекстах»** обращается к проблеме кризиса – утраты единой рациональности, единого, привычного с античности Логоса, возвращение к которому было одной из неудавшихся целей проекта Просвещения и важнейшей чертой мировоззрения Нового времени. На этом фоне особенно он обращает внимание на примечательную тенденцию в современной моральной и политической философии, суть которой заключается в попытке не только переосмыслить понятия рациональности и эксперимента, но и выстроить на их основе методологию социально-философского исследования.

Ю.В. Попков и Е.А. Тюгашев в главе 3 **«Социокультурная парадигма в социальном знании»** констатирует, что хотя в трактовке термина «социокультурная парадигма» превалирует употребление в «куновском» смысле, т.е. в смысле именно исследовательской парадигмы, этот термин употребляется для идентификации конкретных типов культур, которые рассматриваются как образцы общественно-исторической деятельности. Сложившаяся ситуация свиде-

тельствует о сложности определения эпистемологического статуса содержания социокультурной парадигмы и выборе дисциплинарных средств ее экспликации. До сих пор не ясно, в рамках какой дисциплины конституировалась эта парадигма, в каких работах продемонстрированы образцы решения тех «головоломок», с которыми столкнулась «нормальная» наука.

В.В. Целищев в главе 4 **«Наука, рационализм и культура: схождение парадигм»** обращается к аспекту современной технологической культуры, который продолжает быть актуальным со времени провозглашения Ч. Сноу разрыва между «двумя культурами», аргументируя, что существует куда как более глубокая связь между науками точными, в том числе математикой, и остальным, что называется социальным знанием. Отмечается, что речь не идет об одностороннем движении – что социальные науки много чего могут позаимствовать у математики – но и о том, что сама математика чревата философскими проблемами. Показывается, что сама суть парадигм математического знания в существенной степени сходна с парадигмами социального знания.

Д.В. Винник в главе 5 **«Социальная феноменология цифровой эпохи»** анализирует изменение форм социальных взаимодействий и, до не которой степени, содержания конкретных форм общественных отношений в связи с экстенсивным развитием средств электронных коммуникаций: *сети Интернет, систем сотовой связи, геопозиционирования* и различных программных продуктов, реализующих возможности этих технических систем для различных человеческих потребностей. Последние три десятка лет именуется им годами становления *цифровой эпохи* в истории человечества. Интернет в большей части мира уже стал неотъемлемой частью общественной жизни и продолжает захватывать все большие и большие сферы общественной деятельности и определять конкретные формы социальных явлений. Этот процесс вызывает определенные трудности в сфере морально-этической оценки вызываемых социальных феноменов, в понимании их природы с точки зрения норм права, в прогнозе баланса позитивных и негативных последствий их становления. Представляется возможным описать содержание этих феноменов, оценить степень их влияние в глобальном и национальном масштабах и попытаться понять, *являются ли эти феномены принципиально новыми данностями общественной жизни или же*

превращенными формами вполне привычных и понятных форм социальной жизни.

В целом, охваченные в монографии проблемы, естественно, охватывают те тенденции, которые являются наиболее актуальными для понимания социальных процессов, происходящих в самое последнее время. Именно это является основанием для именовании монографии «Новыми парадигмами социального знания».

Монография является результатом исследований в рамках партнерского интеграционного проекта Института философии права Сибирского отделения РАН и Института философии и права Уральского отделения РАН (проект номер 26 – 2012–2014 гг.).

Глава 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОВОРОТЫ И ГЛУБОКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Современная философия истории: истоки кризиса и перспективы проблемной интеграции

Кризис философии истории

Философия истории как интеллектуальное направление, знавшее периоды подъема, бурного творчества и заслуженной славы, в наши дни переживает не лучшие времена. После подъема в 1960-х гг. анализа и обсуждения (преимущественно критического) идеи К. Гемпеля об «охватывающих законах» философия истории¹ переживает затянувшийся период «осени» с рассеченным полем интеллектуального внимания, невысоким престижем в пространстве философского и научного мышления, малой привлекательностью для новых поколений исследователей.

Одновременно сама история как реальность и как тексты историков о прошлом привлекает все большее внимание в идеологии, политике, общественных дискуссиях и читательском интересе. Споры относительно истории, интерпретации событий и процессов, оценок деяния лидеров и политических сил, необходимости или пагубности единых учебников национальной истории становятся острее и громче. Появилась даже целая сфера «исторической политики». Большинство споров относительно интерпретаций исторического прошлого не решаются с помощью обращения к документом и данным, логики и научного знания. Поскольку практически все споры об истории связаны с оценками и осмыслением, единственным квалифицированным ар-

¹ Гемпель К. Функции общих законов в истории // Время мира. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. – Новосибирск, 2000. – С.13–26.

битром могла бы выступить философия истории. Однако, в своем большинстве современные философы истории остаются в своих «башнях из слоновой кости», изолированных не только от широкого публичного дискурса, но и друг от друга.

Возможна ли новая волна подъема творчества и престижа философии истории? Для ответа на этот вопрос обратимся к более общей теме:

Этапы развития философии: метафора жизненного цикла

Понять, где и почему мы находимся, можно лишь выяснив траекторию и этапы пройденного пути. В данном аспекте новоевропейская философская эпистемология представляет особый интерес, поскольку в ней пересекаются и обуславливают друг друга наиболее плодотворные интеллектуальные линии развития как философского, так и научного познания. Поскольку современное состояние интеллектуальной жизни в России близко к стагнации, то самое время обратить взоры к периодам славного расцвета творческого мышления.

Говоря в целом о развитии философии и науки в Европе и мире, Р.Коллинз указывает на две переломные точки:

1) появление новой модели исследовательского университета в Пруссии начала XIX в., затем в других немецких государствах и с последующим распространением в Европе и мире,

2) бурный рост числа университетов после 1960-х гг. в богатых обществах и далее везде (соответственно, «популяционный взрыв профессоров и текстов»)²

С институциональными переломами практически совпадают два поворотных пункта в развитии теории познания: таковы критическая философия Канта с последующим взлетом немецкого идеализма (конец XVIII – начало XIX вв.) и кризис неопозитивистской программы, переходящий в новый этап развития философии науки. Последний поворот обычно связывают с широким резонансом «*Структуры научных революций*» Т. Куна в начале 1960-х гг., общим разочарованием в неопозитивистских идеалах, расцветом аналитической традиции, становлением постпозитивизма, постструктурализма и т.д. Совпадение это

² Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002. – С. 1016.

далеко не случайно, но обратим внимание на другое: если современную историю теории познания и философии науки начинать, как это принято, от Декарта и Бэкона, то получается весьма четкая последовательность трех преемственных периодов.

Великие надежды и наивная простота философии познания XVII–XVIII вв. (*первый период*) сменяются основательной критикой, тщательной логической проработкой гносеологических систем при сохранении крайне амбициозных целей абсолютного и окончательно обоснования научного знания в XIX в. и первой половине XX в. (*второй период*). Наконец, нынешний *третий период* с 1960-х гг. характеризуется небывалой дифференциацией тематики, множеством примеров детального и изошренного анализа при утере больших надежд, общего пространства внимания, снижении энергии поиска и отсутствии общезначимых фундаментальных учений.

Нельзя не отметить практически полную адекватность его возрастной (юность-зрелость-увядание) и сезонной (весна-лето-осень) метафор указанным характеристикам трех этапов развития теории познания. Общие и метафорические характеристики эпох всегда в какой-то мере условны. Между прочим, это относится в полной мере и к такой триаде как досовременность (традиционность), современность (модерн) и постсовременность (постмодерн), которой явно и неявно пользуются каждый раз, когда толкуют о «модернизации».

Итак, *весна философии познания Нового времени* включает великие надежды и смелые проекты: манифесты картезианского рационализма и английского эмпиризма, жаркие споры между материализмом (Гоббс) и идеализмом (кембриджские платоники), геометрические доказательства метафизических положений у Спинозы, планы Лейбница по построению универсального логического языка, решающего все имеющиеся и будущие проблемы, попытки Юма дать панпсихологистское обоснование научного познания, наивный сциентизм и прогрессизм Просвещения.

Лето – великий расцвет европейской эпистемологии – начинается с фундаментальной критической философии Канта, включает грандиозные проекты по философскому обоснованию принципов всех наук у Шеллинга, Фихте и Гегеля, взлет неокантианства, интеллектуально изошренные и в то же время смелые и искренние проекты абсолютного и окончательного обоснования знания в психологизме Д.С. Милля, эмпириокритицизме Маха и Авенариуса, феноменологии Гуссерля, логицизме Фреге, Рассела и раннего Вит-

генштейна, американском прагматизме, логическом неопозитивизме Венского Кружка.

Осень – время усталости, разочарования с сопутствующими разноцветьем и пышностью увядания – начинается с кризиса неопозитивизма, возрождения иррационалистических и релятивистских мотивов в популярной концепции Т.Куна, с широкого распространения аналитической философии, которая, чураясь неприлично широко вещательных проектов «континентальной традиции», ставит перед собой «профессиональные» – скромные, но технически утонченные задачи – анализа научного и обыденного языка. Последующие наслаивающиеся друг на друга волны интеллектуальной моды (постпозитивизм, постструктурализм, «лингвистический поворот», «антропологический поворот», постмодернизм, синергетика и проч.) в большей мере направлены не на проекты и перспективы, а на интеллектуальную самоидентификацию через отрицание «отживших и преодоленных» классики и модерна – всех предшествующих философских (а иногда и научных) традиций.

Что же дает нам сезонная метафора кроме красочного образа временной структуры? Предположение об обязательности последующей «зимы» как упадка эпистемологии, забвения прошлых достижений и примитивизации мышления, было бы ошибкой излишнего доверия к аналогии. Дело не в том, что такая «зима» не возможна, в принципе. Она возможна, но при условии общего социального и культурного коллапса (например, в результате мировой войны или глобальной катастрофы), при общем упадке науки, образования, при закрытии университетов и научных центров. Если такие апокалиптические сценарии оставить за скобками, то в рамках сезонной метафоры остаются лишь две альтернативы: бесконечное продолжение «осени» и наступление новой «весны».

Первая возможность означает, между прочим, тотальную победу духа постмодернизма (даже когда от него отрекутся проповедники новых волн интеллектуальной моды). Действительно, продолжающаяся в бесконечность «осень» в области эпистемологии означает отсутствие новых впечатляющих прорывов в обосновании знания. Остается только постмодернистская погруженность в бесконечные слои текстов и интерпретаций.

Что не позволяет мириться с такой перспективой? (Здесь не имеются в виду вопросы предпочтений и ценностей. Будущее вовсе не обязано соответствовать нашим нормативным убеждениям, в том

числе, относительно развития мышления и познания.). Глубокие познания о бесконечной продолжительности любой фазы исторического процесса порождаются общими представлениями о повсеместности ритмов и циклов в истории. Однако эта историцистская идея неизбежности ритмов является слишком общей и, скорее, имеет эвристическую функцию.

Важнее другое. Бесконечную продолжительность «осени эпистемологии» планомерно и неизбежно будут подрывать и уже подрывают успехи научных исследований как естественных, так и социально-исторических. Рано или поздно постмодернистский и постпозитивистский отказ всерьез обсуждать эпистемологические проблемы обоснования знания, соответствия знания объективной реальности войдет в противоречие с очевидным накоплением позитивных эмпирических и теоретических научных результатов. Именно этот фактор в наибольшей мере позволяет надеяться на новую грядущую «весну эпистемологии».

Возникнут ли вновь проекты тотального обновления человеческого познания, подобные идеям Декарта, Бэкона, Спинозы? Это было бы возможно только после суровой «зимы» забвения накопленных идей и всей изощренности, достигнутой в эпистемологии XVIII–XX вв. Что же это будет за «весна» и чем она будет отличаться от чуть ли не ежегодно прокламируемых «новых», «революционных», «радикальных» волн интеллектуальной моды?

Историческая аналогия может дать подсказку, если сосредоточить внимание не на самом содержании идей философских манифестов прошлого, а на структурных и динамических моментах смены «эпистемологических сезонов» в интеллектуальной истории.

***«Осень» схоластики и «весна» трех революций:
структурная аналогия***

Известны ли в истории мысли другие «осенние» периоды? Да, и наиболее близкой аналогией является пресловутая «осень Средневековья», которая проявлялась среди прочего упадком интенсивного религиозно-философского творчества, характерного для предыдущей эпохи высокой схоластики. Любопытно, что в обоих случаях (XV–XVI вв. и вторая половина XX – начало XXI вв.) «осень» оказалась связанной с материальным расцветом организационных основ интеллектуальной жизни – ростом количества университетов. Это структур-

ное сходство выявил Р. Коллинз. Вот что он пишет о причинах интеллектуальной стагнации позднего европейского Средневековья.

Можно было бы ожидать, что этот институциональный рост будет связан с творчеством, но случилось прямо противоположное. Значимые сети не поддерживались; единый фокус внимания был утерян. Ни один из новых университетов не сумел приобрести ничего похожего на ту притягательную силу, которой некогда располагал университет в Париже. Не возникло структуры, внутри которой – в некотором центре – пересекаются многообразные основы, обеспечивающие фракционность; вместо этого сама фракционность стала географически локализованной. Интеллектуальные границы укреплялись; конфликт больше не вызывал творческих перегруппировок, но просто приводил к привычному возобновлению разделяющих фракции линий.

Структурно сходные процессы резкого расширения организационных основ интеллектуальной жизни шли с середины XX в.

«С 1950 г. произошли огромное расширение и значительная децентрализация академического мира. В Соединенных Штатах, где этот процесс начался раньше, чем в других развитых странах, насчитывается более 3 000 колледжей и университетов, и все они участвуют в гонке за привлечение интеллектуального внимания. В период после 1950 г. подобное расширение произошло во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии и далее распространилось по всему остальному миру, что одновременно вело к децентрализации. Образование всегда было своего рода валютой, контролирующей возможности трудоустройства; теперь оно расширяется самостоятельно через взаимодействие инфляции образовательных свидетельств, подвижной конкуренцией за получение более высокой подготовки, с возникающим в результате такой инфляции ростом требований к дипломам при трудоустройстве. После насыщения и обесценения образования очередного уровня над ним надстраиваются рынки более высоких уровней образовательных свидетельств. Отношения между предложением и спросом в сфере образования – круговые, и они работают по принципу самоусиления: спираль раскручивается, а конца этому не видно»³.

Внешнюю пышность современной «осени» определяет не только рост численности университетов, но также взрывной рост количества исследователей и текстов.

³ Коллинз Р. Социология философий... – С. 679.

«Производство академических интеллектуалов находится на гребне этой волны инфляции свидетельств. По мере роста спроса на сертификаты об образовании увеличивается количество обладателей высших дипломов, обучающихся тех, кто находится на ступень ниже, т.е. происходит взрывной рост числа докторов философии (Ph.D's). А поскольку эти ученые борются за академические должности, повышая свою репутацию как авторов публикаций, объемы научной продукции следуют по тому же инфляционному пути, что и состязание за более низкие академические степени, и, таким образом, над расширением высшего образования складывается рынок следующего уровня («метарынок»)»⁴.

Расплодившиеся тексты стали естественным образом все в большей и большей мере выражать осмысление и комментирование прошлых текстов.

«Воспринимать мир как текст – не такое уж и неточное представление; возможно, так следует описывать не весь мир, но жизненную позицию интеллектуалов: мы почти буквально погребены в научных статьях. Когда растет общий объем интеллектуальной продукции, вознаграждение среднего индивида падает, по крайней мере, чисто интеллектуальное вознаграждение в виде признания идей и созерцания их влияния на других. В таких обстоятельствах не удивляет появление в интеллектуальном сообществе пессимизма и сомнений в собственной значимости»⁵.

Структурное сходство позднесредневековой интеллектуальной стагнации и современной утери общего поля и центра философской дискуссии, в том числе, в области философии и методологии социальных и гуманитарных наук, заставляет с особым вниманием отнестись к выходу из стагнации в первом случае. Тогдашнюю «весну» составили три взаимосвязанных интеллектуальных революции: математическая революция, революция в естествознании и философская революция, возвещающая эру «новой науки»⁶.

Заметим, что старые споры о доказательствах бытия Божия, об универсалиях, номинализме и реализме, о душе и природе зла остались в прошлом. Произошла радикальная перецентрировка внимания, прежде всего, в тесной связи с новыми успешными и престижными интеллек-

⁴ Коллинз Р. Социология философий... – С. 679–680.

⁵ Там же. – С. 678.

⁶ Там же. – Гл. 10.

туальными движениями. Затем, появились новые каналы и структуры, связывающие интеллектуалов (невидимые колледжи, многочисленные кружки, систематическая научная переписка, позже – профессиональные журналы). Наконец, все три революции были социально востребованы, что выражалось в широком общественном резонансе, который получали не только философские и естественнонаучные, но и математические достижения.

Отталкиваясь от этих сведений, сделаем следующие предположения о путях и направлениях будущего подъема философии и методологии социальных и гуманитарных наук. Центр внимания сместится в сторону философского осмысления той научной тематики, которая, во-первых, будет обладать особой социальной значимостью и вызовет публичный резонанс, во-вторых, в ней будет сделан ряд ярких открытий и обнаружится новое обширное смысловое пространство для престижных исследований, как научных, так и философских.

Умеренный эпистемологический консерватизм

В сезонной метафоре есть неявный, но весьма неприятный порок. Что нужно делать, чтобы пришла весна? Ничего, потому что она придет сама собой вне зависимости от нашего действия или бездействия. Сезонная метафора предполагает фатализм и способствует пассивности.

Если верны сформулированные выше тезисы о том, что для нового подъема эпистемологии требуются общественно значимые научные достижения, причем на современном этапе – преимущественно в социальных и исторических науках то в интересах *собственного* развития, эпистемология должна более всего озаботиться обеспечением прорыва в социально-историческом познании. Ситуация же в этой области далеко не безоблачная: то же обилие крупных и мелких подходов, парадигм, концепций, но мерного и поступательного продвижения исследовательского фронта пока нет.

Сразу встает вопрос принципиальной значимости: на основе каких стандартов следует ориентировать социальные и исторические исследования, если сами научные идеалы и стандарты крайне проблематизированы в современной эпистемологии? Действительно, нынешняя ситуация, обозначаемая пресловутыми терминами «постмодерна» и «постнеоклассики», обычно характеризуется как раз через

отрицание прежних «классических» или «модерных» познавательных стандартов.

Обратим внимание: почти все, что предлагается взамен, маловразумительно, а главное – практически не используется в реальной познавательной деятельности. Значит ли это, что следует огульно отмести всю критику классической традиции теории познания и вернуться к ее вершинам (Кант, Гегель, неокантианство, Рассел, Венский Кружок) или истокам (Декарт и Бэкон)?

Заметим, что в мировой эпистемологии с середины XX в. тянется не мертвенная «зима» (что, например, случилось с советским обществоведением в 1930–1950 гг.), но весьма изощренная и продуктивная «осень». Совсем отказаться от ее плодов было бы крайне неосмотрительным шагом. Присоединиться к общему (хоть и разноголосому) хору поругания классических стандартов – значит, отступить от поставленной задачи обеспечения интеллектуальным снаряжением будущих прорывов в социальных и исторических науках.

Via media видится в позиции, которую назовем *умеренным эпистемологическим консерватизмом*.

Консерватизм здесь означает осторожность по отношению к любой радикальной критике устоев и стандартов, освещенных долгой и более или менее успешной практикой, в нашем случае – познавательной практикой получения надежного теоретического и эмпирического знания.

Умеренность консерватизма означает внимательное отношение к критике, серьезное рассмотрение новых аргументов и готовность проводить мягкую и контролируруемую коррекцию классических стандартов, чтобы обойти затруднения, но не утратить при этом достоинств прежних подходов.

Состояние и перспективы философии истории

Итак, по Шпенглеру «осень» – это скрытое внутреннее угасание жизни, энергии и «души», которое однако сопровождается внешним пышным цветением. Роль такого «цветения» в нашем случае выполняют яркие провокативные книги, некоторые из которых знаменовали существенные сдвиги в фокусе внимания и характере обсуждений – интеллектуальные «повороты». Действительно, с середины XX в. философия истории пережила несколько отчасти сменяющих друг

друга, отчасти перекрывающихся и сливающихся «поворотов»: вскоре после неопозитивистского вызова (К. Гемпель) произошли аналитический (А. Данто), нарративистский (Х. Уайт и Ф. Анкерсмит), постструктуралистский (М. Фуко), постмодернистский (Ж. Деррида, Ж. Лиотар, Ж. Делез) повороты.

Недавняя первая конференция Международной сети теории истории (Гент, Бельгия, 10–13 июля, 2013 г.) дает основания говорить о происходящем сейчас новом повороте, который можно назвать экзистенциальным: все больше внимания уделяется аспектам осмысления, переживания истории, ностальгии и травмы прошлого, личностной самоидентификации в потоке времени, осмысления людьми связи между прошлым, настоящим и будущим.

Согласно результатам фундаментального исследования Рэндалла Коллинза⁷ факторы успеха интеллектуального движения заключаются в следующем:

- наличие общего поля интеллектуального внимания, в рамках которого несколько конкурирующих позиций ведут спор между собой и тем самым развивают свои концепции и аргументацию;
- регулярно происходят эмоционально насыщенные ритуалы (интеллектуальные конфликты, публичные выступления, дебаты), привлекающие новых авторов и вдохновляют на творчество;
- эти споры между интеллектуалами, их новые идеи и серии публикаций привлекают внимание читающей публики и влиятельных групп, поскольку интеллектуалы претендуют на постановку и решение актуальных общественных проблем;
- некоторое число интеллектуальных центров институционализированы и получают автономную организационную основу (университетские кафедры, факультеты, научно-исследовательские центры, журналы и книжные серии), которые позволяют привлекать и поддерживать неофитов;
- появляются плотные и взаимосвязанные сети личных знакомств, они выходят за пределы политических границ, продолжают при смене поколений;
- длительные периоды творчества происходят при возникновении механизма регулярной перестройки сетей, что преодолевает обыч-

⁷ Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002.

ную тенденцию формирования изолированных анклавов, каждый из которых обладает мировоззренческой, парадигмальной и концептуальной монополией.

Оставим за скобками вопросы организации научных сообществ и социальной инженерии, обратимся к первому – содержательному – пункту: как создать общее поле интеллектуального внимания в сегодняшней философии истории, как соединить отдельные «анклавы» философских, макросоциологических, исторических исследований и дискурса в некий общий проблемный каркас, как сформулировать наиболее фундаментальные проблемы и значимые темы будущих споров.

Поле интеллектуального внимания в современной философии истории: задача интеграции

Поле интеллектуального внимания – это темы и проблемы, служащие предметами обсуждения в живых дискуссиях и публикациях творческих интеллектуалов. Поле бывает единым, связным, с яркими диспутами, идеями, фигурами, статьями и книгами, на которые все ссылаются и о которых все говорят. Такое поле внимания характеризует периоды интенсивного интеллектуального творчества – «золотые века» философской или научной традиции.

Поле внимания интегрируется, когда ведущие интеллектуалы из разных лагерей и их амбициозные молодые ученики выходят за пределы привычных узких тем и начинают обсуждать «горячие проблемы», позволяющие превратить ранее накопленный потенциал (концептуальные, логические, методические и прочие ресурсы) в новые решения, яркие тезисы и концепции, тем самым, увеличить свою интеллектуальную репутацию.

«Горячие проблемы» подвержены закономерностям моды, после яркой вспышки они могут угаснуть – потерять внимание. Какими же качествами должны обладать проблемы, чтобы долго и успешно привлекать внимание творческих интеллектуалов? Представим перечень таких требований для проблем философии истории.

- Связь с наиболее конфликтными и обсуждаемыми, связанными с историей, *темами публичного дискурса*. Гибкая способность

переключаться на новые темы. Например, в сегодняшней России такими темами являются историческая политика в области образования («нужен или нет единый учебник истории?»), оценка советского периода, особенно достижений и преступлений сталинского режима, отношение к «европейскому» или «особому» пути исторического развития России и др. В Европе по-прежнему актуальна тема колониализма и его последствий, отношения к иммигрантам, тема соотношения локального, национального и общеевропейского. В США больше внимания уделяют проблемам этничности, гендера, отношения к религии, что всегда имеет значимый исторический аспект.

- *Связь с объективными вызовами* – причинами и источниками сильного долговременного дискомфорта, кризисов, а также способность *отвечать на запросы держателей ресурсов*, способных поддерживать организационную основу философии истории. Главные проблемы современного мира хорошо известны: экономические и социально-политические кризисы, экологические проблемы загрязнения среды и дефицита ресурсов, тлеющие международные конфликты и вспыхивающие войны, охваченность больших мировых регионов голодом и насилием, массовые миграции и межэтнические распри, массовая безработица, распространение социальных болезней (алкоголизм, наркомания, преступность) – все эти вызовы будут действовать еще в течение многих десятилетий.

- Формулировки проблем должны быть *привлекательны для представителей разных, ныне разделенных «лагерей» философии истории*. Проблемы должны быть и достаточно знакомыми, узнаваемыми (иначе не будут восприняты), и обещающими новизну – выход в новые предметные и смысловые пространства с выгодным использованием накопленного потенциала внутри каждого «лагеря». Проблемы должны, с одной стороны, давать возможность частичных, альтернативных и развивающихся решений, с другой стороны, исключать возможность простых окончательных решений, соответствующего быстрого угасания интереса к ним. Напротив, проблемы, в идеале, должны порождать новые проблемы – *глубокие затруднения* как в самой философии истории, так и в смежных дисциплинах (истории, социологии, антропологии, политических науках, экономике, географии, философии).

Из самих по себе требований не вытекает содержания искомым проблем. Подсказку дают разрывы, «узкие места», нарушения в пуб-

личной коммуникации и социальных, политических, идеологических процессах и взаимодействиях, связанные с историей. Эти разрывы и трудности, будучи переформулированы в качестве смысловых, концептуальных дефицитов, и представляют собой перспективные проблемы современной философии истории:

- *проблемы доверия к истории* – все, что связано с истинностью и ложностью исторических суждений и описаний, с их обоснованностью, аргументированностью, приемлемостью, релевантностью и т.п. Сюда же относятся проблемы существования и онтологического статуса прошлого, доступа к нему и связи с историческими текстами, нарративами, языком, а также вопросы синтеза и накопления исторических описаний;

- *проблемы структуры и хода истории* относятся к обоснованности множества альтернативных периодизаций (вертикального структурирования) и деления на народы, культуры, цивилизации, миросистемы (горизонтального структурирования) в мировой истории; сюда же относятся вопросы классической субстанциональной философии истории об общей модели, или ходе мировой истории (апокалиптика или прогресс, однолинейность или многолинейность, эволюция и инволюция, модернизация и контрмодернизация, цикличность и волны экспансии, формации и стадии роста, осевое время и т.д.);

- *проблемы ценностей и оценок в истории, проблемы смысла истории и исторического самоопределения*, их отношения с принципами объективности, нейтральности, деидеологизации науки; (не)оправданность моральных суждений относительно деяний прошлого по современным нравственным критериям и т.д.

Далее будет проведен анализ этих групп проблем.

Доверие к истории и интеграция исторических описаний

Причины недоверия к истории

Уже давно никто не жалуется на отсутствие или падение публичного интереса к истории. Публичный спрос на историю велик, прежде всего, со стороны различных политико-идеологических лагерей, но этот спрос рождает специфическое предложение, которое можно назвать заказными (или сервильными) историческими концепциями. Такова «историческая политика» в первоначальном негативном смысле слова: представление прошлого в свете, нужном заказчику, в пределе – создание ложного, но «полезного» исторического мифа.

Серьезные историки в соответствии с принципами и престижем интеллектуальной честности в наибольшей мере заинтересованы в сохранении и повышении личной репутации среди своих коллег, поэтому чужаются заказной, сервильной истории. Редко они утруждают себя даже критикой таких поделок, предпочитая заниматься собственными узкими, часто понятными только немногим специалистам темами. Такие профессиональные работы, как правило, не выходят за пределы узкого круга специалистов. В публичном пространстве об истории больше начинают судить по тенденциозным работам. Все чаще поднимаются вопросы типа: кому было нужно такое представление событий прошлого? на чью мельницу воду льют? ради чего это делается? и т. д.

В результате произошел системный сдвиг – *подорвано доверие к истории и историкам*. В этой ситуации любые умствования относительно истории становятся тщетными и бессмысленными. Естественной стратегической целью становится *восстановление доверия к истории*. Практическая проблема состоит в поиске путей такого восстановления. Стандартный подход состоит в разработке критериев оценки и требований к историческим публикациям, в том числе (даже, прежде всего), рассчитанным на широкую публику. Проблема же философии истории состоит в исследовании и разработке оснований для таких критериев и требований.

Общественная потребность в доверии к истории

Рассмотрим проблематику восстановления доверия к истории с точки зрения заявленных выше требований.

Не следует думать, что политическим и идеологическим силам, сражающимся в пространстве публичного дискурса, естественным образом нужна достоверная история. Скорее, каждой стороне нужен выгодный ей исторический миф. Нынешнюю ситуацию в публичном дискурсе можно смело характеризовать как *перепроизводство мифов о прошлом* – переизбыток и обесценение образов прошлого, создаваемых для подтверждения какой-либо политической стратегии или идеологической позиции.

В экономике инфляционные процессы при рыночном обмене увеличивают спрос на какую-либо «твердую валюту» (золотой стандарт, драгоценные металлы). Таким же образом переизбыток различных, часто противоречащих друг другу исторических версий, приводят к спросу на надежное знание о прошлом, но не всегда, а при наличии особого рыночного обмена – *диалога и дискуссии по правилам*. Поэтому спрос на достоверную историю будет повышаться там и тогда, где и когда политико-идеологические дискуссии будут вестись на уровне, исключая грубые софизмы, демагогию и апелляцию к историческим мифам.

Кому же доверять и на каком основании? Неизбежно встает вопрос о критериях достоверности исторического знания. Философская и методологическая разработка таких критериев, дискуссии об их содержании и основаниях как раз и будут ответом философии истории на реальный спрос читающей публики на ту историю, которой можно доверять.

Каким образом может помочь восстановление доверия к истории в понимании и решении актуальных проблем современного глобализованного мира? Как мы увидим, этот вопрос напрямую связан и со спросом держателей ресурсов на достоверную историю, что открывает возможности обеспечения организационных основ для философии истории (финансирование исследований, поддержка конференций, журналов, книжных серий).

Каждое решение включает некую картину реальности и стратегию действий с элементами реальности, понятыми согласно этой картине. Вопрос заключается в том, какова временная протяженность (истори-

ческая глубина) такой картины? Малая глубина (годы и даже десятилетия) обуславливает реактивные ответы на дискомфорт, побочными следствиями которых может быть усугубление ущерба и дискомфорта в более длительной перспективе.

Кроме того, человечество все чаще сталкивается с новыми, беспрецедентными трудностями. Журналистский штамп состоит в том, что «никакая прежняя мудрость не поможет при столкновении с Будущим». Однако в мировой истории народы и государства зачастую сталкивались с новым и неведомым. Кто-то проигрывал и погибал, кто-то справлялся и даже выходил на новый эволюционный уровень благодаря адекватному ответу на вызов. Сегодняшние глобальные и национальные проблемы требуют больших вложений для практического решения. Идет естественная конкуренция за ресурсы, поэтому появляются и будут множиться заказные исторические работы, «обосновывающие» ту или иную стратегию (своеобразный «исторический лоббизм»). Здесь как раз и возникает высокий объективный спрос, прежде всего, со стороны держателей ресурсов (государств, международных организаций, частных фондов) на *достоверную историю*.

К чему стремиться в историческом познании, чтобы достичь доверия? К видимой картине исторического прошлого (Ранке)? К мысли, лежащей за событиями (Дройзен)? К получению и представлению фактов, надежному историческому знанию (Бернхайм)? К воспроизведению мыслей и чувств людей прошлого в уме историка (Коллингвуд)? К истинности суждений в историческом тексте (Ланглюа и Сейнобо)? К научным объяснениям причин исторических событий (Гемпель)? К близости репрезентации к умозрительной «Идеальной Хроники» (Данто)? К рационально приемлемым описаниям с релевантным отбором суждений (Горман)? К росту осмысленного понимания (Мартин)? К «возвышенному историческому опыту» (Анкерсмит)?

Нужно сказать, что последние примерно 60 лет философия истории, намеренно или нет, *работала на подрыв доверия к историческим описаниям*. Критика неопозитивистского призыва К.Гемпеля⁸, анализ лингвистический поворот, развенчание наивного исторического реализма а ля Ранке, метаистория и исследование историче-

⁸ Гемпель К. Функции общих законов в истории // Время мира. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. – Новосибирск, 2000. – С. 13–26.

ских нарративов, постмодернистские нападки на науку и научность вообще, тем более, в сфере истории, – все это превращало исторические описания из привычного способа узнать что-то о прошлом в смутное и подозрительное нагромождение интерпретаций, литературных жанров и тропов, личных предпочтений историка, его идеологических предубеждений и т. д.

Разумеется, речь не может идти о лозунге «Назад – к Ранке!», накопленные представления о способах написания истории, о сложности и многослойности исторических нарративов закрывают возможность возвращения наивного реализма в истории. При этом, не пора ли совершить поворот на 90° – применить эти метаисторические представления не к подрыву, а к восстановлению доверия к истории?

***Реальность прошлого проблематизируется,
но не отменяется***

Доверие к истории предполагает реализм. Означает ли это возврат к наивному реализму Ранке и Бернхайма, полный отказ от идей и результатов лингвистического, нарративистского и интерпретативного поворотов, того, что Брайн Фэй назвал «риторической установкой» в философии истории?⁹

Попробуем использовать рассуждения ведущих представителей этого направления не для подрыва реализма в истории, а для получения более строгого и философски выверенного представления об исторической реальности.

Один из тезисов классической книги Артура Данто 1965 г.¹⁰ о том, что историческое описание (позже обозначенное им как репрезентация) не может быть сведена к хронике, кажется, уже стало общим местом – редким случаем согласия в философии истории. Историческое описание предполагает целостность и осмысленность образа прошлого, что включает, во-первых, релевантность отбираемых для описания фактов и сведений¹¹, во-вторых, причинную,

⁹ *Fay Brian*. The Linguistic Turn and Beyond in Contemporary Theory of History. Introduction. In: *History and Theory. Contemporary Readings*. – Blackwell, 1998. – P. 1–12.

¹⁰ Данто А. Аналитическая философия истории. – М.: Идея-Пресс, 2002.

¹¹ *Gorman J.L.* Objectivity and Truth in History. In: *History and Theory. Contemporary Readings*. – Blackwell, 1998. – P. 320–341.

смысловую, контекстуальную связь описываемых явлений прошлого между собой (перспективность по Данто или префигуративность по Анкерсмит), в-третьих, ту или иную предполагаемую историком значимость всего описания вкупе с интерпретациями для его аудитории, современного общества, политических лидеров, будущих поколений и т. п.¹²

Что следует из онтологической однородности историка и изучаемого прошлого?

Излюбленной темой критиков научной установки как в естественных науках, так и в социальных и гуманитарных, в том числе, в истории, является указание на то, что ученый – это такой же человек такого же мира, всегда обладающий ограниченным кругозором, имеющий свои склонности, страхи, мотивы, установки и т.п. Нет никакого божественного взгляда, трансцендентального субъекта, а значит и абсолютной истины, с которой можно было бы сравнить научные суждения. Обычно из этого делаются скептические или даже обскурантистские выводы.

Не будем спорить с тезисом об онтологическом единстве мира в самом общем смысле (не исключающем наличие в нем разных онтологий, например, таких как «миры» Поппера). Да, каждый историк – это индивид из плоти и крови, со своими, всегда ограниченными познавательными способностями и ментальными склонностями. Почему-то на этом «революционные» антисциентистские заявления обычно заканчиваются. Иными словами, негласным образом проводится идея «интеллектуальной робинзонады».

С позиций современной социологии науки такой взгляд представляется крайне узким и давно устаревшим. Историк – это тот, кто учился у других историков и пишет свои труды, в первую очередь, для своих коллег – историков – и для того, чтобы к его работам обращались будущие поколения историков. Иными словами, адекватный масштаб анализа исторического познания – это формальные и неформальные сообщества историков, а также их интеллектуальные сети.

¹² Lorenz Chris. Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for 'Internal Realism'. In: History and Theory. Contemporary Readings. – Blackwell, 1998. – P. 342–376.

Концептуальную платформу для осмысления этой реальности дает фундаментальный труд Р.Коллинза «Социология философий»¹³, поскольку он посвящен не только философам, но интеллектуалам. Согласно концепции Р.Коллинза историческое знание производят не историки-индивиды, но более крупные сущности – интеллектуальные сети историков. Внутри них всегда есть конкуренция за репутации, где учитывается и новизна введенного в научный оборот материала, и тщательность детализации, и убедительность объяснений, и оригинальность интерпретаций, но одним из важнейших критериев присвоения и получения репутации является *эмпирическая, документальная обоснованность суждений*. Это означает, что осознание принадлежности историков к тому же миру, прошлое которого они изучают и описывают, рефлексия над их мотивами и склонностями, отнюдь не отменяет значимости эпистемических критериев, всегда связанных с проблематикой истинности и обоснованности.

Здесь мы видим огромный онтологический разрыв между невидимым (или даже автономно несуществующим) прошлым и этим царством языка, нарративов и семантики. В последние десятилетия многие усилия в философии истории были направлены на преодоление этого разрыва, причем, философы по большей части старались сделать саму познавательную ситуацию как однородную.

С наиболее радикальной точки зрения «лингвистического поворота» весь мир есть язык, текст, нарратив¹⁴. С этой идеей связан знаменитый тезис Данто о том, что без репрезентаций не существует репрезентируемое, равно как и тезис об их «неразличимости»¹⁵.

Такой взгляд не может быть принят даже при самом скромном представлении о том, что реально делают историки в архивах, а археологи – на раскопках. Они каждый раз сталкиваются с разнообразными «следами» и вынуждены «по когтям» восстанавливать образ «льва». То, что в дальнейшем читателям исторического текста, в том числе, кабинетным аналитическим философам типа Данто и Рорти, этот «лев» в тексте кажется не отличимым от «льва» реального прошлого, – это не сущностная характеристика историографии, а результат ее суггестив-

¹³ Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002.

¹⁴ N'y a pas de hors texte – Нет ничего кроме текста (Деррида). Language goes all the way down – Язык вездесущ (Рорти). Ср. также с древней метафорой «книга Природы».

¹⁵ Данто А. Аналитическая философия истории. – М: Идея-Пресс, 2002.

ной силы и нежелания (неспособности) читателей поинтересоваться тем, на основе какой реальной работы со «следами» прошлого было создано данное историческое описание.

Ни в коем случае нельзя согласиться и с тезисом об «однородности» реальности прошлого и его описания, будто бы не только второе, но и первое имеет характер нарратива. Действительно, главными «следами» от прошлого, с которыми работают настоящие историки (а не те, что практикуют метод «рекле» – «режу-клею») являются документы, то есть тексты. Но тексты эти настолько разнообразны и отрывочны, а «нарративные» среди них – настолько тенденциозные и требующие многократных проверок, что итоговый «лев» добротного исторического описания всегда разительно отличается от «следов от когтей» – тех документов и артефактов, по которым проводилась реконструкция.

Историческое познание строится вокруг соотнесения реальности прошлого и его описания. Историческое знание, как и всякое знание, претендует на истинность, на соответствие описания реальности. Иными словами, здесь естественным и негласным образом реализуется классическая концепция корреспондентной истины.

Ричард Рорти, пожалуй, наиболее агрессивно боролся с концепцией корреспондентности, доходя до отрицания самой категории истины и отвергая эпистемичность как таковую в пользу вполне натуралистического прагматизма¹⁶. Главным аргументом Рорти является отсутствие «третьего члена» (*tertium quid*) – нейтральной промежуточной инстанции, единой абсолютной основы, которая служила бы безусловной гарантией для соответствия между языковыми суждениями и «реальностью». При отсутствии божественного всеведения, трансцендентального субъекта и абсолютной истины, при отсутствии «третьего члена» между языком и реальностью, по мнению Рорти нет никаких оснований для претензий на «истинность» суждений.

С помощью такого рода аргументов Рорти отвергает все накопленное хозяйство эпистемологии, надеясь на возврат к простоте прагматизма, тогда как Анкерсмит в своей последней книге отвергает первостепенную значимость языка, суждений, нарратива в пользу «возвышенного исторического опыта», который он понимает по аналогии с романтическим впечатлением от произведения искусства или пре-

¹⁶ *Rorty R. Consequences of Pragmatism. – Minneapolis, 1982.*

красного стихотворения¹⁷. Идея «опыта», ровно как у эмпириокритицистов позопрошлого века Маха и Авенариуса, призвана преодолеть «устаревшие» различения субъекта и объекта, мышления и бытия, языка и реальности.

«Революционные» атаки на эпистемологию и категорию истины бывают хороши в риторическом отношении, но лопаются как пузырь при продолжении рассуждения хотя бы на два-три шага вперед. Общеизвестно, что практика бывает провальной: человек может натолкнуться на стеклянную стену, спроектированную архитекторами здание может рухнуть, документы, на основе которых историк выстроил свое повествование, могут оказаться сфальсифицированными. Каждый раз корень провала лежит в ошибочности субъективных представлений. При адекватном взгляде на вещи (стеклянная стена преграждает путь, опоры здания должны быть гораздо крепче, чтобы выдержать нагрузку, была заинтересованная группа с контролем над архивами, которая подменила реальными документы сфабрикованными фальшивками) такого провала в практике не случилось бы. Таким образом, эпистемичность (фундаментальное познавательное отношение) вовсе не изгоняется из практики, но развивается с помощью практики, что впрочем понимали еще Джон Дьюи и Владимир Ленин.

Опыт нередко воспринимается как нечто возвышенное, о каждом конкретном опыте вполне можно говорить в духе высокого романтизма, оставляя за скобками скучные эпистемологические придирки, как это и делает Анкерсмит, уподобляя опыт историка опыту восприятия прекрасных произведений искусство в стиле барокко или глубокомысленных стихотворений Гельдерлина. Действительно, к самому опыту, равно как к чувству боли, ревности или восторга неприменимо понятие истины. Допустим теперь, что этот опыт удалось выразить в словах: оказались записанными впечатления от произведения искусства, чувства и мысли, появившиеся при чтении стихотворения, гештальт – целостная картина прошлого, возникшая в уме историка, погружившегося в изучение широкого круга свидетельств о каком-то событии или периоде прошлого. Допустим даже отсутствие какого-либо проблемного разрыва между самим опытом и этим описанием, будто бы опыт непосредственно воплотился в словах. Означает ли это исчезновения

¹⁷ Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. – М.: Изд-во «Европа», 2007.

вопросов об адекватности или ошибочности такого описания самому реальному объекту – референту опыта?

Для первых двух случаев такие вопросы могут оказаться нерелевантными: если не было прямых и грубых ошибок восприятия (видел на картине девушку, но изображен был ангел, неверно прочел слово в стихотворении и т.д.), то описание и не может быть ошибочным, поскольку относится не к самому объекту (художественному образу, тексту), а лишь к его частному «прочтению».

Можно ли с теми же мерками подходить к историкам? Например, похвалить историка *A* за то, что его описание его личного гештальта о таком-то историческом событии по каким-то параметрам лучше, возвышеннее, глубже, красочнее, чем описание историка *B* своего личного представления о том же событии? Такие оценки вполне адекватны для исторических романов или фильмов, но при оценке исторических трудов они могут иметь только добавочный, факультативный статус. Насколько верно историк описал прошлое? – вот главный критерий оценки исторического труда.

Субъективный опыт, целостное представление, гештальт, озарение (инсайт) – крайне важные составляющие внутри процесса познания, как исторического, так и любого другого. Однако, если речь идет о познании, а не сочинении (*fiction*), то центральность эпистемического критерия остается неотменимой.

После десятилетий споров становится все более очевидным, что эпистемичность – проблематику истинности, адекватности, оправданности, обоснованности знания – не удалось и не удастся выбросить из размышлений об истории.

Неустранимость и нормальность эпистемического разрыва

Итак, мы остаемся с извечным проблемным разрывом между историческим описанием и описываемым прошлым реальностью, между языком (текстом, нарративом) и реальностью. Мы защитили концепцию корреспондентной истины, именно на соответствии между описанием и реальностью лежит весь груз ответственности за искомое доверие к истории. При этом, все трудности эпистемологической дихотомии остаются. Где основания для признания соответствия при отсутствии «третьего члена», трансцендентального субъекта и абсолютной

истины, с которой можно было бы сверить исторические суждения о прошлом хотя бы в умозрительном плане?

Общее решение состоит в уходе от примитивной статичной схемы «описание – реальность». Она не отменяется и не исчезает, но становится одним из частных срезов комплекса более богатых конструкций, как то:

- процесс исторического исследования, включающий анализ предшествующей историографии, сбор и упорядочивание материалов, данных, изучение материалов, прежде всего, документов и артефактов, выдвижение и проверку фактологических и объяснительных гипотез, мысленную реконструкцию, интерпретацию, составление итогового текста, «челночные» переходы между этими и дополнительными этапами;
- социальные процессы производства, оценки, обмена и распределения исторических работ, в том числе, деятельность научных центров, издание журналов, монографий, книжных серий, организация и проведение конференций, учет репутаций в публикационных и кадровых решениях и т.д.
- внешние процессы восприятия исторических работ, роль последних в публичных дискуссиях, философская рефлексия над историческими текстами и самими явлениями прошлого (сиречь: философско-исторических дискурсов).

Что дает нам такой общий структурированный взгляд на познавательные, дискурсивные и социально-организационные процессы вокруг истории?

Прежде всего, вместо статичной, неведь откуда взявшейся пары «реальность – описание реальности» мы получаем картину генезиса, точнее, жизненного цикла исторических описаний (репрезентаций, нарративов – как угодно). Каждое историческое описание оказывается, с одной стороны, продуктом целой серии познавательных операций, с другой стороны, фактором профессиональной репутации историка в сообществе, узлом в сложной и плотной сети историографии, поскольку опирается (ссылается) на прежние описания и предназначено для того, чтобы на него ссылались последующие. Новое значимое историческое описание становится предметом критики и коррекции со стороны научных редакторов, профессионального сообщества, предметом придиричивого обсуждения в пространстве публичного дискурса.

Во всем этом сложном переплетении деятельностей, процессов, отношений и сетей первую скрипку играет принцип корреспондентности – вопрос о подкреплённости исторических суждений документальными и материальными свидетельствами. Кажется бы, вплетённость каждого исторического описания в сеть предшествующих описаний (внешним формальным выражением чего являются огромные библиографические списки в исторических статьях и книгах) указывает на значение принципа когерентности: общие суждения в новом описании должны как-то согласовываться с общими суждениями предшествующих описаний, относительно которых среди историков достигнуто согласие. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что само доверие к этим суждениям предшествующих описаний основывается на той же эмпирической подкреплённости, то есть на принципе корреспондентной истины. Если же в новом описании удастся показать, что его подкреплённость сильнее, чем у противоречащих прошлых описаний, то прежний консенсус относительно последних, как минимум, может быть поставлен под вопрос.

Итак, на одном полюсе у нас находится сложное и подвижное переплетение познавательных деятельностей, социальных отношений, процессов и сетей, на другом – все та же проблема соотношения исторических, выраженных в языке, суждений и реальности прошлого. Каким же образом, принятие во внимание первого полюса позволяет решить проблему второго?

Внутренний реализм в историческом познании – за и против

Одна из наиболее убедительных и взвешенных позиций относительно исторического познания принадлежит Крису Лоренцу, который взял на вооружение «внутренний реализм» Х. Патнэма. Большинство принципов, составляющих эту позицию, представляются неоспоримыми:

- есть сама по себе независимая реальность (прошлое);
- наши суждения к ней относятся;
- нет копирования и непосредственного сопоставления суждений с тем, как «обстоят дела»;

- каждое суждение о прошлом находится внутри той или иной дескриптивной традиции или «теории описания мира»;
- это означает отсутствие абсолютного знания, однако это не означает невозможности знания;
- есть некое соответствие суждений с реальностью (корреспондентность) и отнесенность понятий к предметам (референтность);
- требуется не абсолютное доказательство суждений, а аргументация¹⁸.

Вместе с тем, Лоренц считает нормальным и неизбежным то, что историки не соглашаются между собой относительно фактов и их интерпретаций. С такой позицией трудно согласиться хотя бы потому, что историки пусть редко, но критикуют друг друга и спорят между собой относительно фактов и интерпретаций. При нормальности различий почвы для споров не было бы вовсе.

Полезно было бы провести систематический анализ способов и оснований критики достоверности и обоснованности: почему редакции исторических журналов отказывают авторам или возвращают им статьи на доработку, что пишут внутренние рецензенты, как критикуют историки уже вышедший исторический труд, почему не принимаются новые объяснения и интерпретации. Резонно ожидать, что характер такой критики достоверности меняется со временем, по крайней мере, при смене поколений историков. Строгость критериев, вероятно, возрастает, хотя не исключены волны и даже провалы (особенно в связи с установлением в той или иной стране моноидеологии и государственной цензуры на освещение прошлого).

Такая программа эмпирического исследования характера и оснований критики достоверности в сфере историографии – большая самостоятельная задача. Здесь же рассмотрим лишь самые популярные претензии и покажем, каким образом философские и методологические основания этих претензий проясняют проблемное отношение исторических описаний и реальности прошлого.

Утверждения историков обычно подвергаются критике как недостаточно достоверные, сомнительные или ошибочные, потому, что в описаниях критики обнаруживают следующие типовые дефекты:

¹⁸ Lorenz Chris. Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for 'Internal Realism'. In: History and Theory. Contemporary Readings. – Blackwell, 1998. – P. 342–376.

- некорректный отбор документов и источников (принимаются во внимание и обсуждаются только «выгодные» – подтверждающие, тогда как другие игнорируются, принятая метафора – сбор вишни, cherry-picking, когда отбираются только самые привлекательные ягоды);
- слабая, недостаточная проверка свидетельств (нет требуемых независимых, перекрестных подтверждений);
- ошибки типизации, квалификации исторических явлений (явление подведено по тип или род по смутным или неверным критериям);
- произвольность интерпретации (данные позволяют делать множественные реконструкции, но выбрана только одна и без достаточных оснований);
- логические ошибки (при верности фактологических суждений делаются неверные обобщения или выводы);
- подбор таких теоретических объяснений для случая, которые подходят только для него без учета их общей применимости к другим случаям (inverse cherry-picking).

Очевидно, что этот список типовых претензий далеко не полный, но нам важен сам принцип появления и функционирования претензий к обоснованности исторических описаний. Всякая профессиональная критика – атака на негативное, сомнительное – зиждется на неких позитивных, принятых в сообществе профессионалов основаниях. В данном случае, эти основания представляют собой большой и сложный комплекс явных и неявных правил, корректных методов и принятой методологии исторического исследования. Обучение этим правилам и методам составляет стержень подготовки историков-исследователей. Для нас здесь значимо не само их содержание, а способ функционирования в процессах исторического познания, включающих институциональные режимы и публичный дискурс по поводу истории.

Коммуникативный и кумулятивный реализм

Можно ли утверждать, что следование корректной, выверенной методологии исторического исследования, контроль за которым с большей или меньшей успешностью вплетен в вышеуказанные познавательные и институциональные деятельности и процессы, «приближает» описание прошлого к его реальности? Для такого утвержде-

ния нужно иметь абсолютно достоверное знание об этой реальности, отсутствие которого давно уже стало общим местом философии познания, и этот принципиальный момент нет смысла оспаривать. Исправление ошибок методологии делает утверждения о реальности (в том числе, прошлой реальности) более достоверными, но что это означает? Если нельзя апеллировать к всеведению трансцендентального субъекта, то можно апеллировать к последующим процессам и результатам познания.

Допустим, в результате методологической критики было установлено, что историческое описание O_1 некоего прошлого Π ошибочно, тогда как пришедшее ему на смену описание O_2 стало считаться более достоверным. В последующий процессах исторического познания могут всплыть новые свидетельства (документы и артефакты), относящиеся к Π , могут быть обнаружены новые связи между ранее известными фактами, могут появиться новые интерпретации явлений и новые концептуализации их смены и динамики. Если ранее был сделан верный вывод о недостоверности O_1 и достоверности O_2 , то все новые суждения относительно обнаруженных свидетельств, новые факты и интерпретации будут противоречить O_1 и подкреплять O_2 . Если же (предположим для простоты), произойдет обратное, то данный вывод сравнительной оценки O_1 и O_2 . сам будет поставлен под сомнение, будут проблематизированы его основания, вероятно, будет осуществлена коррекция методологии, на основе которой этот вывод был сделан.

Таким образом, имеет место прогресс в историческом познании (ср. с рассуждениями Раймонда Мартина¹⁹) при отсутствии абсолютных оснований, но остается разрыв между описаниями и реальностью.

Как же трактовать оставшийся не преодоленным разрыв между историческим описанием и реальностью прошлого? В философии науки попытки засыпать и затрамбовать эту «пропасть» уже несколько десятилетий предпринимает особое направление – «натурализация эпистемологии» (Х. Патнэм, М. Девиэт, М. Хакинг, М. Гарднер, Ф. Китчер и др.). Убедительного решения так никто и не представил, несмотря на то, что этому посвящали время и силы блестящие умы (безо всякой иронии). Это не случайно, а объяснение представляется простым до неприличия. Вспомним, что Кант выделял аналитические суждения, которые в отличие от синтетических, не сообщают ничего

¹⁹ Martin, Raymond. Progress in Historical Studies. In: History and Theory. Contemporary Readings. Blackwell, 1998. P.377-403.

нового, поскольку прямо выводятся из значений используемых терминов. Сказав, «пропитавшись водой, одежда становится влажной», мы не сказали ничего нового, поскольку «влажность» вещи как раз и означает присутствие в ней воды. Так вот, в значениях некоторых понятий уже заложен разрыв. Каждый раз, когда мы эти понятия используем, не извращая их значения, мы этот разрыв воспроизводим по той же логике аналитических высказываний. Такого рода разрывы есть, например, в словах «чувствует», «означает», «знает», «видит» (точнее – в семантических гнездах, аспекты и части смыслов в которых могут быть выражены разными словами и выражениями). Допустим теперь, что нас не устраивает какой-либо разрыв: между чувствующим и тем, что он(а) чувствует, между означающим и означаемым, между знанием и предметом знания, между видением и тем, что видится. Мой тезис состоит в том, что никакие ухищрения не избавят нас от таких разрывов ровно постольку, поскольку эти разрывы уже (аналитически) присутствуют в используемых понятиях и их семантическом содержании.

Мешают ли нам в повседневной жизни и практике такие разрывы? Нет. Мы нередко сомневаемся в том, что кто-то о чем-то знает, сомневаемся и в том, что раньше считали своим знанием. Не пытаясь «натурализовать» эту «бытовую эпистемичность», мы ищем новые каналы и источники информации, составляем представление о достоверности чужого или своего знания.

Почему же столь драматическим кажется разрыв между описанием (текстом, суждениями, языком) и описываемой реальностью? Только потому, что один срез одного процесса в обширном продолжающемся потоке исторического познания изолируется. Как только мы освобождаемся от этой идеализации, как только признаем систематическую коммуникацию между учеными и поступательное развитие исследований, драматизм уходит.

Изложенная позиция может быть обозначена как *коммуникативный и кумулятивный реализм*, включающий критику, споры и накопление согласия.

Проблема единства исторической реальности

Разумеется, крайние антиреалистичные позиции (радикальные конструктивизм и постмодернизм) не могут быть в этом заинтере-

сованы, поскольку восстановление доверия означает признание исторической реальности именно как реальности, а не как сугубо воображаемой «химеры» или миража «языковых игр», ведущихся историками. Зато критические атаки со стороны таких радикалов весьма полезны для разработки критериев оправдания, обоснования исторических суждений.

Как только за такими суждениями признается реальность прошлого, сразу возникают известные вопросы об ее онтологическом статусе, о базовых сущностях, об эссенциализме и антиэссенциализме, о возможностях и ограничениях в описании этой реальности. Именно с пониманием реальности прошлого, его онтологии и адекватного представления связаны главные глубокие затруднения будущей философии истории.

Действительно, как можно говорить о самой этой реальности с учетом накопленных представлений об условности, ограниченности, сконструированности, теоретической и идеологической нагруженности средств и способов исторического описания?

Прежде чем, что-то описывать в прошлом, мы выбираем слова, а значит, неизбежно классифицируем, но возможностей для классифицирования много, категории, понятия, сам научный язык меняются со временем, что позволяет некоторым исследователям говорить о множественности прошлого ('the pasts')²⁰

Вряд ли самих историков и приверженцев научного реализма в философии истории устроит столь радикальный взгляд: прошлых было много. Однако есть более мягкие позиции: прошлое (подобно Кантовой «вещи-в-себе») – одно, зато объяснений его может и должно быть много (экспланаторный плюрализм, см. ниже), либо может быть много его равноправных представлений (согласно «внутреннему реализму» Патнэма и Лоренца [Lorenz 1998]).

Признание множественности «прошлых» ('the pasts' [Roth 2012]), даже оправдание множественности не связанных между собой объяснений, казалось бы, решают проблему, примиряют между собой разные позиции, но на самом деле такой подход является тупиковым в смысле развития исторического познания и общего интеллектуально-осмысления прошлого. Развитие происходит как раз тогда, когда задаются «неудобные» вопросы: какое именно из представленных «прошлых» было реальностью?

²⁰ Roth P.A. The Pasts // History and Theory. – 2012. – V. 51, No. 3. – P. 313–339.

Что вообще значит «доверять историческому тексту»? Сюда включается, как минимум:

- доверие изложенным *фактам, рассказам и частным объяснениям*²¹ (все значимые явления прошлого представлены адекватно, нет тенденциозных умолчаний, объяснения связей между конкретными явлениями приемлемы);
- доверие *общим, или теоретическим, объяснениям* (представленные причины не являются произвольными домыслами, но могут быть каким-то образом подтверждены и обоснованы);
- доверие *интерпретациям* – вариантам осмысления исторических явлений в разных контекстах и с разных позиций.

Фактология включает фактические суждения о явлениях, происходивших там-то и тогда-то при отвлечении от смыслов и оценок, сущностей и причин процессов. Такие суждения основаны на следах, оставленных прошлыми явлениями, – записях и материальных артефактах. Следов бывает слишком мало (об отдаленных эпохах) или слишком много, причем иногда противоречащих друг другу (начиная с XVII-XVIII вв.). Так или иначе, полного согласия между историками относительно фактов нет, особенно в плане датировок и локализации явлений (времени и места). Точность (accuracy) по Р.Мартину²² [Martin 1998] вполне может быть понята как релевантность (соответствие задаче описания) и эмпирическая обоснованность фактических суждений. Требование релевантности справедливо было подчеркнуто Дж.Горманом²³, однако никак нельзя согласиться с признанием Горманом правомерности ложных фактических суждений: доверие к истории способна дискредитировать как раз ошибочность в деталях.

²¹ К частным объяснениям относятся т.н. *нарративные объяснения*, правомерность и достаточность которых защищает Дэвид Карр (Carr D. Narrative Explanation and its Malcontents // History and Theory. – 2008. – V. 47, No. 1. – P. 19–30). Нарративные объяснения, с одной стороны, важны и нужны, поскольку связывают отдельные факты в цельный рассказ через подведение отношений между ними под знакомые читателю когнитивные схемы (фреймы), с другой стороны, с строгом научном смысле они остаются неполноценными ('defective' по К. Гемпелю) поскольку имеют статус ad hoc, не раскрывают сущностных причин и закономерностей и бесполезны для объяснения других случаев.

²² Martin R. Progress in Historical Studies. In: History and Theory. Contemporary Readings. – Blackwell, 1998. – P. 377–403.

²³ Gorman J.L. Objectivity and Truth in History. In: History and Theory. Contemporary Readings. – Blackwell, 1998. – P. 320–341.

Самый надежный способ преодоления фактологических расхождений – эмпирический: поиск в архивах, в археологических данных, или же проведение новых раскопок для получения новых прямых свидетельств о явлениях прошлого.

Если требуемых данных не удастся получить, то эмпиризм дополняют логикой: каковы были бы следствия из каждой версии событий прошлого, о чем говорят имеющиеся сведения о следствиях и как получить свидетельства (теперь уже косвенные), подтверждающие или отвергающие эти следствия?

Более слабыми являются предположения о том «как это должно было быть» на основе аналогий и типов явлений.

В итоге должна быть установлена *платформа фактологического согласия* – пространственно-временные рамки и основная канва событий, относительно чего нет расхождений. К этой платформе согласия добавляется *зона фактологической неопределенности* – альтернативные версии (суждения о явлениях прошлого), лучше всего подкрепленные эмпирически, с указаниями на свидетельства. Венчать эту структуру должно явное представление применявшихся подходов и методов к преодолению фактологического противоречия, а также перспективные пути преодоления оставшихся расхождений.

Методология и методы проверки и обоснования фактов достаточно детально разработаны в рамках самой профессиональной истории. Главные возникающие здесь затруднения отнюдь не философские, они большей частью связаны с дефицитом требуемых данных и свидетельств, а также с нежеланием самих историков устранять противоречия в фактологии (см. выше).

Иначе обстоит дело с выбором и интеграцией теоретических объяснений в истории. Речь идет о разных моделях и концепциях закономерностей и причин прошлых явлений, в том числе, таких крупных как появление и распад государств, революции, завоевания, религиозные расколы, смена экономических укладов, модернизация, демократизация и т. д. Со времен К.Поппера известно, что каждое единичное явление может иметь сколько угодно теоретических объяснений. Важнейшие исторические события обычно имеют объяснения и трактовки с позиций марксизма, веберизма, цивилизационного подхода, теории модернизации, миросистемного анализа. Возможен и нужен ли вообще выбор среди альтернативных объяснений? Оправдана ли интеграция приемлемых объяснений?

Макросоциологические теории обычно тесно связаны с породившими их парадигмами, которые включают принципиально различные мировоззренческие, онтологические и ценностные предпосылки, связаны с политическими и идеологическими установками. В силу этого, парадигмы не поддаются интеграции. Нужна тонкая хирургическая операция по отделению теоретических объяснений от парадигм. Первые можно операционализировать и сравнивать по объяснительной силе и эмпирической подкреплённости, тогда как вторые всегда имеют несводимый мировоззренческий остаток, поэтому с парадигмами лучше обращаться как с основаниями интерпретаций (см. ниже).

Рассмотрим проблему сравнения и интеграции теоретических объяснений, очищенных от парадигмальных, мировоззренческих компонентов. Беда в том, что после дружного опровержения концепции «универсальных (покрывающих) законов» К. Гемпеля никакой общепризнанной альтернативы так и не было создано. Здесь мы выходим на известную тему философии науки о множественности теоретических объяснений, о несовместимости и несоизмеримости теорий.

Наиболее фундаментально эта тема обсуждалась на материале естественных наук с возможностью эксперимента. В истории эксперименты не возможны, а точность теорий, мягко говоря, невысокая. Значит ли это, что следует без боя согласиться на фактически фейерабендовский тезис пролиферации: «все пойдет, любые объяснения и теории в истории хороши, с их множественностью надо смириться, чем больше их, тем лучше»? В философии истории «объяснительный плюрализм» прокламируют Дж. ван Боуэл и Э. Вебер²⁴. Они убедительно отвергли релятивизм Фейерабенда, согласно которому нет правил предпочтения между объяснениями. Нельзя оспорить «плюрализм вопросов», поскольку исследователи вольны ставить самые разные исследовательские задачи, связанные с объяснениями. Дж. Ван Боуэл и Э. Вебер утверждают также «плюрализм ответов» – допустимость разных объяснений в ответ на один и тот же вопрос, ранжируя предпочтения, в частности, признавая превосходство структурных макро-объяснений над интенциональными микро-объяснениями²⁵. С такой позицией трудно согласиться.

²⁴ *Bouwel, Jeroen van, and Erik Weber. A Pragmatist Defence of Non-Relativistic Explanatory Pluralism in History and Social Sciences // History and Theory. – 2008, – V. 47, No. 2. – P. 168–182.*

²⁵ Там же. – С. 181.

Для простоты рассмотрим ситуацию получения двух существенно различных объяснений в качестве ответов на один вопрос. Здесь имеются три основных возможности:

1) ответы давались на разные вопросы, скрывающиеся под одной формулировкой,

2) ответы совместимы как дополняющие друг друга (отдаленная причина и ближайшая причина, общая закономерность и конкретный механизм ее реализации, и т.д.),

3) ответы не совместимы, т.е. указывают на принципиально различные причины, закономерности, сущности.

Ситуация (1) означает вполне законный плюрализм вопросов, нужно только различие вопросов эксплицировать. Ситуация (2) не требует плюрализма ответов, а требует раскрытия связи между взаимодополнительными ответами. Ситуация (3), будучи принята в качестве нормальной, законной, достаточной и не требующей дальнейших исследований как раз и означает «плюрализм ответов». Но с этим согласиться никак нельзя, поскольку ситуация (3) является той самой конфликтной неопределенностью, которая требует разрешения, то есть преодоления противоречивости объяснений, а значит и преодоления «плюрализма ответов».

Научные объяснения всегда относятся к причинам и условиям явлений и процессов. Размножающиеся образы причинных механизмов в истории и социальном мире – это хорошо для литературы и кинематографа, особенно прекрасно для фантастики и фэнтези, но не для познания и сознательной ориентации человека в реальном общественном бытии.

Есть еще один важный аргумент в пользу попыток преодоления пресловутой несоизмеримости теорий. Смириться с множественностью научных объяснений исторических явлений, значит перестать спорить относительно адекватности и преимуществ того или иного объяснения, а это уже ведет к блокированию коммуникации, спора и интеллектуального конфликта, соответственно – к стагнации научно-го мышления.

Как выбрать из имеющихся объяснений одного и того же исторического явления (например, Реформации, подъема капитализма, промышленности и парламентаризма в Англии, Первой мировой войны, Русской революции 1917 г. или коллапса СССР) наиболее адекватное? В философии и методологии науки для такого рода задач разработано множество критериев. Для теоретических объяснений в истории наи-

более релевантными представляются эмпирическая широта и точность во времени и деталях.

Преимущество имеет то объяснение, лежащий в основе которого закон (принцип, модель, механизм, закономерность) уже подкреплён на большем числе случаев и успешно применяется для объяснения новых случаев. Теория, лежащая в основе объяснения европейской Реформации, должна объяснять множественные религиозные расколы в других конфессиях. Теория, применяемая для объяснения английской модернизации, должна объяснять случаи модернизации во многих других странах (например, во Франции, Пруссии, Австро-Венгрии, России). Теория, объясняющая Первую мировую войну, должна быть пригодной и для объяснения других крупных войн и т.д.

Точность, детализованность объяснения означает, что большее число характеристик каждого случая (время и место наступления, массовость, направленность, скорость и радикальность перемен, характер и динамика коллизий и конфликтов, структура коалиций и т.д.) выводятся из разряда «случайностей» в разряд «закономерных предсказуемых следствий из известных причинных условий». Почему Реформация началась именно там-то и тогда-то? Почему ее поддержали определенные государства и слои населения, тогда как остальные стали ее противниками? Нет недостатка в сколь угодно детальных исторических объяснениях *ad hoc*. Здесь критерий точности должен быть совмещен с критерием широты, иными словами, принципы объяснения должны «работать» и для других случаев, а через это «игольное ушко» пройти может далеко не каждое объяснение.

Оба критерия имеют квазиколичественный характер: редко удается на их основе однозначно выбрать одно объяснение и отвергнуть остальные. Возможно ли такое в истории? В естественных науках для таких целей используется критический эксперимент (серия экспериментов). Искусственно создаются такие условия, при которых происходят два четко различимых следствия А и не-А, причем, каждое из них подкрепляет одну теорию и подрывает другую (служит аномалией для нее).

Казалось бы, такой путь для истории заказан, поскольку «экспериментальная история» существует только в фантастических романах братьев Стругацких. Однако в социальной теории есть изящный обходной путь, суть которого в специальном подборе случаев с заданными характеристиками, что позволяет осуществить некий аналог критического эксперимента.

Классический пример представлен Дюркгеймом в книге «Самоубийство»²⁶. Согласно одной теории более склонны к самоубийству более «модернизированные» – горожане в сравнении с селянами, образованные в сравнении с необразованными. Согласно другой теории (принадлежащей самому Дюркгейму) самоубийствам способствует дефицит солидарности, групповой сплоченности. Искомым случаем были бы сообщества городские, имеющие преимущества в образовании, но при этом солидарные. Если верна первая теория, то в таких сообществах самоубийства должны случаться чаще, чем среди селян и среди малообразованных. Если верна вторая теория, то самоубийства должны случаться реже. Аналогом критического эксперимента здесь послужили еврейские общины: городские, высокообразованные и с выраженной внутренней солидарностью. Весьма низкое число самоубийств среди евреев стало убедительным подкреплением теории солидарности и подорвало концепцию пагубного влияния города, образования и науки.

Прямо скажем, такой стиль мышления не характерен для историков. Систематически сравнивать теоретические объяснения и теории исторической динамики морально и интеллектуально готовы только макросоциологи. Уже сейчас наблюдается и будет нарастать в будущем пропасть между традиционными нарративами историографии и макросоциологическими широкими сравнениями, нагруженными теориями. Пожалуй, именно эта ситуация когнитивного разрыва представляет собой сферу глубоких затруднений для философии истории. Историки привыкли описывать явления, а макросоциологи выявляют скрытые закономерности, механизмы, причины и сущности. Чтобы увязать эту разнородность в единое осмысленное целое требуется особенно широкий – философский – взгляд.

Парадигмальный конфликт – наличие существенных противоречий между общими суждениями о явлениях прошлого в двух или более исторических описаниях, между суждениями, основанными на принципиально различных онтологических предпосылках, системах базовых категорий (парадигмах) и соответствующих понятийных аппаратах, исследовательских подходах.

Такого рода проблемы интеграции описаний наиболее трудны, зато открывают широкое пространство для философской работы. Сам

²⁶ Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Пер. с фр. с сокр.; Под ред. В.А. Базарова. – М.: Мысль, 1994.

выбор между парадигмами осмысления прошлого – важная проблема философии истории. Для ее решения нужно достичь согласия между приверженцами разных парадигм о критериях их оценки и выбора. Если отвлечься от сугубо моральных или религиозных оснований, то критерии должны каким-то образом приводить к возможности проверки суждений на основе эмпирических данных. Значит, во весь рост встают задачи операционализации. Сомнительно, что какие-то частные факты могут отвергнуть парадигму исторического процесса как систему категорий. Речь должна идти о промежуточном уровне теоретических описаний, выявляющих общие причины и закономерности исторических явлений.

Так, базовой идеей для критериев оценки и выбора парадигм истории может быть *сравнение объяснительной силы теорий, построенных на онтологических предпосылках той или иной парадигмы*. Это сравнение воспроизводит ситуацию конкуренции теоретических объяснений (см. выше) и осуществляется научными (макросоциологическими) методами. Зато работа по операционализации, по экспликации абстрактных парадигм истории в форме проверяемых теоретических гипотез имеет в большой мере философский характер. Таким образом, здесь открывается обширное поле для продуктивного сотрудничества между философами истории, макросоциологами и традиционными эмпирическими историками – многообещающая замена застарелому взаимному отчуждению и дисциплинарным переговоркам.

Иначе обстоит дело с *интерпретациями*. Справедливо отмечалось, что каждый историк учитывает допустимые точки зрения, релевантные контексты своей предполагаемой аудитории. Эти точки зрения и контексты составляют огромное культурное разнообразие, более того, они изменяются, множатся с каждым поколением и десятилетием.

Интерпретации неискоренимо множественны²⁷. Согласившись с этим, следует признать, что именно эта неизбежная множественность составляет большую проблему в плане доверия к истории. Действительно, если десятки и сотни интерпретаций одного исторического явления (например, Французской революции или распада СССР) допустимы и законны, то люди, особенно подрастающие поколения, попадают в когнитивную ситуацию, объективно способствующую миро-

²⁷ Lorenz, Chris. Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for 'Internal Realism'. In: History and Theory. Contemporary Readings. – Blackwell, 1998. – P. 342–376.

воззренческой шизофрении: реальность множится, почва под ногами плывет. Вовсе не обязательным выходом будет самостоятельное размышление, сравнение доводов, самоопределение и сознательный выбор человеком одной интерпретации значимого события в истории своей страны. Безграничный плюрализм интерпретаций, скорее, приводит к историческому нигилизму и цинизму («всё – вранье», «правды в истории не найти»). Таким парадоксальным образом, богатство множественных интерпретаций для историков оборачивается скудостью исторического сознания для публики.

Итак, вопрос заключается в том, как совместить неустранимую множественность и закономерную изменчивость интерпретаций со здоровыми представлениями о единстве мира, реальности, а значит и исторического прошлого.

Какое различие в интерпретациях требует преодоления, а какое допустимо и нормально? Назовем *радикальным* (требующим преодоления) такое различие интерпретаций одного исторического явления, которое прямо основывается на противоречащих друг другу фактах и объяснениях. Преодоление здесь состоит как раз в устранении данных противоречий. *Умеренное* (допустимое) различие интерпретаций предполагает общую платформу фактов и объяснений, когда разница в интерпретациях обусловлена разными точками зрения, контекстами, ценностями и мировоззренческими установками.

Обратимся к нарративному аспекту исторических текстов: языку, стилю, риторическим и литературным приемам и жанрам. Благодаря традиции, заданной Хейденом Уайтом в классической книге «Метаистория»²⁸, это сторона историографии попала в фокус внимания и иногда считается чуть ли не важнейшей. Многими авторами справедливо отмечалось, что без отнесения к реальности исторического прошлого любой разговор о нарративе исторических текстов исключает главное – сам смысл исторического исследования как познания некоей самой-по-себе-реальности прошлого.

При сохранении такой референции являются ли существенными вопросы о языке, стиле и жанрах в исторических описаниях? Да, историческое описание, претендующее на истину (адекватность, приемлемость, обоснованность – как угодно), вовсе не обязано быть сухим, плоским, скучным и вгоняющим в сон. Интерес и вовлеченность чита-

²⁸ Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002.

теля обеспечиваются богатством, легкостью и сочностью языка, множеством риторических приемов, использованием подходящих способов построения литературного текста.

Можно ли утверждать, что языковые, стилевые, жанровые приемы всегда только проясняют, но никогда не затемняют и не искажают сути дела, способствуют адекватному представлению и пониманию прошлого? Нет. Метафора может уводить в сторону. Подверстывание реальных событий под привычную фабулу (например, наказания за преступление) может зашоривать взгляд не только читателя, но и самого исследователя, закрывая от него реальные причины событий, отнюдь не связанные с «наказанием». Где проходит граница между оправданным и неоправданным использованием нарративных приемов в исторических описаниях? Есть ли вообще такая общая граница? Если да, то каковы критерии и диагностические признаки для различения допустимого и недопустимого? Если нет, то каким образом в этой ситуации «нарративной анархии» отличать правомерное использование языковых ресурсов и литературных приемов от неправомерного?

Обобщая намеченные проблемы, можно заключить следующее. В плане восстановления доверия к истории, область глубоких затруднений связана с противоречием между реальной (или даже неустранимой) множественностью исторических описаний, объяснений, интерпретаций, способов репрезентации и неизбывным стремлением пишущих и читающих исторические тексты получить адекватное и осмысленное представление о прошлом как о единой реальности.

Проблемы интеграции и накопления исторических описаний

Если есть какой-либо консенсус в философии исторического нарратива (метаистории в широком смысле), то он заключается в том, что историю всегда писали, пишут и будут писать существенно по-разному. Это разнообразие способов и стилей иногда доводится до предела (сколько историков, столько историй), чаще речь идет о типах повествования, стилях исторических школ, парадигмальных единствах (прогрессизм, эволюционизм, марксизм, веберизм, теория модернизации, миротестимный анализ, цивилизационный подход и т.д.).

Кроме этого, имеются такие разительные отличия в подходах к реконструкции и описанию явлений прошлого как микроистория

и макроистория (в том числе, мировая история и историческая макро-социология), сам нарративный подход и численные методы (клиометрия и клиодинамика как математическое моделирование исторических процессов на основе численных или как-либо формализованных данных), историческая память личностей, популярная история и профессиональная история и т.д.

Неудача великой неопозитивистской программы по созданию единого безупречного научного языка, к которому могли бы быть сведены все иные языки, оставляет два принципиальных выхода: либо принятие разнобоя в исторических описаниях одних и тех же явлений как неустранимой данности и свидетельства принципиальной несовместимости языков и подходов к ее изучению, либо попытку найти способы интеграции обоснованных и приемлемых описаний.

Первая альтернатива является продолжением известных идей позднего Витгенштейна о несводимых друг к другу «языковых играх», Куна и Фейерабенда – о несоизмеримых парадигмах и пролиферации описаний, Сепира и Уорфа – о зависимости восприятия реальности (или даже самой реальности) от языка описания. Происходит ли здесь накопление исторических описаний? Разумеется. Но данное накопление имеет «механический» характер. Обязательные ссылки на предшествующую историографию являются крайне важной и полезной нормой, но само это формальное требование не способно уберечь от механистичности накопления. На этом пути не видно перспективных проблем для сосредоточения интеллектуального внимания: его раздробленность здесь запрограммирована.

Вторая альтернатива – интеграция описаний и *согласованное накопление* – является крайне трудной и не обещает быстрых решений. Здесь подразумевается стремление к согласованию позиций в фактологии и объяснении, устранение радикальных противоречий в интерпретациях. Этот путь полон препятствий и подводных камней, зато открывает новые большие пространства для множества разнообразных проектов интеграции, ни одному из которых не суждено оказаться удовлетворяющим всех и окончательным.

Зачем нужно именно согласованное накопление исторических описаний, почему недостаточно привычного механического накопления публикаций – статей и книг, по-разному трактующих одни и те же события, процессы и периоды в истории?

Главным нормативным основанием является императив доверия к истории (см. ниже), а также научный статус исторических ис-

следований, предполагающий получение *знаний*, которые не должны друг другу противоречить, но должны накапливаться и служить фундаментом для последующих исследований. Только внутренне согласованные исторические знания могут стать надежной платформой для составления учебников истории, всевозможных справочников и баз данных.

Почему историки не занимаются интеграцией своих описаний, согласованным накоплением знаний или занимаются этим недостаточно? Здесь нужно вести речь о мотивации, а она в интеллектуальной сфере во многом определяется установившимися критериями достижения и признания профессиональной репутации. Что повышает статус и престиж историков в кругу коллег?

Простое обобщение заслуг крупнейших звезд среди историков XX в. (Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель, Вильям Макнил, Эрик Хобсбаум) дает такую подсказку. Главным фактором престижа является умение историком совместить введение в научный оборот нового, достаточно обширного, исторического материала с оригинальной обобщающей интерпретацией, что ведет к сериям новых исследований в данной области.

Настоящий успех доступен только единицам, но подавляющее число историков следуют тому же пути, сосредоточившись на «откапывании» новых архивных материалов и изобретении оригинальных интерпретаций. В этом плане невыгодно заниматься крайне трудоемкой и не обещающей крупных репутационных бонусов работой по преодолению фактологических противоречий или скрупулезным трудом по сравнительной оценке и новому эмпирическому тестированию имеющихся объяснений.

Системный результат указанных предпочтений в профессиональной мотивации состоит в том, что механическое накопление разнородных описаний до сих пор довлеет над попытками интеграции и согласованным накоплением знаний о прошлом, несмотря на постоянно звучащие благонамеренные призывы к учету и осмыслению предшествующей историографии.

Норма согласованной интеграции станет жизнеспособной только при появлении убедительного и престижного образца, например, большого академического проекта по изданию многотомной национальной истории. Детальнее логика преодоления расхождений и противоречий в исторической фактологии, в объяснениях и интерпретациях будет разобрана при рассмотрении проблем доверия к истории.

Накопление историографии и продолжающееся переосмысление прошлого

Математические и естественнонаучные понятия могут оставаться неизменными на протяжении десятилетий и даже столетий. Однако общество постоянно переосмысляет себя, а значит и свою историю. Этот процесс обрел поистине индустриальную мощь после появления в середине XIX века социологии, бурного развития всех социальных наук в XX столетии. Как совместить нормальное стремление к познанию «единой реальности» прошлого с неизбежностью концептуального и даже парадигмального переосмысления социальных и исторических явлений и процессов? Вероятно, именно в этой области находятся будущие россыпи глубоких затруднений для философии истории.

Простые аналогии со сменой парадигм в математике (от арифметики к алгебре и далее к теории множеств), в физике (от механики Ньютона к теории относительности Эйнштейна) подсказывают общее направление: каждая последующая парадигма осмысления общества и истории должна включать предыдущие в качестве своих частных фрагментов. Ясно, однако, что за этой простой формулировкой скрываются огромные интеллектуальные трудности, причем не столько эмпирического, сколько теоретического, методологического и философского порядка.

Доверие к истории, роль философов и предстоящий интеллектуальный поворот

Возвратимся к вопросу о том, что требуется для обеспечения доверия к истории? Итогом проведенных рассуждений будет такой ответ: требуется *многослойное, накапливающееся знание о прошлом, включающее факты, нарративы, теоретические объяснения с эмпирическими основаниями каждого суждения, включающими документы, численные данные и иные свидетельства. Эти знания и основания добываются в интеллектуальных сетях историков, реализующих свои различные мировоззренческие, теоретические и методологические установки, критикующих и развивающих результаты друг друга.*

Какова здесь роль философов истории? Пора уже выйти из подчиненной роли интерпретаторов исторических текстов. Философы по своему предназначению – это, с одной стороны, специалисты по осно-

ваниям: логическим, эпистемологическим, онтологическим, ценностным, с другой стороны, разработчики целостных и осмысленных образов бытия, познания, мира и места человека в нем.

Доверие к истории связано именно с основаниями знания о прошлом. Область глубоких затруднений задается здесь таким рядом вопросов:

- Возможна ли и нужна ли общая философская концепция оснований исторического знания?
- Если да – какова ее форма и собственная обоснованность (с учетом отсутствия согласия в «чистой» философии)?
- Если нет, то как верить каким-либо основаниям или требованиям оснований в исторических знаниях при отсутствии общей нормативной системы?

В этой перспективе не удалось найти глубоких затруднений, касающихся языка. Лингвистический поворот был полезен, но отслужил свое. Внимание к языку уже никогда не исчезнет в философии и науке, но оно может и должно стать более практическим, инструментальным. На повестке дня в познании прошлого – поворот к широким сравнениям и теоретическому мышлению, осознанию коммуникативности и сетевого характера исторических исследований, смелости в провоцировании интеллектуальных конфликтов, систематичности в достижении согласия и накопления знаний.

Вслед за неопозитивистским, структуралистским, лингвистическим и нарративистским поворотами будущую философию истории ожидают новые повороты. Контуры их проглядывают уже сейчас, а точное имя еще должно быть найдено.

Структура и ход социальной эволюции: подход к периодизации всемирной истории

Способы и основания структурирования истории

Если проблемы обоснования и интеграции исторических суждений, проблемы исторических оценок хорошо знакомы философам истории, активно обсуждаются в той или иной форме, то другие важ-

нейшие проблемные сферы осмысления человеческого прошлого примерно с середины XX в. выпали из философско-исторического дискурса.

Одной из таких сфер является сложнейшая проблематика структурирования истории, включающая вертикальное деление на эры, эпохи, стадии, периоды (периодизацию) и горизонтальное деление на цивилизации, миросистемы, общества, культуры. В каждом историческом компендиуме, учебной программе такое структурирование проводится, воспроизводится или заимствуется.

Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, явно предлагаемая или подразумеваемая структура истории (в частности, та или иная периодизация) всегда имеет громадное суггестивное значение, фактически формирует весь образ прошлого с границами между частями мировой истории, имена которых уже наполнены множеством коннотаций, с другой стороны, оправдание и обоснование того или иного варианта структурирования истории крайне редко тематизируются, то есть становятся предметом целенаправленного систематического исследования.

Понятно, почему обычно это не делают историки: по долгу службы они устремлены, прежде всего, к содержательной исследовательской работе – выявлению, описанию, объяснению исторических явлений и процессов, для которых любая структура является лишь внешней, часто условной рамкой. Историков интересует картина определенной выделенной части прошлого, а к вопросу о разделительных линиях они относятся как вспомогательному и второстепенному. Некоторые историки позволяют себе покритиковать упрощенные и искажающие общепринятые структуры (например, деление на эпохи или цивилизации), но крайне редко предлагают свои варианты и еще реже их обосновывают.

Также понятно, почему вопросами структурирования истории практически не занимаются современные философы истории. Почти все они – наследники послевоенного взлета аналитической философии истории, позднейших поворотов к метаистории, нарративизму, постмодернизму и т. п. В этом стиле мышления есть известная общность – отрицание сциентизма со строгими понятиями и классифицированием, больших фундаментальных нарративов, самой идеи строгого научного обоснования. Кроме того, прокламирование аналитической философии истории строилось во многом на отрицании прежней «спекулятивной» философии истории, которая связывалась с «дурной»

традицией континентальной философии. С точки зрения аналитизма и нарративизма предметом философии истории вообще не может быть реальное историческое прошлое, но только тексты историков либо околоисторический дискурс. Поэтому, насколько мне известно, в философско-исторической литературе последних десятилетий вопрос о структурировании истории практически не поднимался²⁹, а отдельные публикации не получали резонанса и развития. Почему же при всем этом проблема структуры мировой истории представляется сейчас актуальной и перспективной для философско-исторических исследований?

Накопилось множество претензий к прежним классическим способам периодизации и социально-пространственного деления. Претензии связаны с преодолением европоцентризма, существенным усложнением взглядов на казавшиеся ранее вполне ясными границы между Древностью, Средневековьем и новым Временем, между Востоком и Западом, между цивилизациями. Огромный постколониальный мир требует своих разделений, для которых часто не хватает традиционных географических, языковых, конфессиональных и этнических границ. Множество предложенных альтернативных способов структурирования истории (П. Стерн, А.Г. Франк, И. Валлерстайн, И.М. Дьяконов, С. Роккан, М. Манн³⁰) остались как бы «подвешенными», не получили должного объема обсуждения, критики или подтверждения. Структура общечеловеческого прошлого остается зыбкой и размытой. Поскольку «природа не терпит пустоты» множатся сугубо идеологические, тенденциозные схемы мировой истории, которые профессиональные историки, макросоциологи, философы не обсуждают, считая это ниже

²⁹ Заметная и вызывающая отклики работа немецкого историка и философа истории Рейнхарта Козеллека как раз направлена против каких-либо периодизаций [*Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time.* – Cambridge, MA: MIT Press, 1985. См. также: *Jordheim, Helge. Against Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Temporalities // History and Theory.* – 2012. – V. 51, No. 2. – P. 151–171]. Аргументом здесь является т.н. многослойность времени и множественность, темпоральностей – временных порядков (природное и историческое время, экстралингвистическое и интралингвистическое время, диахроническое и синхроническое время). Беда в том, что свои различия «времен» Козеллек проводит на основе «исторического опыта» и феноменологии, что является гораздо более зыбкой и сомнительной почвой, чем любые основанные на отрефлексированных критериях периодизации.

³⁰ Структуры истории // Альманах «Время мира». – Вып. 2: – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.

своего достоинства, но немалая часть публики воспринимает за «новую истину» именно из-за зыбкости, смутности структуры истории в общественном сознании и в самой профессиональной среде исследователей прошлого.

Структурирование истории всегда явно или неявно основано на онтологических и ценностных предпосылках относительно прошлого, выявление, критика и разработка которых доступны только философам истории.

Проблемы периодизации всемирной истории

Нет ничего более необходимого и нет ничего более сомнительного в историческом познании, чем периодизации.

С одной стороны, выделение этапов, фаз, периодов – неотъемлемая часть написания истории, более того, одна из главных форм традиционного и современного исторического мышления. С другой стороны, если некоторые привычные евроцентристские периодизации (например, Древность – Средние века – Возрождение – Новое время – Новейшее время) пока еще кажутся многим ясными и непреложными, если в своей узкой области специалист волен выделять любые последовательности этапов развития отдельного поселения, провинции, общества, то при восхождении к масштабу Всемирной истории практически все устоявшиеся шаблоны рушатся, а совмещение частных периодизаций, выделенных историками для своих излюбленных областей, представляется вовсе невыполнимой задачей.

Проблема построения обоснованной периодизации Всемирной истории исключительно сложна из-за многолинейности истории, огромного разнообразия социальных и культурных форм, различной скорости процессов, длительных периодов изолированного развития основных ойкумен (афроевразийской, доколумбовой Америки, Австралии и Океании), неопределенности общих единиц анализа, терминов и понятий относительно конкурирующих макроисторических парадигм³¹.

По крайней мере, со времени работ такого авторитетного историка и философа истории, как Р. Коллингвуд отвержение всех попыток пе-

³¹ Грин В. Периодизация в европейской и Всемирной истории // Структуры истории // Альманах «Время мира». Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С.39–79.

риодизации Всемирной истории из-за произвольных, плохо обоснованных критериев является общим местом³². В итоге каждая новая версия глобальной периодизации сразу же отвергается (или игнорируется, что еще хуже), зачастую без каких-либо размышлений и дискуссий. Опыт интеллектуальной истории говорит о том, что в таких случаях полезнее не непосредственно новые ответы (здесь – новые версии периодизации), но развертывание самого процесса проблематизации, установления требований к результату, поиска и построения ответа. Этот подход делает прозрачными основные логические шаги; и каждый из них может, разумеется, подвергаться критике, корректироваться и трансформироваться.

Начнем с фиксации основных групп проблем, являющихся предметом современных дискуссий и требующих решения при построении обоснованных периодизаций.

1. *Проблемы философских предпосылок периодизации* касаются прежде всего гносеологических, онтологических и ценностных оснований.

1а. *Гносеологические проблемы* касаются адекватных и обоснованных подходов в самом исследовании. Какой путь выявления периодизаций является правомерным: основанный только на эмпирических данных? основанный только на общих априорных формах и принципах? если основанный на сочетании того и другого, то каким образом?

1б. *Онтология периодизации* касается экзистенциальных, бытийных основ истории как предмета, подлежащего структурированию. В некотором смысле сущность периодизации изоморфна сущности истории. Что есть историческое изменение? Как соотносить непрерывность изменений с прерывностью деления на периоды? Имеет ли периодизация объективный характер, некую онтологическую укорененность в реальности (например, подобно Периодической таблице химических элементов Менделеева или эволюционной классификации животных), либо она является чисто субъективным орудием удобного упорядочения исторического опыта (подобно множественности классификаций книг, людей, происшествий, произведений искусства и т.п.)?

Что вообще должно подлежать периодизации? Что считать существенным, субстанциональным, главным, а что второстепенным, акцидентальным, дополнительным в многоликой истории? Достаточно ли одной сферы социально-исторической реальности (например, техноло-

³² Коллингвуд Р. Идея истории. Автобиография. – М.: Наука, 1980.

гии, производственных отношений, государственности, культуры), или же необходим учет нескольких сфер в одной периодизации, или в каждой сфере следует строить отдельную периодизацию? Каковы философские и/или научные основания такого рода решений?

1в. *Ценностные, или аксиологические, проблемы периодизации* менее очевидны, но не менее существенны. Какие ценности лежат в основе выбора тех или иных групп исторических явлений как значимых и существенных? Могут ли быть эти ценности универсальными? Если да, то как обосновать эту универсальность? Если нет, то имеем ли мы право на основе локалистских ценностей (например, локально-цивилизационных или национальных) судить о существенном во всей истории и строить соответствующие периодизации?

2. *Проблемы единства Всемирной истории и глобальной периодизации.* Является ли человеческая история по своей сути Всемирной историей или это лишь внешним образом связанный набор локальных историй? Соответственно, имеет ли смысл выявлять некую общую структуру истории для построения периодизации или достаточно соотношения локальных периодизаций, каждая из которых должна строиться сама по себе? Существует ли единый принцип периодизации локальных историй (например, через последовательности роста, расцвета и упадка) или следует вводить принцип, свойственной каждой из них?

3. *Проблемы принципа и критериев выделения частей и границ периодизации.* На каком основании мы отличаем один фрагмент исторического времени от другого? Как выяснить, новая это форма того же самого или нечто принципиально новое, хоть и сохраняющее преемственность со старым? Следует ли искать один базовый критерий различения периодов, или адекватной является некая совокупность критериев? Следует ли непременно выдерживать единство критериев различения на всем протяжении человеческой истории? Не утерится ли при этом способность видеть неповторимость эпох и существенные трансформации исторической реальности?

Если на уровне философских (1) и фундаментальных научных проблем (2–3) принимаются принципиальные решения, то далее проблемы касаются способа реализации, оценки и использования полученных результатов.

4. *Проблемы полноты и целостности периодизации.* Насколько полно охвачены выделяемые исторические единицы (мировые регионы, ойкумены, цивилизации, миросистемы и т. д.)? Насколько адекват-

на периодизация для учета исторических изменений в разных сферах социально-исторической реальности (технология, хозяйство, политика, война, право, религия, культура, образование и т. д.)?

5. *Проблемы проверки периодизации.* Если нельзя проверить, насколько адекватна периодизация, то становится сомнительной ее полезность и применимость. Если периодизация претендует на выделение существенных черт и различий в историческом движении, то она должна предполагать некие процедуры интерпретации, верификации и фальсификации. Каков принцип этой проверки? Каковы процедуры? Какого рода факты в принципе могут служить основанием для отвержения периодизации?

6. *Проблемы исследования макроисторической динамики в связи с периодизацией.* Адекватная периодизация должна не препятствовать, но напротив, способствовать исследованию процессов макроисторической динамики, в том числе процессов, обуславливающих смены одних эпох (фаз, периодов) другими, и процессов, проходящих сквозь границы периодизации. Соответственно, можно поставить следующие проблемы динамики истории, относящиеся уже к использованию периодизации.

Что переводит одни фрагменты исторического времени в другие? Действует ли один и тот же механизм динамики? Либо имеется значительное разнообразие механизмов в разных частях истории, или же эволюционируют механизмы на всем протяжении истории? Каково соотношение детерминизма и случайности в этом механизме? Если он детерминистичен, то насколько и каким образом предсказуемо наступление последующих периодов? Если основную роль играет случайность, то как с ней совместить универсальность и непреложность выделенных границ периодизации?

Философские и научные требования к периодизациям

Зачем нужно изложение оснований, почему сразу не представить на суд читателей получившийся продукт – периодизацию? Как мы видели в проведенном обзоре, предлагается множество вариантов периодизации, но ни один не становится общепринятым. Надеяться, что до сих пор были ошибки, а вот теперь наконец найдено единственно верное решение, наивно. Следует привыкнуть к мысли, что споры о периодизации будут продолжаться до тех пор, пока будет существовать

наука история и не угаснут попытки ее целостного осмысления. Значит, вопрос не в том, чтобы неким «гениальным и окончательным решением» прекратить споры, но в том, чтобы попытаться вывести их на новый уровень.

В работах Валлерстайна, Модельски, Стернза, Гудсблома, Дьяконова, Мэннинга³³ уже намечается переход к дискуссиям на уровне оснований. Развитие этой линии состоит в явном формулировании исходных посылок и самого метода построения периодизации. Разумеется, это делает уязвимым итоговый продукт, поскольку каждая посылка, каждая операция метода оказываются под прямым обстрелом критики. Зато открываются новые возможности сознательной замены другими авторами любого звена подхода и построения периодизаций, лучше по тем или иным критериям обоснованных.

Методология и принципы построения обоснованной периодизации

Подход к построению периодизации требует конкретных концептуальных решений, но также он включает общий логический каркас принципов и процедур работы, который будем называть *методологией построения периодизации*. Ошибки могут крыться как в концептуальных решениях, так и в самой методологии. Поэтому далее будем различать эти аспекты, вначале представляя абстрактную методологию, а затем наполняя ее концептуальными решениями, которые реализуются в методе.

Общая идея предлагаемой методологии состоит в постулировании исходных требований к периодизации, построении онтологии исторического изменения, выделении базовых аспектов и единиц анализа, главных причинных характеристик в каждом аспекте, причем по возможности обобщенных для разных пространственно-временных фрагментов Всемирной истории, выявлении ряда наиболее значимых переходов в каждой из этих характеристик, построении априорных критериев для проведения хронологических границ переходов, разработке приемов и средств сопоставления этих кри-

³³ Структуры истории // Альманах «Время мира». Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.

териев с эмпирическими данными истории, применении их и построении соответствующей периодизации.

С учетом рассмотренных выше подходов, а также на основании ранее проведенных философско-методологических исследований³⁴ сформулируем совокупность требований к периодизации Всемирной истории.

Принцип субстанциональности (versus поверхностные, случайные или произвольные деления). Периодизация Всемирной истории (далее – периодизация) должна быть субстанциональной, т. е. прямо соотноситься с главными характеристиками, определяющими качествами, задающими специфику и стабильность различных частей исторической реальности, а также с наиболее сильными факторами (причинами, движущими силами, паттернами) исторического изменения в этих частях.

Принцип временной сравнимости (versus партикуляризм исторических эпох). Периодизация должна быть единообразна во времени. Было бы некорректным делить ранние периоды истории на основании одного критерия, а более поздние периоды – на основании другого. Сами фрагменты периодизации могут существенно отличаться по многим характеристикам, особенно в начале и конце человеческой истории, но они должны быть концептуально гомогенными и сравнимыми.

Принцип пространственной сравнимости (versus партикуляризм культурных и географических регионов). Периодизация должна учитывать совмещение пространственных делений и соответствующей специфики с реально существующим разнообразием исторических форм; очевидное различие в скорости исторических изменений (например, между Афро-Евразией, доколумбовой Америкой, Австралией и Океанией) не должно упускаться из виду, но в то же время оно не должно подрывать целостность периодизации в ее ключевых аспектах.

Принцип сравнимости парадигм (versus схоластика и концептуальная узость). Концептуальная структура периодизации должна быть сопоставимой с ключевыми категориями наиболее развитых и продуктивных макроисторических парадигм³⁵. Периодизация должна стать не

³⁴ Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. – Новосибирск, 1992; *Он же.* Философия и теория истории. Кн. 1: Прологомены. – М., Логос, 2002.

³⁵ Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1: Прологомены. – М., Логос, 2002.

оружием борьбы между школами, но, скорее, общим концептуальным и коммуникативным полем для ученых из конкурирующих интеллектуальных лагерей.

Принцип гибкого традиционализма (versus и краткосрочный радикализм, и ригидный догматизм). Структура периодизации не должна радикально отличаться в основных понятиях и делениях от текущей академической традиции изучения и преподавания истории до тех пор, пока достаточно сильные аргументы не сделают инновацию реально необходимой. Задача заключается в улучшении и переструктурировании концептуального каркаса для объяснения и понимания истории, но не в абсолютном отказе и замещении предшествующих традиционных структур. Любые структуры истории (включая периодизации) должны служить в качестве полезных познавательных инструментов для работы с данными, логически обоснованного обучения, удобных академических коммуникаций и развития дальнейших исследований.

Представленные нормативные принципы специально сформулированы весьма жестко, кроме того, они полны внутренних напряжений. Вполне вероятно, что результаты данной работы не вполне удовлетворят заявленным требованиям. При этом явные принципы сохраняют свое значение либо как источники новых – следует надеяться, более успешных попыток, либо как очередная нормативная веха, отталкиваясь от которой, исследователи будут формулировать новые системы принципов.

Начиная рефлексию с принципа субстанциональности, мы приходим к решающей проблеме философии истории и социальной онтологии: что является субстанциональным в человеческой истории?

Изменение неизменно: эволюция человеческих режимов как базовая онтология

В отношении сущностных характеристик истории мы можем быть уверены по крайней мере в универсальности тезиса Гераклита: все течет, все изменяется. Субстанциональность подразумевает некий более глубокий слой реальности, определяющий основные черты калейдоскопа видимых изменений. Парменидовское неподвижное бытие вряд ли поможет нам в объяснении исторических изменений. Поэтому гераклитовский тезис об универсальности изменений распространяем

также и на глубинный слой сущностей и причин. Итак, онтологию истории строим со следующего положения: *субстанцией истории являются изменения – как видимые, фактуальные, так и более глубокие изменения, требующие реконструирования.*

Следующий вопрос: изменения чего именно следует считать субстанциональными с точки зрения периодизирования истории? Внутри выбранного круга первичных категорий мы имеем достаточно узкий список альтернатив. Рассмотрение изменения изменений является не очень хорошим способом, поскольку приводит к «дурной бесконечности»: изменения изменений изменений... и т. д.

Примем в качестве компромисса *изменение неизменного*, понимая под неизменным нечто, что может рассматриваться как стабильность, по крайней мере в некотором смысле и в некоторых пределах. Другими словами: неизменное есть нечто, что условно, внутри некоторых временных, пространственных или концептуальных границ, может быть принято как постоянство, регулярность, более или менее устойчивая рутина.

В современной макроисторической литературе есть понятие *режимов*, которое голландские историки Йохан Гудсблом и Фред Спир заимствовали из работ немецкого социолога Норберта Элиаса³⁶ и использовали для структурирования человеческой истории и даже Большой истории («от Большого взрыва» – с рассмотрением звездных режимов, режима Солнечной системы, геологических режимов Земли и эволюции биологических режимов³⁷). Человеческие режимы понимаются здесь как охватывающая категория для всех человеческих условий, опыта, деятельности и взаимодействия, которые могут быть рассмотрены как нечто регулярное, рутинное и стабильное, по крайней мере в некоторых аспектах и пределах.

Далее будем использовать результаты ранее проведенных философских исследований и соответственно четырем онтологическим сферам³⁸ выделим четыре типа человеческих режимов:

³⁶ Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. – М.: СПб, 2001.

³⁷ Spier Fred. The Structure of Big History. From the Big Bang until Today. – Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 1996.

³⁸ Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1: Прологомены. – М., Логос, 2002; *Он же*. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. – М.: РОССПЭН, 2011.

- *экотехнологические режимы* (с включением материальных аспектов взаимодействия человека с природой, а также демографических процессов);
- *психические режимы* (с включением регулярных процессов психики и общения не только индивидов, но также групп и сообществ);
- *социальные режимы* (с включением регулярных военных, политических, экономических, морально-правовых и прочих взаимодействий);
- *культурные режимы* (с включением языковых, религиозных, эстетических, познавательных и подобных процессов, основанных на символизации и образцах).

Подчеркнем еще раз тотальность категории режимов для охвата всего неменяющегося, стабильного, рутинного в человеческой, социальной действительности. Говоря об изменении чего-либо в истории, например технологий, институтов, поселений, архитектуры, государств, норм, языков, эмоций, ценностей, знаний, видов деятельности и т.д., мы с необходимостью говорим о тех или иных *элементах* более крупных целостностей – человеческих режимов. Соответственно, именно изменение этих режимов следует считать субстанциональным в истории.

Что же тогда является глубинным причинным слоем, определяющим изменения режимов? Вне *собственно* человеческих режимов известны только две альтернативы: некие сверхъестественные причины (например, божественные, провиденциальные, демонические и т.д.) и «чисто» природные причины (режимы биосферы, планеты Земля, Солнечной системы). Поскольку первые рациональному научному исследованию не поддаются, оставляем эту сферу профессиональным богословам и демонологам. Ясно, что природные режимы имеют фундаментальную значимость для того, что происходит в человеческой истории. В то же время вполне очевидно, что не меньшую значимость для фактуальных исторических изменений имеют человеческие режимы – экотехнологические, психические, социальные и культурные, особенно когда вследствие накопительного эффекта меняются условия и одни режимы сменяются другими. Рассмотрим этот вопрос, имеющий для периодизации особую значимость, более детально.

Человеческие режимы и периодизация истории

Что представляет собой Всемирная история с точки зрения человеческих режимов? Любой режим адекватен только при определенных условиях. Условия неизбежно изменяются – как вследствие спонтанных изменений природных режимов (например, изменений климата), так и вследствие накопления следствий действия человеческих режимов (например, истощение ресурсов в данной местности), что служит вызовом для прежних режимов – режимным кризисом. Кризис в свою очередь заставляет режимы изменяться, адаптироваться или погибать, возможно, вместе с основной частью населения – носителей данных режимов.

Итак, в результате разнообразных кризисов, которые с очевидностью неизбежны в человеческих условиях, старые режимы умирают, а новые появляются. В конечном счете, успешные режимы в виде удачных перекombинаций элементов прежних режимов начинают доминировать и расширяться за счет последних, которые в свою очередь маргинализируются – вытесняются на периферию.

Резонно полагать, что субстанциональный критерий периодизации заключается в смене основных типов разнообразий режимов. Иными словами, разнообразия режимов существовали всегда, но в каждом периоде Всемирной истории был особый тип такого разнообразия.

В чем же специфика этих типов? Здесь мы подходим к ключевому онтологическому решению: *в каждую эпоху основные характеристики изменения разнообразия режимов задаются господствующими в это время режимами*. Здесь в новых понятиях сформулирована идея, явно или неявно присутствовавшая во многих подходах к структурированию человеческой истории начиная с Гегеля и Маркса: характер эпохи задается сильнейшими, наиболее влиятельными на данный момент целостностями.

Под господством (доминированием) режимов будем понимать их более высокую эффективность в широких пределах сложившихся в данное время условий, причем эта эффективность проявляется в неуклонном распространении через вытеснение и ассимиляцию конкурирующих режимов.

Наиболее яркими и известными являются смены господства экотехнологических режимов: от охоты/собираательства – к зем-

леделию и скотоводству, а затем к машинной индустрии. Охота и собирательство отнюдь не исчезли ни при первом переходе (неолитической революции), ни при втором переходе (промышленной революции). Но характер этих маргинализованных режимов определялся каждый раз именно господствующими режимами, «аграрией» и «индустрией» соответственно.

На пути анализа режимных разнообразий нас поджидают многочисленные трудности.

Во-первых, если смену экотехнологических режимов можно каким-то образом восстановить из археологических или архивных данных, то смена социальных и культурных режимов представляется почти неуловимой материей, если не «привязать» ее к известным и привычным событиям и целостностям традиционной эмпирической истории.

Во-вторых, во весь рост встают проблемы сравнения режимов, интерпретации результатов их столкновения.

В-третьих, в одних частях земного шара господствуют одни режимы, а в других – совсем иные, в соответствии с чем появляются еще более трудные задачи сравнительной «заочной» оценки никогда не сталкивавшихся между собой режимов, преодоления известного цивилизационного разнообразия и альтернативности траекторий развития.

В-четвертых, встает известная проблема внесения дискретных границ и периодов в реальную постепенность, континуальность исторических изменений.

Решением первой группы трудностей является введение в нашу конструкцию понятия общества как режимного триединства, своего рода «проводника» или «реализатора» отношений режимного доминирования. Для решения трудностей второй группы заданы три общих аспекта доминирования обществ (геополитического, геоэкономического и геокультурного), а далее развернуты десять более дробных критериев. В качестве решения трудностей третьей группы введены понятия фаз социального развития обществ, типов-аттракторов и принципов «заочного» сравнения уровня развития обществ и режимов. Решением трудностей четвертой группы становится новая интерпретация «громких» исторических событий.

Общество как триединство базовых режимов

Наряду с географическими условиями и границами важнейшими обстоятельствами существования и изменения режимов являются, конечно, сами социальные целостности. Известно большое разнообразие старых и новых альтернативных единиц анализа: державы, государства, страны, общества, народы, этносы, популяции, поселения, нации, группы, классы, формации, цивилизации, исторические системы, миросистемы, социальные сети.

К сожалению, здесь нет возможности обсуждать достоинства и недостатки каждой альтернативы. С точки зрения систематического учета стабильности и изменений человеческих режимов оптимальным представляется старое доброе понятие «общество». Никакие более мелкие единицы не позволяют отвлечься от социальных условий, поставляемых охватывающим целым – обществом. С другой стороны, анализ работ, берущих за основу более крупные, чем общество, единицы – цивилизации, миросистемы, ойкумены в известных концепциях Тойнби, Броделя – Валлерстайна, Макнила и др., – показывает, что общества в этих концепциях всегда присутствуют, причем на главных ролях (что не отменяет их зависимости от охватывающих исторических систем). Новые попытки вовсе отказаться от традиционных целостностей и анализировать лишь социальные сети (М. Манн, Р. Коллинз) нельзя признать удачными по той же причине: в том или ином виде общества в подобных аналитических работах вновь возникают, и характеристики этих обществ и их границы по-прежнему играют важнейшую роль в том, что происходит в сетях³⁹. Кроме того, сами сети по своей сути являются частным аспектом социальных режимов и несут в себе те же операциональные трудности: как, например, выяснить, где кончается одна сеть и начинается другая и т. п.

Предварительно определим общество как *совокупность человеческих групп с единством базовых социальных и культурных режимов*. Почему здесь учитываются только два типа режимов из четырех? Дело в том, что экотехнологические режимы могут быть весьма разнообразными в рамках одного общества, и напротив, сходными для разных обществ (например, определенного типа охота или земледелие), а пси-

³⁹ Mann M. The Sources of Social Power. V. 1–2. – Cambridge Univ. Press, 1987, 1993.

ические режимы представляют непосильную задачу для исторической реконструкции.

Следующим шагом выделим базовые социальные и культурные режимы и показатели единства. Дело в том, что в каждом обществе есть множество взаимосвязанных социальных режимов, то же касается и культурных режимов. При этом можно считать социологически и культурологически обоснованным следующий тезис. Для осуществления всех социальных и культурных режимов наиболее значимыми условиями являются установившиеся системы власти (политика), регулирующие правила взаимодействия между людьми (мораль и право), порядок обмена и распределения благ и услуг (экономика), язык или языки общения и социального взаимодействия. Итак, в качестве базовых социальных режимов предлагаются политико-правовой и экономической режимы, а в качестве базового культурного режима – языковой режим.

Уточним теперь наше определение. Общество есть *совокупность человеческих групп с единством структур власти, моральных и/или юридических правил, единством порядка обмена и распределения, единством языка или языков социального взаимодействия.*

Верно, что только национальные государства достаточно хорошо соответствуют всем этим критериям⁴⁰. Но это не означает, что до национальных государств не существовало обществ. Встречая отсутствие того или иного единства, исследователь может заметить, что данная историческая целостность в определенных аспектах является обществом (например, общая политическая власть и режим обмена в древних мир-империях), но в некоторых аспектах она разделена на меньшие общества (например, автономные провинции с собственными языками и даже правовыми кодексами). Такая историческая целостность, как СССР, была во многих аспектах единым обществом (единство политической власти, права, единство денежной системы, порядка обмена и распределения, общность языка социального взаимодействия – русского); в других аспектах СССР был частью охватывающего общества (в военно-политическом отношении страны Варшавского пакта составляли одну управляемую из единого центра империю); наконец, были аспекты, в которых СССР представлял собой не одно общество, а совокупность обществ (развитие национальных языков и культур,

⁴⁰ Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992*. Blackwell, 1992.

относительная автономия политической власти в республиках Прибалтики, Кавказа и Средней Азии).

Итак, общество, рассмотренное как триединство базовых режимов, оказывается весьма гибким понятием, с помощью которого можно квалифицировать даже весьма нетривиальные случаи, далекие от простого единства национальных государств.

Доминирование режимов и обществ – ключ к периодизации

В некоторых регионах мира в каждый момент времени существует некоторое множество обществ (часть которых выходит за границы региона, а иногда даже объединяет 2–3 региона или больше). Кроме того, в каждом обществе и каждом регионе имеется разнообразие режимов. Ранее мы условились считать сущностью каждого периода рост, распространение и удержание доминирующего положения наиболее эффективными в условиях данного периода режимами. Привязка периода к режимам, а не обществам оправдана относительной кратковременностью жизни обществ. Вследствие сложившихся конъюнктурных условий общества могут гибнуть, на их место встают другие, но господствующие режимы в принципе могут оставаться теми же самими, соответственно и период остается тем же самым.

Вместе с тем, судьба режимов не может считаться независимой от обществ. Не единственными, но важнейшими каналами распространения режимов являются военно-политическая, техноэкономическая и культурно-религиозная экспансии одних обществ в отношении других. Победа общества в некотором аспекте обычно означает и победу его режимов в том же аспекте. Общества используют режимы в качестве средств своего выживания и конкуренции среди других обществ. Однако в долговременном плане можно обернуть это отношение и рассматривать конкуренцию режимов (режимных комплексов) между собой, ведущуюся посредством обществ и борьбы между ними, в качестве преходящих средств. Именно второй подход представляется наиболее перспективным для построения периодизации Всемирной истории.

Итак, победы и поражения обществ – главный материал традиционной историографии – следует представить как феноменальный уровень, манифестацию *скрытой конкуренции режимов и смены режим-*

ных разнообразий, изменения неизменного как главной субстанции человеческой истории.

Трактовка альтернативности и многолинейности истории: типы-аттракторы и зоны кризиса

Хорошо зная о современном предубеждении против каких-либо линейных схем стадий и фаз исторического развития, покажем, что фазы могут быть достаточно широки, чтобы включать и всю реальную специфику отдельных обществ, культур, цивилизаций, и специфику индивидуальных траекторий исторического изменения.

Чтобы концептуализировать очевидные и существенные различия между обществами в единой фазе, мы используем ранее введенное понятие тип-аттрактор⁴¹ – гибрид веберовского «идеального типа»⁴² и «аттрактора» И. Пригожина⁴³.

В структурном плане тип-аттрактор определяется как режимный комплекс, устойчивый в рамках определенного разнообразия условий.

В параметрическом плане тип-аттрактор предстает как некий локус («воронка», «седловая точка», «энергетическая яма») в пространстве измерений изменения обществ. Таким образом, каждая фаза оказывается достаточно широкой областью, включающей несколько локусов – типов-аттракторов.

Каждый такой локус способен «притягивать» и «захватывать» выбитые из других локусов общества; причем, попадая в данную область (локус) параметрического пространства, т.е. приобретая соответствующий режимный комплекс (см. выше), общество вступает в более или менее длительную фазу стабильности (устойчивое состояние).

Эта устойчивость объясняется тем, что сохранение заданных значений по каждому измерению (сохранение того же режимного комплекса в структурном плане) более комфортно для влиятельных социальных групп общества в данных границах условий, чем какие-либо существенные изменения (выход из этой области пространства измерений, смена режимного комплекса).

⁴¹ *Розов Н.С.* Философия и теория истории. Кн. 1. Прологомены. – М.: Логос, 2002. – Гл. 3.

⁴² *Вебер М.* Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.

⁴³ *Пригожин И.* Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 46–52.

Системное «притяжение», или смещение обществ к центру типа-аттрактора, проявляется в истории как явление социального резонанса и мегатенденции как цикла положительных обратных связей между переменными, совместное и взаимоусиливающее изменение значений которых, собственно, и составляет это смещение⁴⁴.

Движение к типу-аттрактору, связанное с существенным ростом, развитием, повышением эффективности, выходом на новую фазу исторического развития, трактуется как мегатенденция «лифт», объединяющая в единый комплекс положительных обратных связей динамические стратегии⁴⁵, когда все могущественные и влиятельные социальные группы вовлечены во взаимосвязанные и взаимовыгодные виды деятельности, которые обеспечивают удовлетворение их основных нужд и растущий социальный комфорт.

Когда рост переходит в плато, это означает, что общество достигло самого центра типа-аттрактора и соответствующего периода процветания и стабильности. Центр каждого типа-аттрактора означает максимальное взаимное соответствие и гармонию между всеми человеческими режимами общества в этом центре, так же как гармонию между экологическими режимами и человеческими техно-экологическими режимами. В то же время плато означает усиление уравновешивающих обратных отрицательных связей, своего рода торможение мегатенденции «лифт».

Раньше или позже, но накопление внутренних (например, экологических или демографических) и внешних (например, геополитических) напряжений образует новый ряд вызовов (А. Тойнби), которые выталкивают общество из типа-аттрактора в зону бифуркации и кризисов, где общество вновь становится открытым влияниям прежнего типа-аттрактора и разнообразных новых типов-аттракторов.

Известно, что кризис может вести не только к упадку и распаду, но нередко к новым способам развития, новому росту и дальнейшей системной трансформации. Эти процессы концептуализируются как переходы общества к принципиально новому типу-аттрактору. Если этот аттрактор обеспечивает очевидно более эффективные в широком спектре условий, гармонично увязанные между собой и необра-

⁴⁴ Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. – Новосибирск, 1992. – Гл. 4.

⁴⁵ Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1: Прологомены. – М., Логос, 2002. – Гл. 3.

тимые режимы, то он должен быть помещен в более высокую социальную фазу.

Итак, предложенная концептуальная конструкция, опирающаяся на вполне однолинейную схему смены доминирования новых режимов и режимных комплексов, не исключает, а, напротив, предполагает большое разнообразие типов обществ в рамках каждой эпохи, каждого периода и каждой фазы развития. Именно паритетные между собой типы-аттракторы, принадлежащие одной фазе, своего рода каналы смещения обществ между ними, позволяют составлять весьма сложные картины и индивидуальные траектории исторического движения обществ. В то же время это вовсе не противоречит тому, что при столкновении обществ как режимных комплексов побеждают сильнейшие, и не исключает прорыва обществ в области необратимых изменений – в новые фазы развития.

Единство периодизации и изолированные пространства

Какой смысл имеет периодизация, построенная на основании событий Евразии, для доколумбовой Америки? для Австралии? для Океании? Поскольку в каждой связанной группе мировых регионов была своя история, то не будет ли естественным для каждой такой группы строить свою периодизацию?

Действительно, если общества не взаимодействуют либо эти взаимодействия слабы и опосредованы другими звеньями (как, например, между Западной Европой и Китаем до XVII–XVIII вв.), то о доминировании говорить некорректно. Здесь следует говорить об особой форме лидерства – заочном лидерстве.

По каким же критериям можно давать обществам сравнительную оценку в целях выявления мирового лидера?

Для доиндустриальных обществ наиболее детально разработанным и обоснованным инструментом является система шкального анализа сложности обществ, разработанная в конце 1960-х гг. американским антропологом Робертом Карнейро⁴⁶. Вначале Карнейро выделил

⁴⁶ Carneiro, 1970a: *Carneiro Robert. Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures // A Handbook in Cultural Anthropology / Ed. by Naroll, Raoul and Ronald Cohen. – N.Y.: Natural History Press, Garden City, 1970. – P. 834–871.*

354 черты, затем расширил их список до 618. Учитывались следующие 14 категорий: 1) жизнеобеспечение, 2) поселения, 3) архитектура, 4) экономика, 5) социальная организация и стратификация, 6) политическая организация, 7) законы и юридические процессы, 8) военное дело, 9) религия, 10) керамика и искусство, 11) орудия, утварь и ткани, 12) обработка металла, 13) водные технологии и навигация, 14) специальные знания и практики. На этом основании было проанализировано и проранжировано 100 обществ, причем обнаружены весьма сильные корреляции (порядка 0,8) между сложностью обществ по разным аспектам и исключительно высокая корреляция (0,95–0,96) между сложностью обществ в рамках одного аспекта (категории).

Карнейровские черты являются операциональными признаками, своего рода окаменелостями, доступными для археологического, архивного анализа, по отношению к живым режимам. Количество черт вполне может служить критерием эффективности режимов. Для каждого из трех критериев доминирования выделим из 14 категорий Карнейро следующие важнейшие, с указанием количества учитываемых черт в расширенной версии списка (618).

Оценка геополитического лидерства: военное дело (57 черт), политическая организация (100), обработка металла (25), водные технологии и навигация (17).

Оценка геокультурного лидерства: религия (54), архитектура (35), специальные знания и практики (35).

Оценка геоэкономического лидерства: жизнеобеспечение (32), поселения (38), экономика (111), вновь водные технологии и навигация (17 черт).

Есть множество логических подходов к получению общей оценки лидерства на основании данных анализа обществ-претендентов с точки зрения черт указанных выше групп. Укажем лишь на некоторые.

Во-первых, можно просто сделать общий рейтинг обществ-претендентов на основании подсчета числа имеющихся у них черт из всех указанных категорий. Для этого подхода предпосылкой является равенство значимости всех категорий и всех их черт с точки зрения выявления заочного лидерства.

Во-вторых, можно установить постоянную приоритетность: к примеру, наиболее значимыми считать черты из категорий, отнесенных к геополитике, учитывать первенство в рейтинге именно по этому параметру, но засчитывать это первенство как лидерство только при условии попадания такого общества в первые пятерки в рейтингах гео-

экономики и геокультуры. Здесь одной предпосылкой является главенство геополитики при столкновениях обществ: более мощное в военно-политическом отношении общество подчиняет себе или существенно теснит менее мощные, а затем активно заимствует их экономические и культурные достижения. Другой предпосылкой является ограничение на возможность последнего заимствования. Если геополитический лидер не входит в первую пятерку (десятку или двадцатку – это уже вопрос эмпирических уточнений) по рейтингам геоэкономики и геокультуры, то его способность заимствовать соответствующие достижения (или черты, по Карнейро) недостаточна для поддержания лидерства; соответственно, накопление экономических ресурсов и культурная легитимность будут на стороне противников, что в скором времени приведет и к геополитическому упадку такого завоевателя (случаи гуннов, империй Чингисхана и Тимура, Османской империи).

В-третьих, можно учитывать смещение в приоритетности категорий в масштабе человеческой истории. К примеру, главными, определяющими в начале человеческой истории можно считать рейтинги уровня развития жизнеобеспечения, затем поселений, затем геополитических категорий (военное дело и обработка металла), затем геополитических совместно с геокультурными категориями (религия, архитектура, специальные знания и практики), затем геополитических совместно с геоэкономическими (экономика и навигация). В настоящее время главными категориями, вероятно, являются геоэкономические, причем есть признаки усиления значения геокультурных критериев лидерства. (Подход Карнейро страдает отсутствием учета черт обществ со времени индустриальной революции. Дополнение его списка чертами индустриальных обществ и обществ последующих типов – весьма актуальная, достаточно сложная, но вполне выполнимая задача.)

Сравнение между собой обществ, выделение региональных и мировых лидеров в каждом столетии или двадцатилетии на основании точного подсчета черт Карнейро – задача будущих исследований. Главные недостатки использования шкального анализа по Карнейро – крайне высокая трудоемкость и дефицит данных для многих обществ по многим чертам.

Следует отметить, что в заочном сравнении есть весьма глубокий и даже практический смысл: рано или поздно произойдет реальное столкновение обществ из изолированных ранее мировых регионов, причем исход столкновения будет прямо зависеть от достигнутой каждым обществом фазы развития. Поэтому самый отдаленный населен-

ный остров Тихого океана жил как бы в двух временах: в своем собственном ритме, с собственной мини-периодизацией и в универсальном всемирно-историческом времени – в перспективе встречи с обществами – носителями иных ритмов и иных фаз развития.

Получается, что вместе с разделениями и последующими столкновениями обществ расходятся и сходятся линии периодизации. Вместо одной цепи получаем сложнейшую сеть. Не нарушается ли здесь опять принцип единства и пространственной однородности периодизации? Ответом служит понятие стержневой периодизации, основанной на отслеживании этапов прорыва обществ-лидеров в новые фазы социального развития.

Континуальность режимных изменений и громкие исторические события

Следующая трудность формулируется в таком вопросе: как превратить континуальные изменения доминирования режимов в четкие границы периодизации?

Действительно, ослабление одного комплекса режимов и замена его другим комплексом могут происходить в течение столетий, а на заре человеческой истории – в течение тысячелетий. Периодизация же требует более или менее четких границ между периодами, иначе она теряет смысл. Неоднократно предлагавшиеся варианты замены периодизаций – либо количественными процессами (Г. Спенсер, Л. Уайт, Й. Гудсблом), либо добавлением черт (Р. Карнейро) – так и не получили распространения. Историки по-прежнему пользуются периодами, эпохами и границами между ними, пусть некритично воспринятыми, необоснованными, но во многих отношениях удобными и полезными. Попробуем совместить долговременность и континуальность режимных сдвигов с реальными потребностями в четких временных делениях.

Верно, что режимы изменяются, распространяются, делаются более или менее эффективными и доминирующими на протяжении длительного времени более или менее непрерывно, континуально. Однако этот взгляд гораздо адекватнее при весьма больших пространственно-временных масштабах анализа. При рассмотрении режимных изменений в масштабе каждого мирового региона, каждого общества, тем более каждой провинции и каждого поселения

картина радикально меняется. В каждой из этих единиц в определенное время режим вовсе отсутствовал, затем появился, стал распространяться, затем вступил в противоборство с прежним доминирующим режимом, вытеснил его, оказался вытесненным сам, стал ингредиентом для синтеза нового режима или исчез. Иными словами, вместо сплошной непрерывности мы получаем, напротив, определенное количество точек перехода разной значимости, так что задача стоит в содержательно обоснованном выборе некоторых из этих точек в качестве границ периодов.

Для периодизации Всемирной истории адекватным масштабом являются мировые регионы (ниже предложен перечень 30 таких регионов). Будем считать, что для остальных мировых регионов ситуация существенно не меняется до тех пор, пока в одном регионе не станет доминирующим общество с принципиально новым режимом, принадлежащим новой фазе развития. Такова будет первая веха, внутренний состав которой подлежит анализу. При этом в других мировых регионах доминируют старые режимные комплексы и старые фазы развития, которые хотя и стали испытывать воздействие нового, но пока уверенно сохраняют свои позиции. Поэтому от указанной первой вехи начинается лишь первый – переходный период эпохи, который будем называть *формативным*.

Каковы могут быть основные исходы столкновения носителей режимов новой фазы развития с прежними мировыми лидерами среди обществ? Старый лидер может потерпеть поражение, как это было с Византией в XV в. или Испанией в XVII в., уступить место новым лидерам (соответственно, Османской империи; Англии, Франции и Голландии) с новыми, более эффективными режимными комплексами. Старые лидеры могут сами воспринять новые наиболее эффективные режимы и сохранить прежние позиции доминирования (модернизация во Франции, Пруссии – Германии и России в XVIII–XIX вв.). Наконец, старый лидер может уступить свои позиции новым доминантам, но не уходить со сцены полностью, сосредоточившись на выращивании новых образцов и режимов из частично воспринятых новшеств и собственных возрождаемых традиций (Англия после Второй мировой войны).

Так или иначе, основной период эпохи проходит под флагом нового лидерства – либо новых обществ-лидеров, либо старых лидеров, с успехом воспринявших наиболее эффективные в данной эпохе режимные комплексы.

Можно ли сказать, что старая эпоха после этого полностью исчезает? Как же быть тогда с вытесненными на периферию старорежимными обществами, не затронутыми отдаленными изолятами? Ведь здесь еще во многом действует логика старой эпохи, значит, говорить о ее исчезновении неверно. Тут мы приходим к непривычному для периодизаций решению – признанию одновременного сосуществования эпох, пусть и в разных их стадиях. В результате наша периодизация оказывается не линейной лестницей смены периодов, а многослойной сложной структурой, в которой одновременно сосуществуют разные эпохи в своих разных этапах.

Знаковые события – двери в новый этап исторической эпохи

Традиционная история вплоть до XX в. была сосредоточена на великих людях и великих событиях. Затем более глубокий теоретический подход к истории, которым мы, прежде всего, обязаны Марксу, Веберу, Тойнби, школе «Анналов», вывел громкие исторические события из историографической моды. По Броделю, изучать следует глубинные долговременные исторические процессы, а не «пыль» событий. По-видимому, пришло время реабилитировать громкие исторические события, но уже не в контексте построения «славной истории великих деяний благородных мужей», а как раз в контексте значения этих событий для протекания глубинных исторических процессов.

Во-первых, громкость события прямо соответствует шоку от удивления. Победа над слабейшим неудивительна. Шок вызывает поражение того общества, которое было одним из признанных лидеров, доминантов. Во-вторых, победа нового общества-лидера резко повышает возможности распространения его режимов и образцов, получающих высшую степень легитимизации и популярности. В то же время дискредитируются режимы и образцы, характерные для проигравшего старого общества-лидера. Иными словами, громкое событие, связанное со сменой лидерства либо с победой внутренней фракции общества-доминанта, отстаивающей стратегию модернизации, является своего рода переходом в новый исторический этап.

Факторы доминирования

В целях выделения наиболее показательных критериев было проведено сопоставление списка черт Карнейро с представлениями о фазах и развитии обществ и сущности переходов обществ из фазы в фазу в концепциях И.М. Дьяконова, К. Чейз-Данна и Т. Холла, С. Сандерсона⁴⁷, с привлечением представлений о причинах доминирования одних обществ над другими в работах Г. Снукса, М. Манна, В. Макнила⁴⁸.

На этом основании были выделены 10 факторов доминирования – 10 переменных (параметров), включающих один фактор универсального значения, три фактора, имеющих наибольшее значение для достижения геополитического доминирования, три – для геокультурного, три – для геоэкономического.

Фактор универсального значения

1. Уровень политической эволюции. Развитие структур и институтов, обеспечивающих остальные факторы доминирования (2–10).

Факторы геополитического доминирования

2. Организация и масштаб военной силы, уровень развития коммуникаций, таких как транспорт, связь, средства наблюдения.

3. Уровень развития самостоятельного производства вооружений.

4. Способность создавать и поддерживать альянсы (уровень развития дипломатии) и обеспечивать внешнюю и внутреннюю легитимацию (политический аспект религий и идеологий).

Факторы геокультурного доминирования

5. Уровень накопления и развития знаний, в том числе заимствования и творческой разработки разного рода знаний и практик (мировоззрение, философия, наука, когнитивный аспект технологий).

⁴⁷ Дьяконов И.М. Пути истории. – М., 1994; Чейз-Данн К., Холл Т. Одна, две, много миросистем // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001; Sanderson S. Social Transformations: A General Theory of Historical Development. – Blackwell Publ., 1995.

⁴⁸ Snooks, Graeme. The Dynamic Societies. Exploring the sources of global change. – Routledge, L., N. Y., 1996; Mann M. The Sources of Social Power. – V. 1–2. – Cambridge Univ. Press, 1987, 1993. McNeill W. The Rise of the West: A History of the Human Community. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1963; McNeill W. The Changing Shape of World History / History and Theory. – 1995. – № 34. Theme Issue. – P. 8–26.

6. Уровень развития способов удовлетворения духовных, эмоциональных, эстетических потребностей (религия, моральные учения и искусство).

7. Развитие способов аккультурации (воспитание, обучение, образование, социальная информация и пропаганда).

Факторы геоэкономического доминирования

8. Развитие способов воспроизводства (характер обеспечения новых циклов и новых этапов производства).

9. Развитие способов перераспределения и обмена (порядок обеспечения потребностей в условиях экономико-географического разнообразия).

10. Уровень развития техники и технологий (в мирной сфере).

Каждый из представленных 10 факторов структурирован как квазиинтервальная шкала (с примерно равными промежутками) с шестью ступенями. Таким образом, задается идеальный тип каждой из шести фаз развития обществ: 1-я фаза – это сочетание первых ступеней по всем 10 факторам, 2-я фаза – сочетание вторых ступеней по тем же 10 факторам и т. д. Ясно, что реальная история далека от чистых случаев и чистых переходов, но предпосылкой подхода является то, что устойчивое доминирование всегда требует «восполнения» недостающих ступеней.

Истолкуем критерии начала эпох и периодов в новых терминах. Будем учитывать особую значимость фактора универсального значения – уровня политической эволюции. Дело в том, что резкое повышение эффективности в этом аспекте позволяет обществу гораздо легче заимствовать и развивать новые недостающие режимы во всех главных аспектах доминирования: геополитике, геоэкономике и геокультуре. Само появление нового уровня политической организации чрезвычайно трудно зафиксировать во множестве альтернативных форм и долгой истории становления. Поэтому берем сочетание наличия нового политического уровня некоторым обществом с ярким событием – достижением этим обществом доминирующей позиции в своем мировом регионе. Так начинается формативный период новой эпохи.

Подъем общества на более высокую ступень по тем или иным факторам в каждом из аспектов доминирования (политика, геополитика, геокультура и геоэкономика) указывает на полную принадлежность данного общества соответствующей более высокой фазе развития. Проверка успешности овладения новыми ступенями по большинству

факторов доминирования осуществляется через столкновение такого общества с обществами – мировыми лидерами. Последующая волна подражаний будет показателем начала основного периода новой эпохи.

Мировые регионы и исторические системы

Теперь представим подход к формированию списка мировых регионов и возможности учета целостностей больших, чем общества и чем сами мировые регионы.

Главный критерий выделения мировых регионов таков: внутренняя активность взаимодействий в регионе должна быть в большом историческом времени выше, чем активность, связанная с выходом за пределы региона. Развивая идеи Маршалла Ходжсона, можно утверждать, что мировой регион представляет собой место сосуществования множества конкурирующих режимов, взаимодействие которых имеет определенную устойчивость и общие черты, и это отличает данный регион от других регионов, обычно отделенных от него географическими границами той или иной степени проницаемости.

Представленный критерий явно недостаточен: так же просто можно отделить Старый Свет от Нового и этим ограничиться. С другой стороны, есть возможность поделить все континенты на самые малые провинции, для которых принцип преимущественной внутренней активности также будет сохраняться.

Нужный нам средний путь получаем при добавлении такого критерия: на протяжении большей части долгого исторического времени (например, за последнее тысячелетие) в каждом мировом регионе существовало некоторое ограниченное сверху количество разных обществ с государственностью (как правило, от 1–2 до 10–12). Так, огромная Сибирь или целый континент Австралия не делятся на части, но составляют отдельные регионы: когда там появилась государственность, то большую часть времени территорию занимало одно государство. При этом Европа делится на части, Индия делится на части, Китай делится на части (см. ниже), но не вследствие евроцентризма или особого «уважения» к классическим цивилизациям, а в силу сложности и насыщенности политической истории этих регионов. Частный признак государственности использован здесь, поскольку число догосударственных образований (бродячих групп, чифдомов) могло быть

столь большим, что дифференцирование «пустых» и «насыщенных» регионов было бы крайне затруднительно.

Разумеется, наряду с этими формальными критериями следует учитывать сложившийся в исторической и географической литературе опыт деления на мировые регионы, чем, в частности, занимался М. Ходжсон⁴⁹. Ниже представлен вариант списка 30 мировых регионов.

Другой вопрос связан с возобновлением сомнений в достаточности «постранового» подхода, т. е. ограниченности внутренними режимами и обществами в формировании периодизации. Мы обещали субстанциональность последней, т. е. фундированность на существенных причинах режимных изменений, но вычеркнуть надсоциетальные паттерны и связи из состава этих существенных причин никак нельзя. Об этом говорит и цивилизационистская традиция (Тойнби), и миросистемный анализ (Валлерстайн, Франк, Чейз-Данн, Холл, Арриги), и исследования в области геополитики (Макнил, Коллинз, Скорчпол, Манн).

Примем в качестве исходной следующую гипотезу. Тогда как в формативном периоде складывается новая фаза – общества приобретают новые режимные комплексы, способствующие их последующему доминированию, в основном периоде в качестве незапланированных побочных последствий столкновений обществ (их конфликтов обменов и альянсов) образуются новые типы исторических систем – более широких надсоциетальных целостностей. Это могут быть, прежде всего, мир-империи, мир-экономики, их смешанные формы, геополитические ойкумены, культурные ойкумены и цивилизации. Для каждой новой эпохи, с ее специфическим разнообразием обществ различных типов и фаз, тип и состав исторических систем, наверное, имеет существенную специфику. Здесь не место ее обсуждать (наиболее разработанный подход см. в работе Чейз-Данна и Холла⁵⁰). Пока важно лишь указать на возможность таких соответствий. Кроме того, будем готовы к тому, что новые формативные периоды с новыми режимами, а затем

⁴⁹ Ходжсон М. Условия исторического сравнения между эпохами и регионами // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 91–101.

⁵⁰ Чейз-Данн К., Холл Т. Одна, две, много миросистем // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 424–448.

и новыми типами-аттракторами появляются в сложившейся макросоциальной среде исторических систем текущей эпохи⁵¹.

Развивая подходы Макнила и Ходжсона, руководствуясь критериями, представленными выше, выделим следующие мировые регионы.

В Евразии: 1) Северное Средиземноморье (с югом Испании, Италией и Грецией), 2) Западная Европа (с Ирландией и Великобританией), 3) Центральная Европа (от Восточных Альп и Эльбы до Днепра и Западной Двины), 4) Северная Европа (Скандинавия с Исландией), 5) Восточная Европа (от Днепра и Западной Двины до Урала, включая Северный Кавказ), 6) Ближний Восток (с Малой Азией, Южным Кавказом, Сирийской пустыней, Палестиной и Синаем), 7) Средний Восток (с Аравийским полуостровом, территорией современных Ирака, Ирана и Пакистана), 8) Средняя Азия (с территорией современных Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизстана и Таджикистана) 9) Центральная Азия (с территорией современных Афганистана, Тибета, Северной Индии, Непала и китайской Джунгарии), 10) Южная Индия – полуостров Декан с островом Цейлоном, 11) Северная Азия (с Сибирью, Камчаткой, Чукоткой), 12) Дальний Восток (с Приамурьем, Манчжурией, Кореей, Японией, Сахалином), 13) Северный Китай (с Монголией), 14) Центральный Китай (от современного Пекина и пустыни Алашань до Янцзы), 15) Южный Китай (с Тайванем и Хайнанем), 16) Индокитай (с Бирмой), 17) Индонезия (с Филиппинами и Новой Гвинеей).

В Африке: 18) Северная Африка (от Египта до Марокко), 19) Центральная Африка (от пустыни Сахары до современных Анголы, Замбии и Танзании), 20) Южная Африка (с современными ЮАР, Намибией, Ботсваной, Южной Родезией, Мозамбиком и Мадагаскаром).

В Америке: 21) Север Северной Америки (с Аляской, Гренландией и нынешней Канадой), 22) Запад (центральной части) Северной Америки, 23) Восток (центральной части) Северной Америки, 24) Мезоамерика (с современной Мексикой, Карибской зоной и северо-востоком Южной Америки), 25) Северо-Запад Южной Америки (с современными Колумбией, Эквадором и Перу), 26) Амазония (с современными Бразилией и Боливией), 27) Юг Южной Америки (с современными Аргентиной, Чили, Парагваем и Уругваем).

⁵¹ Валлерстайн И. Миросистемный анализ // *Время мира*. – Вып. 1. – Новосибирск, 2000. – С. 105–123; Розов Н.С. *Философия и теория истории*. Кн. 1: Прологомены. – М., Логос, 2002. – Гл. 3.

- Наконец, 28) Австралия (с Новой Зеландией, но без Новой Гвинеи),
 29) Океания (отдаленные острова Тихого океана),
 30) Антарктида.

Шесть фаз развития обществ

Главными источниками для построения данной идеальнотипической схемы фаз послужили стадии политической эволюции Стюарда, Классена, разработки Карнейро, общая структура истории Геллнера и концепция фаз И. М. Дьяконова⁵². Использовались также отдельные идеи концепций структурирования истории, представленных выше в обзоре: И. Валлерстайна, Й. Гудсблома, Дж. Бентли, В. Грина, П. Стернза и др.⁵³ Учитывались взгляды т. н. нелинейного (мультилинейного, альтернативного) подхода в современной отечественной антропологии⁵⁴.

Для каждой фазы указаны в скобках входящие в нее основные типы-аттракторы – типы обществ как режимных комплексов.

1-я фаза. «Первобытные общества» (бродячие группы, изолированные деревни оседлых охотников-собирателей).

Уровень политической эволюции. Социальные структуры строятся на основе половозрастных групп и родства; нет самостоятельной устойчивой властной иерархии.

Организация военной силы. «Культура набегов». Взрослые мужчины, они же охотники-воины, объединяются для спорадических мелких вылазок в целях грабежа, мести, захвата женщин, охоты за головами, престижа и т. п. Нет дорог, нет письменности, только пешие передвижения, но возможна навигация на плотах и лодках.

⁵² Дьяконов И.М. Пути истории. – М., 1994; Carneiro R. Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures // A Handbook in Cultural Anthropology / Ed. by Naroll, Raoul and Ronald Cohen. – N.Y.: Natural History Press, Garden City, 1970. – P. 834–871; Claessen H. J. M., P. Skalnik. (Eds.) The Early State. The Hague, Paris, N.Y., 1978; Gellner E. Plough, Sword, and Book. The Structure of Human History. – University of Chicago Press, 1988.

⁵³ Структуры истории. – Альманах «Время мира». Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.

⁵⁴ Альтернативные пути к ранней государственности / Под ред. Н. Н. Крадина, В. А. Лыньша. – Владивосток: Дальнаука, 1995. – С. 77–93; Бондаренко Д.М. Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в доколониальной тропической Африке. – М.: Институт Африки РАН, 1997.

Производство оружия. Активное использование огня в борьбе с хищниками и конкурентными сообществами. Преимущественно каменное, костяное, деревянное оружие.

Дипломатия и легитимация. Неустойчивые альянсы и поддержка престижа перед другими сообществами через брачные отношения и дар-отдар. Поскольку еще нет наследственной власти и элиты, внутренняя легитимация лидеров обеспечивается их способностями в основной деятельности (охота, добыча пищи, война) и психокоммуникативными качествами.

Способы накопления знаний. Понимание и природного, и социального порядка через этиологические мифы. Проблемы воспринимаются как нарушения порядка в отношениях с могущественными магическими силами; решения – пробы и ошибки в магических и практических действиях; счет отсутствует, либо не превосходит 10–20.

Духовное развитие. Типичными являются тотемизм и анимизм, культы местных духов – «хозяев», иногда предков. Исключительно культовое, как правило, примитивное искусство.

Способы аккультурации. Включение в половозрастные группы, соответствующие практики и обряды.

Способы экономического воспроизводства. Практически полная опора на чисто природное – естественное воспроизводство. Только орудия, одежда, примитивные жилища воспроизводятся искусственно.

Способы перераспределения и обмена. Запасы практически не делаются; управление доступом к ресурсам осуществляется за счет сезонных перемещений самих групп охотников-собирателей; редистрибуция ресурсов для потребления в соответствии с социальной структурой. Обмены типа «дар-отдар» и бартера.

Развитие технологий. Доминирование примитивных технологий добычи – способов и средств извлечения, переноса и неглубокой обработки практически готовых продуктов природы (собирачество, охота, рыболовство). Сущность экологических режимов таких обществ состоит во «встраивании» их жизнедеятельности в уже существующие природные, как правило, циклические режимы. Зачатки ремесел (постройка жилищ, изготовление каменных орудий, луков, простейшей одежды) не выводят общества за пределы этого «встраивания».

Примеры: аборигены Австралии, Полинезии, Океании, центральной Африки и Амазонии, в частности, тасманцы, пигмеи бамбути, амагуака, наскапи, вашо, ленгуа, семанг, мурнгин, валбири, яган,

бушмены, эскимосы⁵⁵ (среди кочевых обществ – африканские нуэры и древние ухуани⁵⁶).

2-я фаза. «Варварские общества» (племена разных типов: бигмены, патрилинейные, матрилинейные, билатеральные роды и кланы, простые вождества-чифдомы, сложные вождества; сложные общины, гражданские общины, храмовые культуры, номы, полисы и другие догосударственные общности без способности правителей к проведению централизованных решений и систематическому принуждению к труду и войне).

Уровень политической эволюции. Уже есть устойчивая властная элита и иерархия, автономная от половозрастных различий, но еще неотделимая от отношений родства. Нет бюрократии, аппарата принуждения, системы формальных должностных позиций, отдельных от военно-политической элиты.

Организация военной силы. Дружины профессиональных или полупрофессиональных воинов под руководством вождя и военной элиты. Военные должности еще не автономны от отношений родства. Практика многодневных походов, причем не только для грабежа, но и завоевания новых земель, подчинения местного населения. Преимущественно пешие передвижения. В военных целях возможно использование лошадей и верблюдов, простейших речных и каботажных судов. Спорадические экспедиции по рекам или морским берегам, как правило, в целях колонизации и/или грабежа.

Производство вооружений. Как правило, бронзовое, реже железное (но еще не стальное) оружие. Деревянные частоколы в качестве оборонительных стен, реже – мелкие каменные крепости.

Дипломатия и легитимация. Систематически заключаются достаточно прочные альянсы через отношения «дар-отдар» и заключение брака. Нет формальных договоров и посольских должностей. Жертвоприношения (те же отношения «дар-отдар» с духами и богами), посвятельные культы. Освящение вождей, военных походов жрецами. Нет формальных обрядов присяги на верность. Нет систематической деятельности по обращению завоеванных народов в свою веру.

⁵⁵ Carneiro R. Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures // A Handbook in Cultural Anthropology / Ed. by Naroll, Raoul and Ronald Cohen. – N.Y.: Natural History Press, Garden City, 1970. – P. 834–871.

⁵⁶ Крадин Н.Н. Кочевничество в современных теориях исторического процесса // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 369–396.

Способы накопления знаний и инновации. Выделение класса жречества-священства с монополией владения сельскохозяйственными, врачевными и магическими знаниями. Возможно функциональное использование заимствованной письменности (календари, генеалогии, примитивные хроники), но нет развитой письменности и делопроизводства; в основе моделей реальности – образ героя и дружины – фаворитов богов, победа над врагами и чудовищами; есть счет, письменная или иная фиксация чисел до 100, иногда 1 000–10 000, редко более.

Духовное развитие. Расцвет эпоса, религий многобожия и/или культа предков, где боги и прародители являются патронами славных героев и семейств. Специализированные храмы, как правило, отсутствуют.

Способы аккультурации. Военные игры и состязания, посвящение в воины. Зачатки систематического обучения жреческому и врачевному ремеслу, в частности, заучивание наизусть гимнов, молитв, заклинаний и пр.

Способы экономического воспроизводства. Годовые запасы продовольствия, натуральное данничество побежденных народов, систематический грабеж более слабых соседей.

Способы перераспределения и обмена. Перераспределение согласно социальным структурам, особенно на пирах, а также раздача трофеев, потлач, приданое, калым и т. п.; спорадически возникающие рынки, но без устойчивых правил, абстрактных единиц обмена и цен. Появление первых единиц обмена (протоденег), обычно имеющих потребительскую стоимость.

Технологическое развитие. Начало века аграрно-ремесленных технологий, т. е. преимущественного развития земледелия на основе использования биологической энергии людей и животных, а также ручного производства изделий с глубокой переработкой (керамика, металлургия, ткачество), но без применения машин. Есть использование меди, бронзы, иногда железа, но не стали. Появляются керамика и примитивное ткачество, деревянные, иногда примитивные каменные дома.

Примеры: первые номы и храмовые хозяйства в Шумере, мелкие греческие полисы без развитой административной системы (полисы Аркадии, Фокеи, Локриды и др.⁵⁷), готы, германцы, славяне до возник-

⁵⁷ Кортаев А.В. Горы и демократия: к постановке проблемы // Альтернативные пути к ранней государственности. – Владивосток: Дальнаука, 1995. – С. 77–93.

новения государств, североамериканские индейцы до прихода европейцев, среднесабейские племена-чифдомы – «шабы второго порядка»,⁵⁸ кочевые сообщества «Великой степи», в частности, туареги, калмыки, казахи⁵⁹. Из наиболее известных, исследованных антропологами – ирокезы, чероки, киваи, команчи, квакиутли⁶⁰. При распаде современных государств в Центральной Африке, Центральной Азии государства регрессируют, как правило, именно к клановой структуре вожеств.

3-я фаза. «Общества ранней государственности» (государства – мелкие деспотии, королевства, царства, княжества и т. п., а также такие развитые полисы, мегаобщины, ранние кочевые империи, как суперчифдомы и централизованные союзы племен, другого рода прото- и квазигосударства, способные соперничать с государствами, находясь с ними в примерно равных условиях; сюда же следует отнести наиболее слабо развитые постколониальные государства с сильным влиянием родственных и клановых отношений).

Уровень политической эволюции. Есть либо государство как централизованный институт с чиновническими должностями, не сводимыми к родству и военной элите, способный принуждать население к труду и войне (Карнейро), имеющий монополию на легитимное насилие на территории (Вебер), либо квази- и протогосударственные формы, способные к выполнению ключевых функций государства (прежде всего организации военной силы и поддержанию легитимности социального порядка), способные к паритетным отношениям с соседними государствами, причем не только за счет преимуществ своего географического положения (например, горной или степной, труднодоступной для соперников местности). Таким образом, в соответствующие типы-аттракторы попадают всяческие формы, признаваемые как альтернативные государственным. Как видим, признание этой альтернативности и многолинейности вовсе не отменяет возможности сравнения эффективности и не разрушает единой последовательности широких фаз развития.

Организация военной силы. Армия, создаваемая и управляемая государством, как правило, сводится к гарнизону города-государства или

⁵⁸ Коротаев А.В. Сабейские этюды: некоторые общие тенденции и факторы эволюции Сабейской цивилизации. – М.: Вост. лит., 1997.

⁵⁹ Крадин Н.Н. Кочевничество в современных теориях исторического процесса // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 369–396.

⁶⁰ Carneiro R. Scale Analysis...

столицы. Возможно существование самостоятельных кочевых или горских отрядов, подчиняющихся единому руководству на периоды военных кампаний. Есть функциональные военные должности. Нет систематической организации и управления множественными соединениями, размещенными на большой территории. Строительство и поддержание дорог, мостов, переправ на основных транспортных артериях (но без систематической поддержки и широкой сети дорог). Систематическое речное и каботажное плавание. Единичные дальние морские экспедиции.

Производство вооружений. Бронзовое и замещающее его железное оружие, реже стальное, но, как правило, без доспехов. Каменные стены и башни.

Дипломатия и легитимация. Практика отправки послов. Письменные договоры о мире, альянсах и т. п., уже без обязательной привязки к родству и браку (фиктивное родство может играть роль дипломатических формул). Ритуалы заверения в покорности, лояльности, присяги на верность правителю, как правило, при широкой толерантности к местным культурам.

Способы накопления знаний и инновации. Появление письменности (в том числе автохтонной либо с приспособлением для местного языка). Династические списки, хроники и летописи, разнообразные книги мудрости, возможно появление философии и протонауки.

Духовное развитие. Появление церкви как иерархизированной организации жречества (клира). Преобладание религий с центральным, главенствующим богом – покровителем местного правителя и его династии; развитые, нередко зафиксированные в письменности иерархии богов, генеалогии богов и героев. Распространение храмов и храмового искусства. Как правило, еще нет религиозной нетерпимости и прозелитских религий.

Способы аккультурации. В рамках или наряду с жреческими появляются единичные школы писцов, врачей, юристов, иногда философов и ученых.

Способы экономического воспроизводства. Появление городов как центров ремесленничества и торговли. Начало товарного производства. Появление ростовщичества. Есть сбор государственной казны, средства которой тратятся, как правило, в рамках одного города на военное снаряжение, возведение укреплений и общественных зданий.

Способы перераспределения и обмена. Налажен систематический подвоз продуктов в военно-политический центр – город, как

правило, через установление в нем постоянного рынка; властная унификация единиц обмена (протоденег, первых монет без устойчивой ценности, широкого распространения и обмена), упорядочение данничества, но только на небольших территориях (не более 1–2 дней пути до окраин). Характерно «полнодье», т. е. обычай перемещения правителя со всем двором по подчиненным провинциям для потребления накопленных ресурсов «на месте». Есть правила для иноземных купцов, есть заставы, собирающие с них пошлины, но нет общего порядка таможенных сборов.

Технологическое развитие. Широкое применение бронзовых, позже железных орудий труда, каменные постройки, городское ремесленничество, местная ирригация, первые двухэтажные дома.

Примеры: Шумер, Аккад, Египет эпохи Древнего царства, крупные греческие полисы (Афины, Милет) и средневековые торговые города-республики (Флоренция), государства викингов, франкские государства Меровингов, города и княжества Древней Руси до Орды, Хараппа в Индии, Инь в Китае, Андская, майянская, ацтекская цивилизации в доколумбовой Америке (хотя скорее всего они были захвачены в период перехода к следующей фазе), древнесабейское государство и среднесабейские царства – «шабы первого порядка», большие племенные сообщества Северо-Восточного Йемена⁶¹, кочевые империи на начальных этапах, в частности тюрков, монголов⁶², доколониальные государства Конго и Буганда в Африке⁶³. Общества данной фазы, исследованные антропологами: гавайцы, таитяне, дагомеи, бемба, догон, тонга, бавенда, батак, суку, ма-но, фиджийцы, маркизанцы, танала, руала, туареги, мангареваны, акома, ашанти и др.⁶⁴

Некоторые государства Центральной Африки (типа Конго), Центральной Азии (типа Афганистана) принадлежат этой фазе по сию пору, иногда даже с распадом на «варварские» чифдомы с клановой структурой.

4-я фаза. «Общества зрелой государственности» (классические территориальные империи, устойчивые иерархии княжеств

⁶¹ Коротаяев А.В. Сабейские этюды...

⁶² Крадин Н.Н. Кочевничество в современных теориях исторического процесса...

⁶³ Бондаренко Д.М. Теория цивилизаций ...

⁶⁴ Carneiro R. Scale Analysis...

и королевств феодального типа, протокапиталистические города-государства, стабильные торговые и колониальные империи, среднезажиточные постколониальные общества – все без сквозной государственности).

Здесь мы объединяем фазы «зрелой древности» и «средневековья» по Дьяконову, поскольку предлагаемая им граница, а именно появление государственных прозелитских религий, монополизация господствующим классом права на владение оружием, переход от свободы большинства населения древних обществ к закреплению его в Средневековье⁶⁵, может считаться характерной лишь для Западной Европы, но крайне размыта или вовсе отсутствует в большинстве обществ Азии и Африки⁶⁶.

Уровень политической эволюции. Есть упорядоченность управления большими территориями (имперская или феодальная система), центральная бюрократия имеет четкое функциональное деление с соответствующими главами (по сути, министрами); устанавливается и поддерживается единообразие в организации местных бюрократий. Есть кодекс общих законов, но главную роль продолжают играть местные законы провинций и городов. При всем том, за исключением военных, даннических, таможенных, реже судебных и церковных дел, каждая провинция живет своей жизнью, без вмешательства центра и местной имперской бюрократии. Религиозно-этнические общины, торговые и ремесленные гильдии являются наиболее распространенными структурами на местном уровне.

Характерной для этой фазы является пульсация между имперской интеграцией, где общество пронизано чиновничьей иерархией, и распадом на крупные единицы (графства – княжества – королевства) с иерархией вассалитета и/или мелкие (магнатства) единицы, в которых практически вся полнота власти на локальной аграрной территории принадлежит ее правителю (царю-басилевсу, рабовладельцу, князю, хану, феодалу, боярину, барону, мандарину, баю, беллербею и т. д.). Есть зачатки учета интересов наиболее влиятельных социальных групп (разного рода совещательные советы – протопарламенты, складывающийся порядок рассмотрения жалоб и т. д.).

⁶⁵ Дьяконов И.М. Пути истории. – М., 1994. – С.54, 70.

⁶⁶ McNeill W. The Rise of the West: A History of the Human Community. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1963; Sanderson S. Social Transformations: A General Theory of Historical Development. – Blackwell Publ., 1995.

Организация военной силы. Развитая и широкая организация военной силы (по имперскому или феодальному принципу, возможно систематическое привлечение наемников). Наряду с мелкими систематически организуются и ведутся широкомасштабные завоевательные кампании; соответственно этому организуется защита городов, в которых размещаются гарнизоны. Есть функциональные подразделения и система рангов в армии, есть управление армиями на больших территориях, но нет еще четко налаженных взаимодействий между родами войск, нет формальных военных уставов, единой иерархии офицерских рангов, институализированного военного образования. Систематическая деятельность по постройке и поддержанию сети дорог на большой (обычно имперской) территории. Систематические дальние морские, на поздних стадиях – океанские экспедиции.

Производство вооружений. Широкое распространение стального оружия и доспехов. Мощные крепости и оборонительные стены. Производство сложных стенобитных машин. На поздних стадиях – огнестрельное оружие (пушки, пищали, мушкеты и т. д.), но без массового централизованного производства.

Дипломатия и легитимация. Могущественные соседи и союзники обмениваются постоянными посольствами, но в их ведение входят вопросы только военно-политического взаимодействия и международной торговли. Появление прозелитских религий (некоторые из них станут мировыми), насильственное обращение в веру или миссионерство. Использование таких религий для создания коалиций, для сплочения разных этносов в широкомасштабных войнах. Возможны как религиозные войны, так и высокая религиозная терпимость в рамках империй, но еще не на основе гражданского равенства.

Способы накопления знаний. Развитые бюрократические формы подготовки и принятия решений с разделением функциональных областей; сосредоточенность на военно-политических, военно-организационных, дипломатических, религиозных, налоговых вопросах. В решениях может использоваться письменно фиксированный исторический опыт, разнообразные книги мудрости, но без систематического привлечения специалистов, обученных на основе формальных дисциплин. Возможно появление единичных очагов развития светских, автономных от религии естественных наук. В основании моделей реальности лежат представления о священных правах правителей на территориях, представления о разного рода началах или элементах мироздания. Широко поставленная деятельность по переписке и переводу книг.

Духовное развитие. Появление прозелитских религий и нравственных учений, претендующих на универсальность. Крупные церковные и/или монашеские организации, большое число храмов и высокий уровень развития храмового искусства.

Способы аккультурации. Развитая письменная традиция, есть большие собрания рукописных, позже печатных книг, но нет еще газет и журналов. Есть многочисленные развитые школы писцов, врачей, судей, священников, иногда философов и ученых, но нет систематической государственной регуляции образования.

Способы экономического воспроизводства. Есть сети городов с развитыми рынками и едиными системами обмена. Систематическое печатание монет, установление обменных курсов. Широко распространены ростовщичество и обменные лавки. Появление торгового капитала. Есть централизованная казна с тратами, выходящими за пределы столицы, с обеспечением не только военных, чиновничьих и культовых расходов, но также широкого государственного строительства, поддержания школ, больниц и монастырей.

Способы перераспределения и обмена. Есть способы систематического перераспределения благ (сбор дани и налогов) на больших территориях (2–3 и более дней пути от центра до окраин). Есть властно упорядоченное, часто централизованное, но не рыночное распределение земель (феоды, раздача в срочное – служебное, поместное – пожизненное пользование, вотчинное – наследственное владение и т.д.). Налажена систематическая дань, причем большей частью в форме налогов, как правило, с общин, но на основе учета ресурсов, нередко ведутся переписи населения, хозяйств, земель на больших территориях. В то же время единицами налогообложения чаще являются традиционные местные сообщества, нежели индивиды. Устанавливаются единообразные правила торговли и сборов в масштабе общества (в том числе империи). Спорадическое появление единичных специализированных рынков, а также торговых бирж, крупных ростовщических контор (протобанков), государственных структур распределения ресурсов. Есть общий порядок таможенного контроля и сборов.

Технологическое развитие. Железный и стальной век – зрелые аграрно-ремесленные технологии. Городские водопроводы, широкая сеть ирригации и каналов, сложные механические устройства (типа часов, мельниц), очки, телескопы, бумага, компас, порох, жилые дома с большой этажностью (до 5–6 этажей). Еще нет настоящих машин

(с использованием переходов между формами энергии) и машинного производства.

Примеры: Древний Египет (эпохи Нового царства), Ассирийская империя, Ахеменидская империя персов, Рим-Византия и Священная Римская империя, Сельджукская и Османская империи, империи Маурьев, Кушан, Гуптов в Индии, китайские империи начиная с Хань вплоть до XX в., империя Карла Великого, империя Габсбургов, феодальные и абсолютистские общества средневековой Европы (например, королевство Леон в Испании), империи ацтеков и инков в доколумбовой Америке (но только в некоторых аспектах), колониальные империи Португалии и Испании, «Великая Татария» – Золотая Орда, другие развитые кочевые и полукочевые империи с делопроизводством и относительно регулярным сбором податей и почтовым сообщением, Московия до Петра, Российская империя во многих аспектах до середины XIX в. и даже до начала XX в. (особенно на периферии).

В настоящее время этой фазе принадлежат, по-видимому, лишь некоторые страны Центральной Африки, Южной Америки и Центральной Азии с большой этнополитической спецификой провинций и отсутствием сквозной государственной системы (отличия от фазы ранней государственности и фазы сквозной государственности каждый раз должны быть исследованы и обоснованы).

5-я фаза. «Общества сквозной государственности» (абсолютизм с общенациональной идеологией и солидарностью, ранний и классический капитализм, социализм советского образца, фашизм, различные типы развитых постколониальных обществ).

Уровень политической эволюции. Начальная стадия, как правило, носит черты абсолютистской монархии – резкого усиления прежней имперской бюрократии за счет подавления автономии местной знати, провинций и рыцарской феодальной вольницы. Гранью, отделяющей общества новой фазы от абсолютизма зрелой государственности, по-видимому, следует считать появление в тех или иных формах национального гражданства и общенациональной идеологии, не сводимой к религии и эффективно обеспечивающей солидарность.

Основа данной фазы – национальные государства со сквозной системой нормативной регуляции, сбора ресурсов и управления. Есть единая система национального гражданства, есть единая сквозная система власти (включая армию, полицию, суды, местную администрацию), финансов, массовой коммуникации, образования на всей или большей части территории, занимаемой обществом; есть единая сквоз-

ная система законов, с установленным порядком согласования местных законов с центральными; есть большие производственные организации с глубоким разделением труда и интеграцией этих организаций между собой. Решения принимаются в рамках унифицированной бюрократической системы, часто с помощью привлечения специалистов с формальным, дисциплинарным образованием. Есть развитые формы учета интересов разных социальных групп (например, в порядке обязательного и систематического рассмотрения петиций, жалоб, через представительную демократию).

Организация военной силы. Армия с родами войск, унифицированной иерархией рангов, формальными военными уставами, профессионально обученным офицерством, систематическим использованием военных и военно-технических наук. При этом нет еще развитой системы защиты прав военнослужащих, систематического проведения и использования результатов социальных исследований в армии.

Производство вооружений. Государственная организация или государственный надзор за массовым производством огнестрельного и других видов оружия. На поздних стадиях – производство автоматического оружия, военных машин, бронированных поездов, судов, военных самолетов и ракет, ядерного оружия. Пароходы, железные дороги, автотранспорт, авиация, телеграф, телефон, начало использования электронных сетей. Еще нет больших систем, эффективно соединяющих с помощью электронных средств разные типы вооружения (наземные, морские, воздушные, космические), нет систематической разработки и широкого производства высокоточного оружия.

Дипломатия и легитимация. Обмен постоянными посольствами со всеми обществами, с которыми ведутся взаимодействия, широкий спектр вопросов (за пределами военно-политических) в ведении посольств, систематическая демаркация и защита границ; курсы валют; признание авторитета международных институтов (систем безопасности), ведающих вопросами войны и мира. В качестве оснований для военных и политических кампаний берутся скорее легальные, а не сакральные мотивы. Национальные идеологии как основа гражданской солидарности (что не исключает появления классовых, сословных, профессиональных идеологий).

Способы накопления знаний и инновации. Основу моделей реальности составляют знания отдельных наук. Широкое развитие естественных наук, математики, в том числе теоретического уровня. Начальные стадии развития социальных наук (есть эмпирические исследова-

ния и концепции, но почти нет эффективных объяснительно-предсказательных теорий).

Духовное развитие. Широкое развитие, нередко преобладание секулярной культуры. Появление и широкое распространение идеологий, разного рода философских, моралистических, эстетических и прочих учений, художественных стилей, не зависимых от религии. Развитие религиозной терпимости и свободы совести на основе гражданских прав. При этом нет еще систематической институализированной защиты малых культур, разнообразия ценностей и стилей жизни.

Способы аккультурации. Обязательное начальное, часто среднее образование; государственная организация или надзор за системами образования, в том числе высшего образования и организацией научных исследований; распространение газет, журналов и других средств массовой информации. При этом высшее и непрерывное образование далеко не массовое (не более 10–15% населения).

Способы экономического воспроизводства. Систематические инвестиции в производство, новые технические разработки и научные исследования поддерживаются государством и/или частным капиталом (преимущественно в области военных и наиболее прибыльных технологий).

Способы перераспределения и обмена. Систематическое налогообложение индивидов и хозяйственных единиц; широкое распространение специализированных рынков, бирж и/или государственных систем распределения ресурсов.

Технологическое развитие. Ранние стадии – активное использование накопленных технических достижений в широких кампаниях (часто организуемых или поддерживаемых государством) за утверждение военного господства над территориями и колонизацию новых земель: массовое производство огнестрельного оружия, постройка и оборудование океанских кораблей с измерительными приборами и т. п.

Основу фазы в данном аспекте составляют индустриальные технологии, т. е. преимущественное развитие массового машинного производства, использующего небиологическую энергию. Сущность экологических режимов таких обществ состоит в «индустриализации» процессов материального взаимодействия людей с природной и социальной средой, т. е. в повсеместном распространении единообразной машинерии (заводы и фабрики вместо ремесел, трактора и комбайны вместо быков и лошадей, пароходы, паровозы и автомобили на путях

сообщения, пушки и танки на полях сражений). Паровые машины, пароходы и паровозы, применение электричества, телеграф, двигатели внутреннего сгорания, химическая промышленность, интенсивная мелиорация почв, поточные производства; на поздних стадиях – систематическое использование науки, автоматика, применение ядерной энергии.

Примеры: Нидерланды с конца XVI в., Англия с конца XVII в., Франция, Пруссия в разных аспектах с начала XVIII – начала XIX вв., большинство стран Западной Европы – с начала-середины XIX в.; Россия в разных аспектах с начала XVIII – начала XX вв., Турция, Япония – с конца XIX в.; Китай, Индия, Бразилия и большинство остальных стран мира – с середины XX в. США, Австралия, Канада, Новая Зеландия с XVIII в. принадлежали данной фазе благодаря экспорту соответствующих социальных функций и способов из своей метрополии и тогдашнего лидера Великобритании.

Абсолютное большинство современных обществ принадлежит именно данной фазе. Практически вся послеперестроечная Россия также относится к этой фазе, но Москва в некоторых аспектах уже прорывается в следующую.

6-я фаза. Сензитивные общества («развитой» капитализм с либеральной и корпоративно-государственной версиями, рыночный социализм (?)).

Уровень политической эволюции. Сложное сочетание провинциальных, государственных и надгосударственных форм политического управления, сводящих к минимуму прямое подавление или изоляцию, обеспечивающее динамичное развитие на всех уровнях. Систематическое использование социальных наук для выявления и решения проблем разного масштаба. Обеспечение социальной и эмоциональной защищенности, высокой корпоративной солидарности, творческой активности в государственных и частных организациях.

Организация военной силы. Основа – небольшие бригады высококвалифицированных специалистов, обслуживающих сложные системы эффективного оружия. Организация армии и боевые стратегии определяются резким повышением нетерпимости общества к большим потерям живой силы. Развитая правовая защита военнослужащих, систематическое проведение и использование результатов социальных исследований в армии.

Производство вооружений. Комплексные системы, объединяющие разные рода войск и вооружения на основе спутниковых, элек-

тронных систем связи. Систематическая разработка и широкое распространение высокоточного оружия.

Дипломатия и легитимация. Разнообразие направлений активности при единстве стратегии, основанной на научном анализе, позволяет обществу достигать устойчивого успеха в международной обстановке – противоречивой среде центров силы и влияния, а также принципов, приоритетов, законов, договоров, интересов, стратегий, субъектами которых являются глобальные и региональные международные организации, политические союзы, национальные государства, провинции и этносы. Резкий рост информационно-культурной и геоэкономической экспансии, при отведении геополитической и военной экспансии роли вспомогательных стратегий. Сочетание поддержки базовых ценностей, принципов и основных структур власти с разнообразием политических и общественных течений, конфессий, с убежденностью граждан в своей свободе и защищенности.

Способы накопления знаний и инноваций. Есть эффективные специализированные системы, использующие результаты специального научного анализа, по выявлению и урегулированию внутренних социальных противоречий, диагностированию внешних вызовов и выработке комплексных ответных стратегий.

Духовное развитие. Сочетание широкой толерантности, систематической защиты малых культур, разнообразия ценностей и стилей жизни при ригористической защите определенного круга «минимальных» ценностей, связанных с жизнью, здоровьем, продолжением рода, воспитанием, ненасилием, экологией, правами и свободами людей. На ранних стадиях (конец XX в.) это касается защиты прав граждан в каждой отдельной стране, но уже есть признаки переноса этой защиты за пределы национальных границ.

Способы аккультурации. Сочетание широкого разнообразия ценностных систем (религиозного, идеологического, экологического, гендерного характера и пр.) с жестким утверждением минимального состава общих установлений и ценностей (обычно связанных с законностью, защитой прав, терпимостью и т. п.); массовое высшее и непрерывное (в течение всей жизни) образование.

Способы экономического воспроизводства. Широкие государственные и частные инвестиции в новые технологии и научные разработки в большинстве производственных сфер; упорядочение производств и обменов по принципу предоставления широкого разнообразия комплексных услуг во все большем числе сфер жизни.

Способы перераспределения и обмена. Развита эффективные системы стимулирования налогоплательщиков добровольно декларировать свои доходы и отчислять налоги; наличные деньги замещаются электронными.

Технологическое развитие. Информационный век – сервисные технологии. Компьютеризированные производства, информационные технологии и сети как основа соединения научных и инженерных разработок, производств и служб, направленных на предоставление широкого разнообразия сложных услуг. Поезда на магнитных и воздушных подушках. Быстрое движение к тотальной охваченности общества электронными сетями (Интернет в каждой семье и т. п.). Мобильная телефонная связь в национальном и глобальном масштабе. Политические и торговые переговоры через видеосвязь. Широкие продажи через Интернет, включенность в глобальную сеть и стандарты международного туризма, автомобили с компьютерными картами для навигации в специально оборудованных дорожных сетях, с системами ремонтных служб, соединенных электронными коммуникациями с владельцами и производителями автомобилей и т. д.

Примеры: В некоторых аспектах – США 1960-х гг., Канада, Германия, Великобритания, Франция с 1970-х гг., Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия с 1980-х гг. В отдельных аспектах данной фазы уже достигают Южная Корея, Сингапур, Тайвань, развитые районы Китая, в России около 2000 г. только Москва.

Сензитивные общества отчасти соответствуют представлениям о «постиндустриальных», «информационных», «посткапиталистических» обществах, «третьей волне» и т. д.⁶⁷ Отличие состоит, во-первых, в расширении социетальных критериев по сравнению с традиционными для указанных концепций экотехнологическими (несмотря на тесную связь сензитивных обществ с сервисными технологиями), во-вторых, в подчеркивании «сензитивности» – чувствительности общества по отношению к внутренним и внешним проблемам, достигаемой за счет эффективного научного анализа и выработки гибких комплексных стратегий решения проблем. В-третьих, избавим сензитивные общества от ауры безусловного морального одобрения, поскольку про-

⁶⁷ Дьяконов И. М. Пути истории. – М., 1994; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – Москва: Академия, 1999; Rostow W. The Process of Economic Growth. – Oxford, 1962; Toffler A., Toffler H. Creating a New Civilization. The Politics of the Third Wave. Turner Publ., Atlanta, 1995.

блемы решаются в интересах почти исключительно членов самого общества (с игнорированием, если не планированием неприятностей для других обществ). Так, панамская операция, иракская война, вытеснение ООН из балканского конфликта, расширение НАТО на Восток – это весьма эффективные ответы общества США на возникающие внешние вызовы и возможности, порожденные именно высокой чувствительностью (научной обеспеченностью) американских внешнеполитических ведомств. Однако даже сами американцы воздерживаются от однозначного морального одобрения указанных акций.

От фаз – к эпохам: трудности и решения

Выше представлены шесть идеально-типических фаз развития обществ. Теперь встает значительно более сложная задача: провести временные разбиения на формативные и основные периоды всемирно-исторических эпох с применением ранее разработанных критериев. Укажем только на главные трудности.

Во-первых, для большинства фаз и эпох вопрос о том, какие именно общества, в каком мировом регионе следует считать первопроходцами – зачинателями формативного и основного периодов всемирно-исторической эпохи, является крайне сложным в эмпирическом и методическом плане; кроме того, здесь более всего вмешивается вненаучная, политическая и идеологическая составляющая – от евроцентристских традиций, естественных национальных поползновений к возвышению истории собственной страны каждым автором до «политической корректности», запрещающей «обижать» какие-либо страны, народы или мировые регионы, до разного рода моральных соображений, согласно которым, например, связь ключевых переходных моментов Всемирной истории с войнами и военной организацией может трактоваться как «негуманистический» подход.

В разрешении данной трудности будем исходить из центральной роли в настоящей работе вопросов оснований и обоснованности, а вовсе не попытки дать «окончательную», «политически корректную» или «гуманистическую» периодизацию. Поэтому будут сформулированы вопросы-критерии относительно выбора мировых регионов и обществ-первопроходцев, кроме того, во многих случаях на суд читателей и, надеюсь, будущих исследователей представлены альтернативные версии тех обществ и мировых регионов, где происходили прорывы

к новым фазам развития. Отвечая по-другому на сформулированный вопрос, либо даже ставя сам вопрос иначе, будущие исследователи дадут иные ответы, что изменит многие элементы в периодизации. Ясно, что таких новых версий может появиться несколько и нужно будет отстаивать обоснованность каждой. Собственно говоря, для запуска этого, вероятно, бесконечного процесса и предлагается здесь вариант периодизации, может быть, весьма несовершенный, но все же претендующий на обоснованность.

При составлении периодизации все вненаучные соображения по мере возможности игнорировались. К примеру, если согласно критериям и эмпирическим фактам оказывалось, что с некоторого времени все важнейшие прорывы к новым фазам совершались на Ближнем Востоке или на Западе, то такие версии не отвергались, хотя многим они могут активно не нравиться как возврат к старым гегельянским версиям подъема Запада, или как грех евроцентризма, или как отступление от русского патриотизма, или как скандальное нарушение политической корректности.

Вторая трудность состоит в неопределенности (вернее, отсутствии) точного момента перехода, большой растянутости последнего, даже если мировой регион и общество-лидер уже определены. Как было сказано выше, предпочтение будет отдаваться наиболее ярким, имевшим большой международный резонанс событиям, утверждавшим победу нового общества-лидера в своем мировом регионе (для формативного периода) и столкновении с прежними мировыми лидерами (для основного периода). При отсутствии таких известных событий (что характерно для ранних эпох) будут представлены либо крайние временные границы самого перехода, либо события – наиболее вероятные претенденты на роль поворотных пунктов. Таким образом, в этих моментах периодизация остается незавершенной и прямо вызывает к уточнениям.

Итак, по всей Евразии шел процесс «терроризирования огнем»⁶⁸ – вытеснения и в конечном счете уничтожения конкурирующих гоминидов. Выжили только разновидности (расы), научившиеся не менее эффективно пользоваться огнем, военной и социальной организацией и соответствующим уровнем символического общения. Не сумевшие воспринять соответствующие образцы обрекались на гибель. Об этом можно судить с достоверностью, поскольку ни одного человеческого

⁶⁸ *Goudsblom J. Fire and Civilization. Penguin Books, 1994. – P. 23.*

общества, не владеющего огнем, развитым языком, сложной и изменчивой социальной организацией с дисциплиной, выходящей за пределы «здесь и сейчас», хранимыми орудиями, в мире не обнаружено.

Главный результат данного периода – появление около 40 000 лет назад неантропа – собственно вида *homo sapiens sapiens* с его монополией на указанные способности.

Вызванные движением ледников климатические изменения потребовали новых способов добычи пропитания, с чем связано появление 20 000–15 000 лет назад наряду с палеолитическими обществами также мезолитических (с разного рода ловушками для мелких животных, иглами, ручными дрелями, микролитами, топорами, копьеметалками, луком и стрелами, пращей, бумерангом, духовыми трубками, первыми зернотерками, мотыгами). Ясно, что эти технологические новации не могли не сопровождаться развитием социальной организации, символического общения и сознания, но принципиального скачка не зафиксировано. Мезолит не составил самостоятельную всемирно-историческую эпоху, поскольку не успел существенно вытеснить палеолитические сообщества, не дал явственно новых социальных и культурных режимов, помимо непринципиального совершенствования технологий и соответствующих техно-экологических режимов. С другой стороны, сами мезолитические общества вскоре стали жертвами вытеснения со стороны тех из них, которые вырвались на уровень неолита.

Палеолит, мезолит и начальная стадия неолита (до появления бигменов и чифдомов) трактуются здесь как археологические (или техно-экологические) стадии, доминирование которых вкладывается в эпоху первобытных обществ.

Ко времени господства мезолита (ок. 20 000–12 000 лет назад), видимо, следует отнести заселение Индонезии, Австралии, Северной, затем Южной Америки. С одной стороны, во всех обществах-реликтах есть прекрасное владение огнем, развитые языки, сложные системы культуры и социальной организации, с другой стороны, далеко не все общества владеют луками и стрелами (изобретение ок. 12000 г. до н. э.), в Америке были неизвестны злаки Евразии (пшеница, ячмень, рожь, рис) –обретения 12000–9000 гг. до н. э.

В целом эпоха первобытности, с одной стороны, является частью биологической эволюции, в рамках которой новый вид благодаря своим очень эффективным социальным, ментальным и экстрасоматическим приспособлениям вытеснил соперников, уничтожив наиболее

близкие к себе виды. С другой стороны, оставшись в некотором смысле наедине с самим собой, данный вид – человечество – во всех последующих трудностях стал делать ставку именно на эти свои способности (особую социальность, язык, сознание, культуру, технологию), что и составило содержание дальнейшей человеческой истории.

Начало периода упадка. 7000–5000 гг. до н. э. – начало вытеснения первобытных обществ и режимов «варварскими» обществами и режимами.

Конец эпохи и переход к остаточному периоду: середина XIX в. н. э., когда на планете фактически уже не осталось крупных регионов, куда не проникли бы европейцы – представители индустриальных режимов и сквозных государств. С другой стороны, в связи с появлением первых работ по антропологии начинается переход от истребления, порабощения, вытеснения к толерантности, поддержке, а позже – созданию особых благоприятных условий для остаточных первобытных сообществ.

Вопросы-критерии для хронологической фиксации эпох

Формативный период варварства. В каком мировом регионе какие сообщества, овладевшие одним или несколькими режимными элементами (факторами), характерными для варварства (см. выше характеристики 2-й фазы), впервые стали явно доминировать, т.е. вытеснять, уничтожать, подчинять, служить образцами для подражания, по отношению к сообществам, лишенным таких режимов, что в дальнейшем привело к восполнению недостающих факторов доминирования, экспансии этих новых сообществ-лидеров и распространению их режимов за пределы данного мирового региона?

Начало основного периода варварства. Какое событие (ряд событий) следует считать переломным моментом, убедительной победой новых («варварских», см. выше характеристики 2-й фазы) режимов над старыми, за чем последовали множественные цепи заимствований в наиболее развитых и населенных мировых регионах?

Начало упадка варварства – появление первых государств. В каком мировом регионе какие сообщества, овладевшие одним или несколькими режимными элементами (факторами), характерными для ранних и квазигосударств (см. выше характеристики 3-й фазы), впер-

вые стали явно доминировать, т. е. вытеснять, уничтожать, подчинять, служить образцами для подражания, над сообществами, лишенными таких режимов, что в дальнейшем привело к восполнению недостающих факторов доминирования, к экспансии этих новых сообществ-лидеров и распространению их режимов за пределы данного мирового региона?

Основной период эпохи ранней государственности. Какое событие (ряд событий) следует считать переломным моментом, убедительной победой новых (ранне- и квазигосударственных) режимов над старыми, за чем последовали либо множественные цепи заимствований, либо параллельные процессы эволюции в наиболее развитых и населенных мировых регионах?

Начало упадка ранней государственности – появление первых зрелых государств. В каком мировом регионе какие сообщества, овладевшие одним или несколькими режимными элементами (факторами), характерными для зрелой государственности (см. выше характеристики 4-й фазы), впервые стали явно доминировать, т. е. вытеснять, уничтожать, подчинять, служить образцами для подражания, над сообществами, лишенными таких режимов, что в дальнейшем привело к восполнению недостающих факторов доминирования, к экспансии этих новых сообществ-лидеров и распространению их режимов за пределы данного мирового региона?

Упадок зрелых государств и появление сквозной государственности. В каком мировом регионе какие сообщества, овладевшие одним или несколькими режимами, характерными для сквозной государственности (см. выше характеристики 5-й фазы), впервые стали явно доминировать, т. е. вытеснять, уничтожать, подчинять, служить образцами для подражания, над сообществами, лишенными таких режимов, что в дальнейшем привело к восполнению недостающих факторов доминирования, к экспансии этих новых сообществ-лидеров и распространению их режимов за пределы данного мирового региона?

Начало основного периода сквозной государственности. Какое событие (ряд событий) следует считать переломным моментом, убедительной победой новых (свойственных сквозной государственности, см. выше характеристики 5-й фазы) режимов над старыми, за чем последовали либо множественные цепи заимствований, либо параллельные процессы эволюции в наиболее развитых и населенных мировых регионах?

Начало эпохи сензитивных обществ. В каком мировом регионе какие сообщества, овладевшие одним или несколькими режимами, характерными для сензитивной 6-й фазы (см. выше), впервые стали явно доминировать, т. е. вытеснять, уничтожать, подчинять, служить образцами для подражания, над сообществами, лишёнными таких режимов, что в дальнейшем привело к восполнению недостающих факторов доминирования, к экспансии этих новых сообществ-лидеров и распространению их режимов за пределы данного мирового региона?

Смысл истории и общезначимые ценности

Оправданность и корректность исторических оценок

История и ценности – традиционная тема философии истории. Сегодня вряд ли кто-то будет утверждать возможность и необходимость полной «свободы от ценностей», дистиллированной «чистоты» и «нейтральности» истории. Ценностная нагруженность, присутствие ценностей всегда явно или неявно имеют место в историческом дискурсе. В то же время сами ценности появляются и развиваются в истории, более или менее известно, когда и как. Самые бурные споры относительно прошлого всегда связаны с ценностями, тогда как споры относительно ценностей нередко ведутся с апелляцией к истории.

Покажем значимость ценностных проблем в точки зрения сформулированных выше критериев.

Ценности и оценки – всегда актуальная тема публичного дискурса, особенно когда это вопросы вплетены в идейные и политические конфликты. Исторические оценки завоевывают внимание, если обсуждаемые исторические акторы (лидеры, политические группы, сословия, народы) хотя бы потенциально составляют основу для формирования идентичности современных социальных групп.

Экзистенциальные вопросы «кто я?» «кто мы?» всегда явно или неявно подразумевают вопросы «кто мои предшественники?», «чьи идеи и дела мы продолжаем?» Естественное стремление к созданию собственного «ретроспективного канона» и возвеличиванию плеяды

предшественников ведет к порождению исторических мифов. Такие мифы могут быть распространенными и устойчивыми, когда подкрепляют легитимность монополюльно доминирующей политической силы, либо могут служить оружием в идеологической борьбе двух и более конфликтующих сил.

Научная история всегда имеет расхождение с историческими мифами. Ее критическая функция объективно значима в обоих типах случаев: как возвращение к реальности и трезвому взгляду на прошлое при доминировании единого мифа, как арбитр и держатель критериев научной обоснованности в ситуациях идеологического противоборства с использованием разных тенденциозных образов прошлого. При этом компетенция исторической науки ограничивается указанием на факты и закономерности.

В отношении горячих и конфликтных тем оценок и ценностей истории иногда стараются выдерживать нейтральную позицию, иногда сами делают оценки, принимая ту или иную сторону в споре. Систематическое и глубокое рассмотрение ценностного аспекта отношения к прошлому доступно только философии: пересечению теории ценностей (аксиологии) и философии истории.

Выбор стратегий в решении актуальных проблем общественной практики (экономические кризисы, экология, социальные болезни, межэтнические конфликты и проч.) всегда предполагает оценку правомерности и результативности прошлых стратегий. Острая борьба за общественные ресурсы по решению этих проблем выражается, в частности, в борьбе оценок относительно прошлых попыток решения, причин их успехов или неудач. Продолжающиеся споры порождают потребность в разработке общих, приемлемых для сторон оснований, в данном случае – ценностных. Таким образом, проблематика ценностей и оценок в истории оказывается востребованной и в этой сфере – области насущных проблем общественной практики.

В современной философии истории почти не встречаются полярные взгляды: утверждение жесткой нейтральности – свободного от ценностей объективизма и призывы к моральному ригоризму – систематическому оцениванию лидеров, их деяний, событий, режимов и периодов прошлого. Обычно присутствие в исторических текстах ценностей и оценок признается нормальным и неизбежным. Доминирует либеральная позиция, допускающая множественность различных оценок в интерпретациях. Так, Крис Лоренц основывает

ся на том, что ценности часто не отделены от фактов, что всегда есть личные мировоззренческие установки историка и горизонт ожиданий предполагаемой читательской публики⁶⁹. Фактически здесь оправдывается не только ценностный плюрализм (нормальность того, что у разных людей – разные ценности и оценки прошлого), но и ценностный релятивизм (отказ от дискуссий относительно правомерности и предпочтительности разных ценностных систем и соответствующих оценок прошлого. Если плюрализм правомерен (в рамках, требующих отдельного обсуждения), то релятивизм в отношении ценностей лишает смысла любые споры о морали, в том числе о моральном оправдании/обвинении прошлых деяний, что принять уже нельзя.

Верно отмечает Лоренц, что ценности часто не отделены от фактов, но отсюда не следует, что не надо стремиться к такому отделению и что оно не возможно. Верно также суждение о множественности личных позиций историков и множественности горизонтов ожидания, включающих разные ценности платформы, но это вовсе не означает, что не следует соотносить эти позиции и ценности, что не следует аргументировать те или иные принципы оценки деяний и явлений прошлого. Так, например, вполне обоснованной представляется морально-ригористическая позиция Антоона де Баэтса относительно того, что прошлые поступки, нарушающие человеческое достоинство и неотъемлемые права не подлежат прощению за давностью лет⁷⁰.

Глубокие затруднения в ценностной проблематике истории касаются правомерности оценок прошлых деяний. Можно ли оценивать последние с позиций сегодняшних ценностей? Если нет, то означает ли это возможность полного оправдания очевидных злодеяний, жестокости, пыток, предательства, подлости, поскольку все это совершалось в рамках прежних ценностных представлений?

Следует смириться с тем, что история была и будет полем моральных битв. Вопрос состоит в том, как эти ценностные конфликты, связанные с историей, сделать продуктивными и упорядоченными. Внешение порядка в конфликтные взаимодействия, включая споры относи-

⁶⁹ Lorenz C. Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for 'Internal Realism'. In: History and Theory. Contemporary Readings. – Blackwell, 1998. – P. 342–376.

⁷⁰ Baets A., de. Historical Imprescriptibility // Storia della Storiografia. – 2011. – V. 59–60. – P. 128–149.

тельно ценностей и оценок событий и деяний прошлого, всегда подразумевает правила. Такие правила нельзя дедуцировать ни из самой исторической дисциплины, ни из теории ценностей. Правила исторических оценок, правила ведения дискуссий относительно таких оценок, установление оснований для таких правил – это очевидная обязанность философии истории, которая, однако, до сих пор не очень хорошо с ней справляется.

Проблема корректности исторических оценок никогда не будет решена окончательно. Однако уже сейчас можно указать на спектр ценностных платформ, которые нельзя не учитывать при любом походе к ее решению:

- современные ценности, претендующие на универсальность (как правило, связанные с гуманизмом, защитой достоинства, свободы и прав личности);
 - современные национальные ценности разных обществ, ценности религиозных конфессий и моральных учений;
 - собственные мировоззренческие, в том числе, ценностные, установки участников прошлых исторических событий, основных акторов;
 - тогдашние ценности, принятые, преобладающие в обществах, где происходили эти события;
 - состояние и уровень ценностей в наиболее крупных, развитых, влиятельных обществах той же эпохи.

Как уточнять и использовать эти или другие основания для исторических оценок – обширное и потенциально богатое пространство будущих размышлений, причем доступное именно в рамках и средствами философии истории.

Тема ценностей и оценок прошлого неразрывно связана с проблемой смысла истории.

Смысл истории и историческое самоопределение

Вопрос о смысле человеческой истории принадлежит к кругу «вечных проблем», или «проклятых вопросов» философии. Если бы появился ответ, устраивающий философов в течение достаточно длительного времени, то проблема стала бы считаться решенной и утерьяла

бы статус великой⁷¹. Смысл истории – это, прежде всего, смысл исторических изменений.

Парадоксальным образом проблема смысла истории как главная традиционная тема классической философии истории – от Августина до Канта – стала теперь практически запретной. Среди историков и философов истории говорить о «смысле истории» стало даже более «неприличным», чем для современных антропологов и культурологов говорить о «культуре».

Однако субъекты истории – политические лидеры, партии, государства, этносы и нации – живут и действуют в той истории, которая имеет для них некий смысл. Когда историческая наука и философия оставляют поле осмысления истории, оно не остается пустым. Этот смысл обычно задается идеологиями, религиями, популярными упрощенными концепциями вплоть до манихейской конспирологии и фэнтези (борьба сила Добра против сил Зла).

Общая негласная установка ученых и философов состоит в том, что смысл истории придают сами люди. Однако никто при этом не осмеливается прямо объявить мировую историю лишенной какого-либо присущего ей объективного смысла. Такое межумочное состояние, на самом деле, должно стать интеллектуальным вызовом для философов истории, но среди них почти никто на этот вызов не откликается.

Тема смысла истории является в некотором роде венцом каждой субстанциональной философско-исторической парадигмы, поскольку предполагает представления о динамике, структуре, ходе истории, о роли и месте ценностей в исторических процессах.

Фундаментальные социальные процессы: конструирование, складывание и испытание

Еще Августин утверждал, что прошлого и будущего нет, а есть только настоящее. Однако прошлое, хоть и исчезло, но не бесследно. О нем мы узнаем именно по «следам» (документам, артефактам) как части настоящего. Будущего же нет даже в «следах», а о «предзнаменованиях» люди судят всегда лишь апостериори.

⁷¹ Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1: Прологомены. – М., Логос, 2002. – Раздел 7.2.

Настоящее прокладывает себе путь в «пустоту», в каждый момент образуя новые спектры возможностей, но двигаясь вперед и становясь новым настоящим лишь через реализацию одних возможностей и игнорирование (а иногда и устранение) других возможностей.

Люди издавна умело оперируют этими возможностями в искусственных *процессах конструирования*, когда все средства и ресурсы обозримы и полностью управляемы. Чтобы начерченный в проекте дом стал реальным домом, чтобы проведенная на карте железная дорога была построена через горы и реки, чтобы обрели плоть задуманные конструкторами океанский лайнер или космический корабль, строители последовательно выполняют известные им этапы и цепочки действий, каждый раз создавая именно те возможности, последующая реализация которых продвигает строительство по намеченному пути.

В обществах, тем более, в международных процессах преобладают естественные *процессы складывания*, когда единого эффективного контроля над производством и реализацией возможностей нет. Большие и малые группы с разными ресурсами отчасти контролируют только свои весьма узкие сектора возможностей, обычно конкурируя и конфликтуя между собой, что и дает в результате «естественное» складывание. Все истории вполне правомерно пишутся в парадигме складывания. Мы пытаемся предсказать, спрогнозировать то, что не можем спроектировать и построить, то есть получающееся в процессах складывания.

На границе складывания и конструирования как основных типов исторических изменений есть большая и крайне значимая комплексная область, в которой отчасти естественно, отчасти искусственно отбираются или отбрасываются, выдвигаются на первый план или вытесняются на периферию, распространяются или сужаются разного рода конфигурации (технические устройства, социальные структуры, культурные образцы, психические установки, а также их сложные конгломераты, например, организации или государства). Назовем эту большую сферу процессов родовым именем *испытания*. Конкуренция, разного рода конфликтные взаимодействия, вызовы и ответы – все это входит в большую область явлений испытания.

Если конструирование – искусственно, складывание – естественно, то испытание – гибридно. Испытание – это, с одной стороны, попытка добиться успеха, попытка достижения цели, попытка воплотить в жизнь задуманную идею, цель, проект. С другой стороны, в отличие

от конструирования, при испытании нет полного контроля над основными ресурсами и условиями. Обстоятельства сложатся так или иначе. Поэтому и испытание может привести к успеху, среднему результату или вовсе провалу.

Обычно мы говорим только об институционализированных испытаниях и в крайне узких областях: в спорте, в новой технике, в образовании. Следует раскрыть глаза на гораздо более широкую применимость этой категории.

Каждый брак задумывается, когда люди решают пожениться, супруги пытаются строить свою совместную жизнь для достижения семейного благополучия и счастья, но далеко не все проходят успешно это испытание, о чем свидетельствует множество разводов и несчастных семей.

Каждый город в какой-то мере планируется. Но некоторые города становятся крайне привлекательными, красивыми, чистыми, уютными и безопасными, в них хотят поселиться, сюда стремятся туристы. Другие же города страдают от смога, мусора, автомобильных пробок, нищеты и преступности. Разве нельзя сказать, что одни градостроители, городские власти, «отцы города» выдержали свое испытание с честью, а другие позорно провалили его?

Каждое общество преимущественно складывается, причем, в течение многих десятилетий и даже столетий. Но история крупных лидеров, государственных деятелей, тексты конституций, сводов законов, проекты реформ неизменно свидетельствуют и о попытках конструирования. Поэтому получившийся результат, качество которого наиболее явно проявляется в потоках миграции, – бегут ли из этого общества или стремятся побывать и поселиться в нем – это всегда итог испытания, того как удаются или не удаются попытки социального конструирования в складывающихся внутри общества и вокруг него обстоятельствах.

А как нам всем вообще живется на планете Земля? Как будут здесь жить наши дети, внуки и правнуки? Нет принципиальных препятствий (кроме застарелых привычек мышления), чтобы распространить категорию испытания и на все глобальное международное сообщество. Удастся ли человеческому роду обустроить свою жизнь на планете приличным и нестыдным образом? И в чем, собственно, состоит испытание человечества?

***Философия человеческого бытия:
от конца истории к идее испытания***

В формальном отношении смысл истории – это смысл длительно-сти, наполненной всем тем, что делают люди и что происходит с людьми. Обычно философы, по аналогии со смыслами отдельных событий, трактуют смысл *истории как некоего процесса*, имеющего начало и конец. При этом, концу истории произвольно приписываются ценностные, метафизические, богословские, мистические или иные характеристики, которые, собственно и задают смысл истории.

Даже при отказе от такого приписывания следует согласиться с тем, что характер конца истории (когда бы и как бы они ни произошел) во многом определяет и ее смысл.

А можно ли вообще с какой-либо степенью достоверности судить о действительном конце истории (т.е. о полном исчезновении людей)? Это делать можно, но только в двух случаях.

Во-первых, при отсутствии способных к полностью автономному существованию внеземных человеческих колоний возможно обнаружение естественных процессов (связанных с эволюцией Солнца или внутренних процессов в структуре планеты Земля или траекторией каких-либо космических тел, излучений и проч.), которые приведут к наступлению условий, исключающих возможность человеческого существования. Все такого рода возможности подпадают под категорию *естественного конца истории*.

Во-вторых, наступление таких условий можно предсказать, если приводящие к ним процессы вызваны действиями самих людей (например, наступление «ядерной зимы» после серии ядерных ударов, или разрушение защитных свойств атмосферы как необратимое следствие массированных промышленных выбросов). Таким образом, здесь уже речь идет об *искусственном, или антропогенном, конце истории*.

Все прочие суждения о конце истории касаются либо ожидаемых новых исторических эпох, рисуемых с разным соотношением реализма, эзотерических или технических фантазий (торжество Сверхчеловека по Ницше или Сверхчеловечества по Соловьеву, цивилизация кибергов у фантастов и проч.), либо выражают полностью мистические взгляды, никак с реальным восприятием истории не соотносящиеся (Страшный Суд в Библии, «точка Омега» Тейяра де Шардена и аналоги).

Посмотрим, что можно будет сказать о смысле человеческой истории, получившей *естественное* завершение. Ясно, что люди об этом ничего уже сказать не смогут, поскольку по условию задачи никаких людей на Земле или вне нее не останется. Соответственно, наши размышления о том, «что можно будет сказать», относятся либо к представителям внеземных цивилизаций (вполне фантастических), либо к искусственно сконструированной позиции идеального внешнего наблюдателя, подобного кантовскому трансцендентальному субъекту. Предпочтем второй вариант, поскольку этому субъекту нужно придать не только любопытство и философичность, но также абсолютные познавательные способности, позволяющие выяснить причины произошедшей глобальной трагедии.

Итак, людей не осталось, человеческая цивилизация погибла. Естественные причины этого известны (здесь не важно, какие именно). При выяснении нашим трансцендентальным субъектом последовательности событий, будет раскрыта та или иная из трех главных возможностей:

- 1) глобальная катастрофа настигла планету совершенно неожиданно для людей;
- 2) о надвигающейся катастрофе было известно за некоторое время, люди начали что-то делать для спасения, но не успели;
- 3) о надвигающейся катастрофе было известно задолго, люди успели создать все, что могли придумать для спасения, но это не помогло.

Крайние варианты (1 и 3) представляют чистые формы и указывают, прежде всего, на недостаточность интеллектуальных (познавательных и творческих) способностей людей: в первом случае не удалось предвидеть катастрофу, в третьем случае, не удалось изобрести надежный способ спасения. Вариант 2 представляет смешанную форму: не удалось заблаговременно предвидеть, не удалось изобрести способы спасения, осуществимые за короткое время, недостаточно оказалось материального и организационного потенциала для того, чтобы успеть спастись.

Теперь обратимся к случаю *антропогенной* катастрофы (концу истории, вызванному действиями людей). Наиболее очевидными из известных возможностей являются «ядерная зима», неизбежная после достаточно долгой серии мощных ядерных ударов, а также разрушение защитных свойств атмосферы вследствие промышленных выбросов.

Такого рода события происходят, когда люди не способны предвидеть губительные последствия своих действий, либо не способны остановить эти действия, зная об их катастрофических последствиях. Кроме тех же познавательных способностей предвидения, здесь идет речь о способностях вести переговоры, убеждать, приходиться к взаимоприемлемым соглашениям, позволяющим избежать катастрофы, а также о налаживании эффективного контроля над выполнением достигнутых соглашений. Наряду с важной ролью дипломатических способностей (в широком смысле), моральной компоненты, организационных и принудительных способностей контроля, здесь также ключевую роль играет интеллектуальное творчество, поскольку только оно позволяет изобрести варианты соглашений, позволяющих сторонам воздерживаться от опасных действий и приемлемых с точки зрения их интересов.

Теперь отметим общие черты всех рассмотренных вариантов. Везде на первом плане оказываются интеллектуальные (познавательные и творческие) способности людей, направленные на долговременное прогнозирование и диагностику всевозможных опасностей для условий человеческого существования, а также на изобретение способов и средств спасения – защиты и поддержания данных условий. Кроме того, по условиям задачи, в ситуации действительного конца истории, *в каждом варианте эти способности оказались недостаточными*. Каковы же скрытые предпосылки данного простого суждения?

Способности оказались недостаточными, поскольку, были бы они достаточны, то удалось бы выжить, пусть не всему человечеству, но его части, способной к воспроизводству, причем тогда конец истории не наступил бы. Нет ничего искусственного в приписывании варианту глобальной гибели атрибута неуспеха, а варианту спасения – успеха. Получаем следующую понятийную конструкцию: *если благодаря накопленным способностям что-то удалось сделать, то следует успешный результат, если не удалось – неуспешный*.

Теперь становится очевидным, что данная конструкция полностью соответствует понятию *испытания*. Причем, мы это понятие не приписывали ситуации конца истории априорно и произвольно. Вместо этого, мы провели мысленный эксперимент, рассмотрели возможные варианты, выявили общие черты, раскрыли неизбежные предпосылки и пришли в результате к итогу: действительный конец истории (как прекращение существования человеческого рода) может произойти во

всех случаях *неуспешного прохождения человечеством некоторого испытания.*

Кто назначает испытания каждому индивиду, обществу, человеческому роду в целом? Верующий здесь подумает о Боге. Кант указывал на некий «план Природы»⁷². Либерал и атеист может полагать сугубо личной свободой считать что-либо в своей жизни испытанием, принимать на себя обязательство его проходить, либо отказываться от него. Если не застревать на различиях между этими базовыми стереотипами (которые столь же сакральны для каждой группы и несовместимы, как и верховные этосные ценности), то язык общих проблем и коллективного действия, успеха и неуспеха, конструирования и складывания оказывается вполне универсальным. В этом ключе и будем дальше вести рассуждение.

Мысленный эксперимент высвечивает значимость сохранения базовых условий человеческого существования, причем, ответственность за это сохранение всегда имеется имплицитно, но выступает на первый план при росте соответствующих опасностей.

Отвлекаясь от конца истории и применяя полученные результаты к ходу продолжающейся истории, получаем следующий общий вывод: *люди, ведая или не ведая того, проходят испытания на адекватное познание складывающихся обстоятельств, чреватых разнообразными угрозами, а также испытания на способность изобретения и создания способов и средств преодоления этих угроз.*

Сама категория испытания является широкой рамкой; к тому же испытания для разных эпох и народов были разные. Выявление их и способы объединения в некий сложный, меняющийся смысл мировой истории – это самостоятельная большая сфера глубоких затруднений.

Здесь мы выходим на фундаментальные проблемы классической этики. Есть ли единый моральный смысл человеческой истории? К чему вообще следует стремиться, причем, не отдельному индивиду или группе, а всем нациям и человечеству в целом? Что есть Добро?

⁷² Кант И. [1784] Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч. – М.; Марбург, 1994. – Т. 1. – С. 79–123.

Трудности общих моральных суждений

Нет числа этическим системам, претендующим на универсальность, но ни одна из них так и не нашла всеобщего признания. Пожалуй, ближе всего к этой цели оказалась Декларация прав человека ООН, нормы которой, хоть и далеки от повсеместного выполнения, но мало кто открыто их критикует. Причины такого успеха неслучайны. Главная трудность состоит в неустранимости разнообразия культур, соответствующих систем высших и священных символов, ценностей, идеалов, принципов и проч. Именно защита этого разнообразия («Каждый человек имеет право...») сделала Декларацию прав человека ООН (и последующую серию развивающих эти идеи международных документов) фактическим и вполне заслуженным чемпионом среди моральных и правовых учений в плане широты признания.

Само же это разнообразие представляет собой не столько пеструю мозаику, сколько два больших полюса притяжения, которые можно условно назвать так: *культуры свободы* и *культуры порядка*.

Культуры свободы, которые принято, хотя и не совсем корректно, называть западными и «современными» («модерными»), включают идеи и практики либерализма, защиты прав, гедонизма (стремления к наслаждениям) и эвдемонизма (стремления к счастью), имеют прогрессистскую направленность. Здесь правит принцип «что я хочу» (личная свобода, независимость ото всех). Такие культуры комфортны и привлекательны (именно в страны Запада, где они преобладают, идет основной поток международной миграции), но чреватые потребительством, снижением моральной стойкости, размягчением и разложением нравов, аноимией (утерей осмысленности жизни), соответствующими уходами в алкоголизм и наркоманию, асоциальные формы поведения.

Культуры порядка, опять же, не вполне корректно ассоциируемые с Востоком, обычно центрированы вокруг строгой религии или идеологии, они ригористичны, прямо опираются на духовное, социальное и физическое принуждение, включают идеи и практики долга, обязанностей, жертвенности и спасения, имеют традиционалистскую, в том числе, фундаменталистскую направленность. Здесь правит принцип «чему я должен подчиняться» (общий порядок, обязательный для каждого). Культивируется стойкость духа, способность выносить лише-

ния, воспитываются строгие моральные устои. В то же время, таким культурам нередко сопутствуют крайняя нетерпимость ко всему чужому и новому, жесткость и даже жестокость нравов, фанатизм и склонность к крайним формам агрессии (терроризм, этнические чистки, революционное насилие, «священные войны», в том числе, между прочим, и войны с прокламируемой целью «экспорта демократии и свободы»).

Большинство как западных, так и восточных культур располагает между этими полюсами, в разных пропорциях сочетая элементы свободы и элементы порядка. Какой бы ни была общая этическая идея, она будет подвергаться атакам со всех сторон: либо как неправомерное навязывание норм и целей, как недопустимое ограничение свобод, либо как не совпадающее в точности с нормами и целями культуры порядка, принимаемой критиком.

Вопрос об общезначимых ценностях рассмотрим более систематично.

Общезначимые ценности – *via media* между ценностным догматизмом и ценностным релятивизмом

Под *ценностями* здесь понимаются предельные нормативные основания актов сознания и поведения разумных существ⁷³. Такие основания могут быть выражены как понятия (честность, выгода, благо, безопасность, истина, жизнь, свобода, могущество и т.д.) или как императивы (не убий, не лги, не кради, люби ближних и проч.). Ценности существуют лишь постольку, поскольку существуют люди (индивиды, группы, сообщества), понимающие или принимающие их. С этой точки зрения ценности онтологически вторичны (в противовес классической неокантианской аксиологии Виндельбанда, Риккерта, Шелера и др.). При этом, ценности не сводятся лишь к психологическим и социальным установкам, но имеют статус культурных образцов⁷⁴, что означает транслируемость при

⁷³ Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1998. – С. 113.

⁷⁴ Кребер А. Стил и цивилизации. Конфигурации развития культуры // Антология исследований культуры. – М.: Университетская книга, 1997; Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. – Новосибирск, 1992.

смене человеческих поколений и регулятивную, ориентирующую, принуждающую роль по отношению к сознанию и поведению людей, принимающих эти ценности (в противовес узким психологическим и социологическим трактовкам существа ценностей).

В данной концепции любые претензии на абсолютность и универсальность ценностей считаются ложными. Ценности (например, Бог) могут иметь абсолютный характер, но только в рамках принимающих эти ценности сообществ. Универсальными же могли бы быть только те ценности, которые не только принимаются всеми ныне живущими людьми, но и всеми будущими поколениями; доказать же такое ни для какой ценности не возможно. Итак, *ценностный догматизм* отвергается. Основная масса ценностей – *этносные ценности*, т.е. принадлежащие тому или иному этосу: воспроизводимые в поколениях сообществу с особым вероисповеданием, культурой, убеждениями и проч. (этносы, нации, конфессии, устойчивые группы с субкультурами – все подпадают здесь под родовое понятие этоса).

Признание равноправия среди всего многообразия этосных систем ценностей – основа *ценностного релятивизма*. В этике хорошо известны опасности принятия такого учения: исчезают моральные основания для противостояния таким явлениям, как геноцид, терроризм, пытки, растление малолетних, каннибальство и проч., поскольку соответствующие группы могут объявить свою систему этосных ценностей и отвергать любые запреты как не абсолютные, но основанные лишь на иных этосных ценностях.

Классическим ответом на ценностный релятивизм всегда было соскальзывание к претензиям на объявление той или иной системы ценностей как высшей, абсолютной и нормативно универсальной (обязательной для всех), т.е. принятие того или иного варианта ценностного догматизма.

В этической концепции *конструктивной аксиологии* предпринята попытка *viamedia*: сохранение нормативной универсальности (общезначимости) для определенного круга ценностей при отказе от претензий на их высший статус и абсолютность⁷⁵.

Общезначимые ценности – это понятийное выражение главных условий, выполнение которых необходимо для сохранения возможности всех людей (индивидов, групп, сообществ) осуществлять свои этосные ценности.

⁷⁵ Розов Н.С. Ценности в проблемном мире... – Раздел 2.1.

Аксиологический анализ позволил выделить два класса общезначимых ценностей: *кардинальные*, означающие первичные условия выполнения каких-либо ценностей (человеческая жизнь, здоровье, достоинство, основные права и свободы личности) и *субкардинальные*, означающие условия необходимые для выполнения этих первичных условий (формы социальной защиты, политико-правовые нормы защиты личности и основных гражданских прав, экологические характеристики среды проживания, необходимые для сохранения здоровья, международные нормы, обеспечивающие безопасность и др.

Связь испытаний и ценностей

Испытание всегда предполагает критерии испытания, а предельные основания критериев всегда имеют ценностный характер. Испытания по критериям этосных ценностей назовем *этосными испытаниями*. Сумела ли Великобритания в конце XVIIIв. сохранить свое мировое лидерство? Смогут ли США утвердить закрепить свою гегемонию в XXI веке? Станет ли Россия процветающей страной в ближайшие десятилетия? – такого рода испытания носят этосный характер, поскольку касаются ценностей и интересов соответствующих частных этосов. Входят ли такие испытания в смысл истории? Да, но только в соответствующие «этосные» аспекты этого смысла (например, смысл национального исторического развития).

Философское мышление как всегда стремится перейти от частного к общему. При последовательном применении той же логики *общезначимые смыслы истории* могут быть раскрыты только через *общезначимые испытания*, а последние оказываются испытаниями на осознание и осуществление общезначимых ценностей.

Понять общезначимый смысл истории, значит, выявить источники и природу возможностей для формулирования, распространения и реализации общезначимых ценностей.

Каковы бы ни были такие источники и возможности, они возникают только в сообществах (или в их взаимодействиях), где всегда и везде господствуют этосные ценности. Можно ли найти некую общность в огромном разнообразии этосных систем ценностей? Историческая и теоретическая социология позволяет найти такие универсалии.

Главными стремлениями людей и соответствующими этосными критериями эффективности режимов на протяжении всей истории и во всех цивилизациях остаются комфорт (материальный, социальный и духовный), могущество, богатство и престиж⁷⁶.

При этом, общезначимые ценности по каким-то причинам, вследствие действия каких-то механизмов как бы «прорастают» сквозь повсеместно распространенные этосные ценности и интересы.

Загадка смысла истории, таким образом, раскрывается как проблема выявления механизмов *превращения этосного в общезначимое*. Заметим, что здесь развивается идея Канта (позже подхваченная Гегелем в концепции «хитрости истории») о том, как извечный антагонизм и своекорыстие человеческой природы приводят к принятию ноуменальных принципов и культуры общительности⁷⁷.

В целом, применяемый здесь подход можно обозначить как попытку средствами философии истории, теоретической истории и веберовской исторической социологии решить проблему, поставленную Кантом.

Спустившись с уровня философских абстракций на уровень научных задач и рассуждений, поставим такой вопрос. Как выяснить, кто, где и когда проходил испытания на построение и реализацию общезначимых ценностей?

Возьмем следующие кардинальные ценности: жизнь, здоровье, свобода, достоинство личности. О появлении такого рода ценностей могли бы свидетельствовать документально зафиксированные моральные и правовые нормы: нельзя убивать и калечить, обращать в рабство и держать в рабстве, унижать *кого бы то ни было*.

В реальной истории резкие скачки к универсальным принципам – относительно редкие и весьма поздние явления (кантовская этика, Декларация прав человека, Устав ООН, национальные конституции демократических государств). Поэтому следует говорить о частичных шагах в направлении к универсализации принципов.

История человечества включает не только и не столько сохранение устойчивости и преодоление угроз, сколько наличие необрати-

⁷⁶ Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990; Mann M. The Sources of Social Power. – V. 1–2. – Cambridge Univ. Press, 1987, 1993; Collins R. Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run. – Stanford Univ. Press, 1999.

⁷⁷ Кант И. [1784] Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч. – М.; Марбург, 1994. – Т. 1. – С. 79–123.

мых, поступательных изменений (при всех сложностях исторических «возвратов» и упадков отдельных обществ). Смысл истории включает в себя сохранение существования человеческого рода, но им не ограничивается. Каким же образом получить представление о необходимом дополнительном содержании? Наряду с испытанием на сохранение человеческого рода должно быть *некое глобальное испытание, связанное с позитивным достижением.*

Категория испытания в отличие от сугубо естественного складывания и искусственного конструирования соединяет меняющиеся объективные обстоятельства и меняющиеся субъективные человеческие стремления.

Полезной оказываются классическая дихотомия Ф.Тённиса *Gemeinschaft* и *Gesellschaft*, а также дюркгеймианское представление о том, что счастье и осмысленность жизни человека достигаются в условиях солидарности, взаимной поддержки и теплых эмоциональных отношений, что как раз обеспечивают *Gemeinschaft*. Таким образом, главным историческим испытанием является способность обществ создать и «настроить» такие большие *Gesellschaft* (государства, межгосударственные и внутригосударственные формальные структуры), которые предоставляли бы наиболее благоприятные условия для развития малых *Gemeinschaft*, обеспечивающих счастье и осмысленность жизни индивидов.

Даже принятие такой версии оставляет обширное пространство затруднений, касающихся уточнения понятий «условий», «счастья» и «осмысленности жизни», оснований такого постулирования, тем более при сравнении с реальными стремлениями исторических акторов.

Процессы продвижения общезначимых ценностей

Деление всемирной истории на фазы и эпохи уже было проделано и обосновано в другом месте [раздел 3 данной работы]. Каждая эпоха выделяется на основе явного доминирования обществ определенной фазы развития их режимов по 10 критериям эффективности. Начиная с эпохи доминирования обществ ранней государственности общезначимые ценности появляются, иногда побеждают, реализуются и даже распространяются на другие общества. Где, когда и каким именно образом это происходит – предмет эм-

пирико-исторического исследования. Каковы общие условия, способствующие возникновению и протеканию этих процессов – предмет теоретико-исторического исследования⁷⁸.

Здесь обозначим только исходные теоретические гипотезы.

1. *Появлению общезначимых ценностей* способствуют: выработка общих этических и социально-правовых понятий и принципов в интеллектуальной сети⁷⁹, связь этой сети с политическими группами, борющимися за широкое признание⁸⁰, востребованность новых широких этико-правовых идей (вероятно, в период социально-политического кризиса).

2. *Признанию общезначимых ценностей* властными элитами способствуют: победа политической группы с соответствующей идеологией благодаря историческому складыванию условий борьбы, «давление снизу» благодаря широкому признанию таких ценностей, ставка на достижение внешнего геокультурного престижа.

3. *Реализации общезначимых ценностей* способствуют: воля со стороны власти, легитимность власти, адекватная институциональная поддержка, налаженная и долговременная пропаганда, включение в воспитание.

4. *Распространению общезначимых ценностей на другие общества* способствует высокий геокультурный и геополитический престиж общества-донора.

Итак, искомый многими поколениями мыслителей смысл истории – это не загадочная формула, но философски разработанное направление эмпирического и теоретического исследования самой истории.

⁷⁸ Разработка и апробация метода теоретической истории. Серия «Теоретическая история и макросоциология». – Вып. 1. Новосибирск: Наука, 2001. – Ч. 1-2.; *Розов Н.С.* Философия и теория истории. Кн. 1: Прологомены. – М.: Логос, 2002. – Гл. 2, 4, 6.

⁷⁹ *Коллинз Р.* Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002.

⁸⁰ *Skocpol, Theda and Margaret Somers.* Social Revolutions in the Modern World. – Cambridge Univ. Press, 1994.

Философские проблемы преподавания отечественной истории

Преподавание истории: правдивый рассказ или воспитание?

Учебник отечественной истории – тема, всегда нагруженная идеологией и политикой, особо конфликтная и болезненная в расколотых обществах с низким уровнем общенациональной солидарности. Таким является современное российское общество, и неслучайно тема преподавания истории в школе, официальные призывы создания «правильного единого» учебника, проблемы ценностных и мировоззренческих критериев вызывают бурные, даже ожесточенные споры.

Один слой в этих спорах лежит на поверхности: издавна враждующие идеологические лагеря, прежде всего, державники (теперь вкупе с «православными коммунистами»), либералы, русские националисты и левые занимаются «перетягиванием каната», пользуясь всеми доступными ресурсами: идейными, административными, медийными.

Второй слой составляет действительно большая и трудная содержательная проблема, имеющая две стороны – ценностную и когнитивную:

можно ли и каким образом, не отступаясь от исторической правды, совместить под одной обложкой, с одной стороны, реальную историю России, полную жестокости, насилия, несправедливости, миллионов разбитых человеческих судеб, с другой стороны, вполне нормальную и оправданную цель – воспитать не ненавистника собственной страны и истории, а полноценного гражданина, любящего свою родину, почитающего ее прошлое, стремящегося не эмигрировать из России, а делать посильный вклад в ее свободное развитие и процветание.

К этой ценностной стороне добавляется еще когнитивная:

допустимо ли в учебнике лишь перечислять сухие факты без какого-либо осмысления, толкования, интерпретации? если же давать интерпретации, то как совладать с имеющимся разнородным относительно толкований разных периодов, процессов и явлений российской истории, причем, не только идеологического, но и теоретического плана?

Так или иначе, историки, политики, журналисты, идеологи в своих спорах касаются обеих этих тем, обычно апеллируя к привычным

штампам, напыщенным и смехотворным фразочкам (типа «духовных скреп»), а также к авторитетам, «зарубежному опыту» или «традициям».

В более широком плане речь идет о т. н. *исторической политике*⁸¹. Не может быть сомнений, что вопрос о том, какими могут и должны быть учебники отечественной истории – это *всегда и везде* вопрос исторической политики. Она может быть откровенно националистической (в смысле безоглядной апологии прошлых деяний собственного государства и его лидеров), может быть вполне космополитической (как некоторые учебники, созданные в 1990-х гг. на средства зарубежных грантов).

Какой историческая политика должна быть в современной России? На этот вопрос можно ответить, только решив так или иначе обозначенную выше проблему с ценностным и теоретическим аспектами.

Далее будет представлено рассуждение, направленное на выработку ценностных и теоретических основ исторической политики, соединяющей *гуманизм, исторически ответственный патриотизм*⁸², *строгие критерии научной истинности в отношении фактов, теоретичность и осознанный плюрализм интерпретаций*.

Эта непростая задача решается на основе достижений современного философского и социального познания в области мировой и отече-

⁸¹ А.Миллер так излагает позицию поляков, которые стали использовать изначально негативный немецкий термин *Geschichtspolitik* в положительном ключе: «История – дело политиков. Интерпретация событий в прошлом имеет очень серьёзные политические последствия, этим должны заниматься политики, а историки должны им помогать» <http://www.urokiistorii.ru/memory/conf/51482>. Обе крайности в понимании смысла *исторической политики* (немецкая негативная антинацистская и польская сугубо позитивная и националистическая) пора преодолеть. Далее термин будет использоваться в нейтральном смысле как та или иная политика (в смысле, стратегия, policy) власти, государства, политических партий и лагерей в отношении написания и представления отечественной и мировой истории. См. также: Историческая политика в XXI веке: Сб. статей. / ред. А. Миллер, М. Липман. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.

⁸² Патриотизм официального, верноподданнического, этактистского, шовинистического типа, который еще Тюрго называл «лакейским», Марк Твен – «идиотическим и разрушительным», Оскар Уайлд – «агрессивным», а С.Джонсон – «последним прибежищем негодяя», издавна пользовался дурной репутацией и в России (см. красноречивую подборку цитат П. Вяземского, Пушкина, Гоголя, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, здесь: <http://echo.msk.ru/pda/blog/dobrokhotov/1029162-echo/>). Далее речь пойдет только о патриотизме живом и деятельном, исключающем всякую международную вражду (Добролюбов), – об *исторически ответственном патриотизме*, проявление которого удачно сформулировал Адам Михник: «Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа».

ственной истории⁸³, а также на результатах многолетних исследований по философии образования и теории ценностей⁸⁴, философии истории и макросоциологии⁸⁵.

Возможен ли, необходим или сколько-нибудь оправдан единый учебник отечественной истории? Или же любая такая попытка будет изначально лишь сервильным проектом, легитимирующим действующую власть и режим? Если нужно и оправдано разнообразие учебников, то вправе ли вообще общество, государство, местные сообщества, профессиональные историки, философы, обществоведы, педагоги выдвигать какие-либо общие требования к их содержанию?

Таковы самые злободневные практические вопросы. Для ответа на каждый из них нужны основания.

«Непрерывность» или целостный смысл российской истории?

Более или менее понятно, что подразумевается под официальным запросом нынешней власти не только к «единообразному», но и «непрерывному» изложению отечественной истории. Прерывность этой истории налицо: разрывы между киевским московским, доромановским и романовским, московским и петербургским, дореволюционными и послереволюционным, советским и постсоветским периодами – это лишь самые главные разломы государственности. Однако означает ли отвержение непрерывности также отрицание возможности какого-либо целостного осмысления истории России?

Здесь мы вступаем в наиболее спорную область холистических историософских интерпретаций. Очевидно, что каждая из них осно-

⁸³ Время мира. Вып. 1. – Новосибирск, 2000; Структуры истории. Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. Разработка и апробация метода теоретической истории. Серия «Теоретическая история и макросоциология». – Вып. 1. – Новосибирск: Наука, 2001. Макродинамика: Закономерности геополитических, социальных и культурных изменений. Серия «Теоретическая история и макросоциология» – Вып. 2. – Новосибирск: Наука, 2002.

⁸⁴ Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1998.

⁸⁵ Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. – Новосибирск, 1992; Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Прологомены. – М., Логос, 2002; Он же. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. – М.: РОССПЭН, 2011.

ываается не только на приоритетном внимании к той или иной грани истории (православию, имперскости, особости русского народа, общинности, соборности, милитаризму, авторитаризму, миросистемной периферийности, служивому и раздаточному принципу и т. п.), но и к глубинным установкам, верованиям и святыням – что было названо выше этосными ценностями.

Принцип свободного личностного самоопределения требует ознакомления учащихся хотя бы с основными альтернативными интерпретациями – парадигмальными образами отечественной истории. Есть ли относительно нейтральная понятийная структура, позволяющая их сопоставлять как в целом, так и для каждого исторического периода? Представим три таких возможных каркаса, которые условно можно назвать: «порывы модернизации и их последствия», «циклическая динамика государственного успеха и свободы граждан» и «ряд самоиспытаний в социально-эволюционном контексте».

Порывы модернизации и их последствия

Модернизацию вовсе не обязательно жестко связывать с исторически недавними стремлениями «догонять» развитые западноевропейские и североамериканские общества в плане индустриализации, военных, политических и экономических институтов. Широкое принятие Русью и Московией греческих, болгарских культурных и религиозных образцов, а позже – османских военно-организационных институтов и практик также были модернизациями.

Последующая цепь «догоняющих модернизаций» уже в отношении Польши, Швеции, Голландии, Англии, Франции, Австро-Венгрии, Пруссии и Германии, США хорошо известна. Они были в разной мере успешными, но всегда вели к глубокому преобразованию государственных, сословных и классовых структур, к появлению новых социальных групп, к непреднамеренному заимствованию целых систем культурных и социально-политических образцов, перераспределению ресурсов, острым социальным и идейным конфликтам.

Как застойные, так и кризисные периоды являются следствиями прежних государственных попыток и порывов различных социальных групп к модернизации (существенно разной по целям, стилю и средствам в разные исторические периоды). Некоторые порывы модернизации были откровенными заимствованиями, другие претендовали

с большими или меньшими основаниями на фрагманскую, первопрородческую роль в европейском и даже мировом масштабе.

Иногда модернизация вела к успешной территориальной экспансии, завоеваниям и аннексиям, иногда побочным эффектом модернизации или следствием ее провала была потеря территорий или даже государственный распад. Иногда государственная власть, искренно стремясь к отмене старого и созданию нового, фактически возвращалась к восстановлению в иных формах прежних образцов и институциональных структур (т. н. «контрмодернизация», «псевдомодернизация» и т. д.).

Лежащее в основе этой концептуализации измерение «старое/ новое» является предельно широким и фундаментальным для истории, поскольку выражает последовательность темпоральности – смены явлений во времени. Разумеется, такая парадигма не исключает изучения и учета в российской истории «естественных» – медленных, складывающихся процессов, а также истории индивидуальных судеб – трагических, героических, обычных, «нормальных» или тосливо-безнадежных, однако можно показать, что подавляющая часть таких явления происходили в руслах, проложенных цепью прежних, преимущественно государственных, порывов модернизации и территориальной экспансии. Как видим, эта концептуальная рамка весьма широка и вполне нейтральна в идеологическом плане.

Какие еще сквозные инварианты можно ухватить в драматичной и прерывистой истории России? Сословия, классы, церковные организации и конфессиональные группы, профессии, уклады, политические структуры – все это течет и меняется. Неизменными остаются две инстанции: государство и личность. С какого «угла» ни посмотреть на них динамику на протяжении российской истории, будет видна крайняя «размашистость» и *повторяемость* изменений. Поэтому внимание к этой исторической цикличности представляется необходимым для любой трактовки.

Циклическая динамика государственного успеха и свободы граждан

Известно несколько десятков моделей российских циклов⁸⁶: сугубо нумерологические, мистические, а также относительно

⁸⁶ См. обзор циклических моделей: *Розов Н.С.* Колея и перевал... – Гл. 7.

или вполне научные: смутно-гуманитарные (А. Ахиезер), экосоциальные и демографические (С. Нефедов), геополитические (В. Цымбурский), социально-политические (А. Янов, В. Пантин и В. Лапкин), административно-мобилизационные (Р. Вишнеvский, R. Nelly)⁸⁷.

Синтетическая модель⁸⁸ объединяет наиболее конструктивные модели «революций служилого класса» (Р. Хелли), «долгих циклов модернизации» (Р. Вишнеvский), циклы реформ и контрреформ (А. Янов, В. Лапкин и В. Пантин).

Если первые две модели относятся к взлетам и падениям российской государственности (что прямо накладывается на порывы модернизации), то модель реформ-контрреформ относится больше к положению индивида: уровням защиты его свобод, прав и собственности.

Очевидным образом эти фундаментальные измерения – успех/неуспех государства, свобода/несвобода подданных и граждан – тесно связаны между собой. Феноменологическая картина динамики по этим измерениям позволяет наглядно «ухватить» эту связь. Что и послужило основанием для выделения основных фаз российских циклов: Успешная мобилизация, Стабилизация – Стагнация, Кризис (с крайней формой Государственного распада), Авторитарный откат (Фаза реакции) и Либерализация («сверху» или «снизу») (рис. 1).

Разработаны и представлены несколько моделей, отображающих разные грани глубинного механизма, порождающего эти циклы («колею»), а также принципиальные пути преодоления этой цикличности («перевал»)⁸⁹.

⁸⁷ Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. – Т. 1. От прошлого к будущему. – Новосибирск. 1997; Вишнеvский Р.В. Модернизационные циклы в истории России. – Теория предвидения и будущее России. Мат. V Кондратьевских чтений. – М., 1997; Нефедов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. – Екатеринбург. 2005; Пантин В.И., Лапкин В.В. Волны политической модернизации в истории России. К обсуждению гипотезы. 1998 // Проблемы и суждения. – № 2. – С. 39–51; Цымбурский В.Л. Циклы «похищения Европы» / Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. – М.: Росспэн. 2007. – С. 44–66; Янов А.Л. Тень Грозного царя. Загадки русской истории. – М., 1997; Hellie R. The Structure of Russian Imperial History. History and Theory. Studies in the Philosophy of History, 2005. -V. 44, No. 4.

⁸⁸ Розов Н.С. Колея и перевал... – Гл. 9–12.

⁸⁹ Там же. – Гл. 10–12 и 15–17.

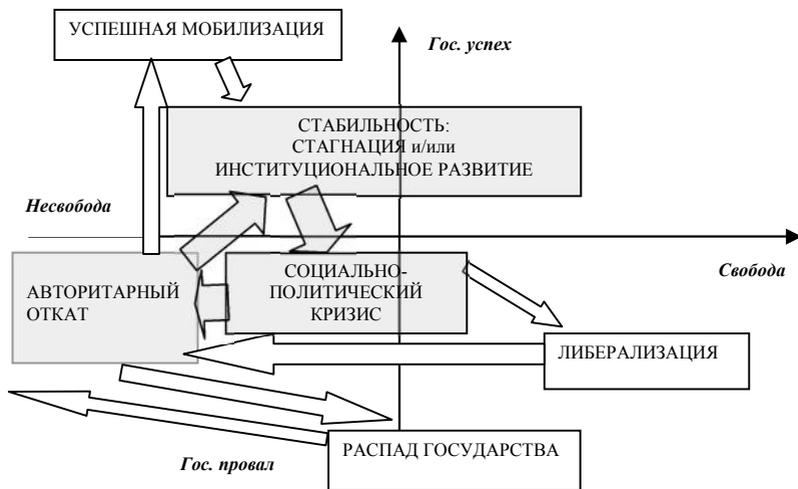


Рис. 1. «Колея» российских циклов: маятниковые движения, огибающие достижимый (пока?) квадрант сочетания государственного успеха и высокого уровня свободы (защита прав, достоинства, собственности) граждан. Штриховкой выделены фазы кольцевой модели: наиболее типичной в истории Московии – Российской империи – СССР – РФ за последние 450 лет

Разумеется, такое толкование повторяемости в истории России является лишь одним из возможных. Однако ни одно сколько-нибудь объективное изложение этой истории не может пройти мимо таких тем как: внушительные успехи и трагические провалы российской государственности, меняющееся положение подданных и граждан (в плане свобод, защиты прав и собственности, участия в управлении), крупные социальные и политические события, ведущие к сдвигам в этих измерениях.

Ряд самоиспытаний в социально-эволюционном контексте

Третья категориальная рамка позволяет дополнить первые две в плане учета поступательных (в том числе, прогрессивных, социально-эволюционных, необратимых) изменений, меняющихся социально-политических ценностей, принципов и идеалов, соотнесения

России с другими крупными как западными, так и незападными обществами.

Мы постоянно и довольно уверенно пользуемся двумя подходами в осмыслении окружающей реальности, более или менее успешно распознавая, что *складывается* (естественно, без чьего-либо полного контроля), а что *конструируется* (искусственно, тем или иным субъектом – индивидом, группой или организацией).

При всем этом, мы по каким-то причинам гораздо меньшее внимание уделяем третьей категории – *испытанию*, которой соответствует своя область процессов в человеческом мире (см. раздел 4).

Что считать успехом и что провалом исторических испытаний? Как раз для ответа на такого рода вопросы и был приведен в разделе 4 целый ряд ценностных платформ. Среди них особое значение имеет пункт (б) «тогдашние доминировавшие в стране цели и идеалы правящей элиты, нормы, заповеди, представления о морали и справедливости». С этой точки зрения можно выяснить, насколько успешно в разные исторические периоды российское государство (правящая группа, государственный класс и держатели основных ресурсов) проходило испытание по своим же критериям.

Державные цели могли включать такие смыслы как:

- стать самой большой и могущественной империей,
- ведущей христианской державой,
- одной из великих европейских держав,
- хранительницей вековых монархических устоев,
- покровителем всех славянских стран и народов,
- прогрессивной индустриальной экономикой,
- флагманом мировой коммунистической революции,
- примером успешного коммунистического строительства,
- лидером постсоветского пространства и т.д.

Каждый раз с большей или меньшей искренностью в официальных речах и документах прокламировалась забота о чаяниях, благополучии подданных, повышении уровня жизни, правах и свободах граждан, их участии в государственном управлении и т.п. Насколько успешно выполнялись заявления – также вопрос исторического испытания.

Связь парадигм модернизаций, цикличности и исторических испытаний

Каждый из представленных вариантов категориальной рамки (априорного целостного образа, парадигмы) осмысления истории России высвечивает вполне определенную ее грань:

- возобновляющиеся попытки преодолеть отсталость и встать вровень с ведущими государствами и обществами эпохи,
- непреднамеренная повторяемость фаз, которые при всех своих особенностях, проявляют очевидные сходные черты (ужесточение и послабление режима, рост и падение энтузиазма, сплоченности и ответственности элит, территориальное расширение и потеря территорий и т.д.),
- сменяющиеся цели и идеалы государственного и общественно-го развития, разные уровни успеха и неуспеха в их достижении.

Нетрудно видеть, что, несмотря на все различия в фокусе внимания и понятийном аппарате, данные образы вполне совместимы.

Каждая попытка модернизации была своего рода испытанием, при успехе приводила к успешной мобилизации, при неуспехе – к возобновлению стагнации, при провале – к кризису. Иными словами, модернизации и испытания (как попытки сознательного *конструирования*) в истории России всегда были и до сих пор остаются частью циклической динамики.

Однако эта динамика включает также процессы естественного *складывания*, что приводит в разных условиях к фазам стагнации, авторитарного отката или либерализации, к формированию условий для новых попыток модернизации, условий успеха и неуспеха соответствующих новых испытаний.

Какая история служит воспитанию гражданина?

Теперь, когда у нас в руках достаточно ясные и надежные ценностные платформы, конструктивные и гибкие концептуальные орудия, можно приступить к решению сформулированной выше проблемы: как преодолеть противоречие между неблагоприятностью (мягко говоря) многих периодов, явлений российской истории

и действительной необходимостью воспитания любящего свою страну, историю и культуру, патриотически и ответственно настроенного гражданина России.

Отвергаем с порога ложь, существенные искажения и умолчания крупных и значимых трагических фактов (почему? а потому: если это нужно объяснять, то уже не нужно объяснять).

Вся существенная правда об отечественной истории должна быть представлена, но так, чтобы ознакомившийся с ней молодой человек не превратился в циника или ненавистника собственной страны, чтобы боль и досада – вполне нормальные и адекватные человеческие чувства, возникающие при знакомстве со многими моментами нашей истории, – привели не к отчаянию или защитному безразличию, а к деятельной энергии, стремлению к личностному и профессиональному росту, ответственности за положение дел вокруг себя. Речь, таким образом, идет о формировании личности гражданина, ментальности, мировоззрения

Макросоциальные процессы и личные истории

История страны, втиснутая в одну обложку, может быть написана только «крупными мазками» – с изложением главных исторических событий, характеристик разных периодов, представлением магистральных процессов. Вместе с тем, символы и идентичности школьников, затем юношей и девушек формируются, во многом, через чувства сопереживания и идентификации, в том числе, с теми соотечественниками, о которых они узнают из истории родной страны. Увлекательный, воспитывающий любовь к Родине и гражданскую ответственность, учебник должен содержать личные истории: героические, драматические, трагические.

Именно в личных историях соединяются большие испытания для страны и индивидуальные испытания в жизни человека, происходит соотнесение решений, поступков, каждодневных нравственных усилий с окружающим контекстом, который создается потоком макросоциальных процессов. Не нужно обманывать и утверждать, что «хороших людей всегда было больше», нужно просто показывать, что честные и свободные люди были всегда, пусть даже в меньшинстве, откровенно пояснять в предисловии, почему именно их личным историям уделено особое внимание.

После «Метаистории» Хейдена Уайта общим местом стало представление о том, что исторические тексты строятся согласно тому или иному литературному жанру⁹⁰. История России (как и любой другой страны), написанная в жанре восхваляющей оды, панегирика, всегда будет лживой и лицемерной. Обратная крайность – писать о родной истории только едкую уничижительную сатиру – также неприемлема.

С учетом универсальности конфликтной рамки, для истории России лучше всего подходит *драма* (что не исключает актов трагедии, фарса, комедии, а иногда даже пошлой оперетки). Действительно, настоящая драма всегда содержит конфликт, трудные, противоречивые и меняющиеся характеры, сложные жизненные коллизии. Общим смысловым каркасом вполне могут выступать порывы к обновлению («модернизации»), к новой прекрасной жизни (что и в истории, и в классических русских драмах обычно завершается печально, трагично или «никак»).

В написании драмы отечественной истории не избежать наличия навязчивых повторов (колеи циклов), когда в новых декорациях и новом составе действующих лиц воспроизводятся одни и те же темы и сюжеты: давление государственной машины и полицейщина, печальные судьбы бунтарей, реформаторов и «маленьких людей», победительные держиморды и жулики, гибнущие в застенках праведники. Драма русской истории – это, прежде всего, циклы возобновляющегося государственного принуждения и попытки (чаще всего неумелые и неудачные) избавиться от него или как-то его «реформировать».

При всем этом, безнадежность, присущая метафоре «колеи порочных циклов», может и должна преодолеваться образом исторических испытаний и самоиспытаний. Именно в этом плане на авансцену отечественной истории выступают ее истинные герои – те, кто внес наибольший вклад в российскую культуру, науку, образование, право, кто отстаивал свободу и гуманизм своим словом, делом или всей жизнью даже в самые мрачные трагические периоды. Подвиги праведников в прошлых поколениях, пусть даже не приводившие к победам, – вот что дает историческую надежду.

⁹⁰ Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002.

Разные учебники при единстве базовых требований

Обратимся к практическим вопросам по проблеме школьного учебника истории. Возможен ли, необходим или сколько-нибудь оправдан единый учебник отечественной истории? Нет, среди учителей, школ есть и останется разнообразие предпочтений, причем не только идеологических, но и моральных, стилистических, интеллектуальных. Единый для всей страны, утвержденный на много лет учебник отечественной истории столь же не приемлем, как и единая принудительно навязываемая всему обществу идеология⁹¹. Нет сомнений, что если такой единый учебник все же будет «продавлен», то он будет лишь сервильным проектом, легитимирующим действующую власть и режим?

Вправе ли общество, государство, местные сообщества, профессиональные историки, философы, обществоведы, педагоги выдвигать какие-либо общие требования к содержанию учебников истории? Да, вправе. Правдивость (согласие с научно установленными фактами, отказ от тенденциозных умолчаний) и направленность на воспитание любви, уважения к родной стране, ее истории и культуре, гражданской ответственности представляются наиболее непреложными общими требованиями.

Дальнейшие уточнения относительно того, как именно согласовывать и конкретизировать эти требования – предмет будущих дискуссий, своего рода «затравкой» для которых призвана стать данная работа.

Драма отечественной истории не завершена. Историческое самоиспытание нашей страны продолжается. От того, какое представление получают подрастающие поколения о прошлом, как будут относиться к продолжающейся истории и своему месту в ней, во многом будет зависеть дальнейшая судьба России.

Преподавание истории в школе – это всегда некая историческая политика, направленная на воспитание подрастающих поколений, будущих граждан. В России вопросы об этом являются остро конфликтными, причем не только из-за множественных расколов в обществе, соответственно, противоположных трактовок многих периодов, собы-

⁹¹ Статья 13 Конституции РФ: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.»

тий, лидеров, но и как проявление противоречия между реальным историческим материалом, полному удручающих фактов, и воспитательной функцией. Формулируется соответствующая проблема с ценностной и когнитивной стороной. Решение проблемы предложено в виде системы ценностных платформ для оценки явлений прошлого, а также трех концептуальных каркасов (порывы модернизации, циклы динамики государственного успеха и уровня личной свободы, цепь испытаний с меняющимся содержанием). Конфликтная российская история может быть написана как драма, где правда трагичных обстоятельств и даже злодейств уравнивается индивидуальными историями героев и праведников.

Литература

- Альтернативные пути к ранней государственности / Под ред. Н. Н. Крадина, В. А. Лыньша. – Владивосток: Дальнаука, 1995. – С. 77–93.
- Анкерсмит Ф.Р.* Возвышенный исторический опыт. – М.: Издательство «Европа», 2007.
- Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. – Т. 1: От прошлого к будущему. – Новосибирск, 1997.
- Белл Д.* Грядущее постиндустриальное общество. – Москва: Академия, 1999.
- Бентли Дж.* Межкультурные взаимодействия и периодизация Всемирной истории // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 171–203.
- Бондаренко Д.М.* Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в доколониальной тропической Африке. – М.: Институт Африки РАН, 1997.
- Валлерстайн И.* Изобретения реальностей времени-пространства: к пониманию наших исторических систем // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 102–116.
- Валлерстайн И.* Миросистемный анализ // Время мира. – Вып. 1. – Новосибирск, 2000. – С. 105–123.
- Вебер М.* Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.
- Вишневский Р.В.* Модернизационные циклы в истории России. – Теория предвидения и будущее России. – Мат. V Кондратьевских чтений. – М., 1997. Время мира. – Вып. 1. – Новосибирск, 2000.
- Гемпель К.* Функции общих законов в истории // Время мира. – Вып. 1. Историческая макросоциология в XX веке. – Новосибирск, 2000. – С. 13–26.

- Грин В.* Периодизация в европейской и Всемирной истории // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 39–79.
- Гудсблом Й.* Человеческая история и длительные социальные процессы: к синтезу хронологии и фазеологии // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 117–132.
- Данто А.* Аналитическая философия истории. – М.: Идея-Пресс, 2002.
- Дьяконов И.М.* Пути истории. – М., 1994.
- Дюркгейм Э.* Самоубийство: Социологический этюд / Пер. с фр. с сокр.; Под ред. В.А. Базарова. – М.: Мысль, 1994.
- Историческая политика в XXI веке: Сб. статей / Ред. А. Миллер, М. Липман. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Кант И.* [1784] Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч. М.: Марбург, 1994. – Т. 1. – С. 79–123.
- Коллингвуд Р.* Идея истории. Автобиография. – М.: Наука, 1980.
- Коллинз Р.* Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002.
- Коротаяев А.В.* Горы и демократия: к постановке проблемы // Альтернативные пути к ранней государственности. – Владивосток: Дальнаука, 1995. – С. 77–93.
- Коротаяев А.В.* Сабейские этюды: некоторые общие тенденции и факторы эволюции Сабейской цивилизации. – М.: Вост. лит., 1997.
- Крадин Н.Н.* Кочевничество в современных теориях исторического процесса // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 369–396.
- Кребер А.* Стилль и цивилизации. Конфигурации развития культуры // Антология исследований культуры. – М.: Университетская книга, 1997.
- Макродинамика: Закономерности геополитических, социальных и культурных изменений. Серия «Теоретическая история и макросоциология». – Вып. 2. – Новосибирск: Наука, 2002.
- Модельски Дж.* Эволюционный подход к миросистемной истории: проблема периодизации // Время мира. – Вып. 1. – Новосибирск, 1998. – С. 300–305.
- Нефедов С.А.* Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. – Екатеринбург. 2005.
- Пантин В.И., Лапкин В.В.* Волны политической модернизации в истории России. К обсуждению гипотезы. 1998 // Проблемы и суждения. – № 2. – С. 39–51.
- Пригожин И.* Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 46–52.
- Разработка и апробация метода теоретической истории. Серия «Теоретическая история и макросоциология». – Вып. 1. – Новосибирск: Наука, 2001.

- Розов Н.С.* Структура цивилизации и тенденции мирового развития. – Новосибирск, 1992.
- Розов Н.С.* Национальная идея как императив разума // Вопросы философии. – 1997. – № 10. – С. 13–28.
- Розов Н.С.* Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1998.
- Розов Н.С.* Философия и теория истории. Кн. 1: Прологомены. – М., Логос, 2002.
- Розов Н.С.* Глобальный кризис в контексте мегатенденции мирового развития и перспектив российской политики Полис (Политические исследования). – 2009. – № 3. – С. 34–46.
- Розов Н.С.* Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. – М.: РОССПЭН, 2011.
- Розов Н.С.* Смысл истории как испытание человечества: философские основания глобальной правовой и судебной системы // Credo new. – 2012. – № 3. – <http://credonew.ru/content/view/1151/67>
- Ролз Дж.* Теория справедливости. – Новосибирск, 1996.
- Стернз П.* Периодизация в преподавании мировой истории: выявление крупных изменений // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 149–170.
- Структуры истории. Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.
- Тойнби А.* Постигание истории. – М.: Прогресс, 1991.
- Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002.
- Уилкинсон Д.* Центральная цивилизация // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 397–323.
- Ходжсон М.* Условия исторического сравнения между эпохами и регионами // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 91–101.
- Цымбурский В.Л.* Циклы «похищения Европы» / Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. – М., РОССПЭН, 2007. – С. 44–66.
- Чейз-Данн К., Холл Т.* Одна, две, много миросистем // Структуры истории. – Альманах «Время мира». – Вып. 2. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 424–448.
- Чубаров В.В.* Ближневосточный локомотив: темпы развития техники и технологии в древнем мире // Архаическое общества: узловые проблемы социологии развития. – М.: Институт истории СССР, 1991. – С. 92–135.
- Элиас Н.* О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. – М.; СПб., 2001.

- Якобсон В.А. Новоассирийская держава // История древнего мира. – М.: Вост. лит., 1983. – Т. 2. – С. 27–44.
- Янов А.Л. Тень Грозного царя. Загадки русской истории. – М., 1997.
- Ясперс К. Смысл истории. – М., 1993.
- Abu-Lughod, Janet.* Restructuring the Premodern World-System // Review. – 1990. – V. XIII, № 2. – P. 273–286.
- Baets, Antoon de.* Historical Imprescriptibility // *Storia della Storiografia*, 2011. – V. 59–60. – P. 128–149.
- Bouwel, Jeroen van, and Erik Weber.* A Pragmatist Defence of Non-Relativistic Explanatory Pluralism in History and Social Sciences // *History and Theory*, 2008. – V. 47, No.2. – P. 168–182.
- Carneiro, 1970a: Carneiro, Robert.* Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures // *A Handbook in Cultural Anthropology* / Ed. by Naroll, Raoul and Ronald Cohen. – N.Y.: Natural History Press, Garden City, 1970. – P. 834–871.
- Carneiro, 1970b: Carneiro, Robert.* A Theory of the Origin of the State // *Science*. – 1970. – V. 169. – P. 733–738.
- Carr, David.* Narrative Explanation and its Malcontents // *History and Theory*, 2008. – V. 47, No.1. – P. 19–30.
- Claessen H.J.M., P. Skalnik (Eds.)* The Early State. The Hague, – Paris, – N.Y., 1978.
- Collins, Randall.* *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run.* – Stanford Univ. Press, 1999.
- Elias, Norbert.* *What is Sociology?* – L., Hutchinson, 1978.
- Fay, Brian.* The Linguistic Turn and Beyond in Contemporary Theory of History. Introduction. In: *History and Theory. Contemporary Readings.* – Blackwell, 1998. – P. 1–12.
- Frank, Andre Gunder, and Barry Gills.* The Five Thousand Year World System: An Interdisciplinary Introduction // *Humboldt J. of Social Relations.* – Arcata, Calif, 1992. – V. 18, No.1. – P. 1–79.
- Gellner, Ernest.* *Plough, Sword, and Book. The Structure of Human History.* – University of Chicago Press, 1988.
- Gills, Barry, and Andre Gunder Frank.* World System Cycles, Crises and Hegemonial Shifts 1700 BC to 1700 AD // *Review.* – V. 15, No.4. – P 621–687.
- Gorman, Jonathan L.* Objectivity and Truth in History. In: *History and Theory. Contemporary Readings.* – Blackwell, 1998. – P. 320–341.
- Goudie, Andrew.* *The Human Impact on the Natural Environment* – Oxford, Basil Blackwell, 1986.
- Goudsblom, Johan.* Ecological Regimes and the Rise of Organized Religion // Goudsblom J., E. Jones, S. Mennel. *The Course of Human History: Economic Growth, Social Process, and Civilization.* – V.E. Sharpe, 1996. – P. 31–47.
- Goudsblom, Johan.* *Fire and Civilization.* – Penguin Books, 1994.

- Hayden White, *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. – Baltimore: Johns Hopkins UP, 1973.
- Hellie, Robert*. The Structure of Russian Imperial History. *History and Theory. Studies in the Philosophy of History*, 2005. – V. 44, No.4.
- Hodgson, Marshall G. S.* The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. 3 vols. – Chicago, 1974.
- Johnson, Edwin*. The Rise of Christendom. L., Kegan Oaul, Trench, Trubner and Co. Ltd. 1890.
- Jordheim, Helge*. Against Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Temporalities // *History and Theory*. – 2012. – V. 51, No.2. – P. 151–171.
- Koselleck, Reinhart*. *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1985.
- Lorenz, Chris*. Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for 'Internal Realism'. In: *History and Theory. Contemporary Readings*. – Blackwell, 1998. – P. 342–376.
- Mann, Michael*. The Sources of Social Power. – V. 1–2: Cambridge Univ.Press, 1987, 1993.
- Martin, Raymond*. Progress in Historical Studies. In: *History and Theory. Contemporary Readings*. – Blackwell, 1998. – P. 377–403.
- McNeill, William*. The Rise of the West: A History of the Human Community. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1963.
- McNeill, William*. The Changing Shape of World History // *History and Theory*. – 1995. – № 34. Theme Issue. – P. 8–26.
- McNeill, William*. The Rise of the West after Twenty-Five Years // *J. of World History*. – 1990. – V. 1. – P. 1–21.
- Modelski, George, and William Thompson*. *Leading Sectors and World Powers: The Coevolution of Global Economics and Politics*. – Columbia, South Carolina Univ. Press, 1996.
- Parekh, Bhikhu*. Non-ethnocentric Universalism. In: Dunn, Tim and Nicholas J. Wheeler (eds.) *Human Rights in Global Politics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 128–159.
- Rorty R.* *Consequences of Pragmatism*. – Minneapolis, 1982.
- Rostow, William*. *The Process of Economic Growth*. – Oxford, 1962.
- Roth, Paul A.* The Pasts // *History and Theory*. – 2012. – V. 51, No.3. – P. 313–339.
- Sanderson S.* *Social Transformations: A General Theory of Historical Development*. – Blackwell Publ., 1995.
- Sherrat, Andrew*. Plough and Pastoralism: Aspects of the Secondary Products Revolution // Hodder, Ian, Isaak Glynn, and Norman Hammond (Eds.). *Pattern of the Past. Studies in Honour of David Clarke*. – Cambridge: Cambridge Univ. Press. – P. 261–305.
- Skocpol, Theda and Margaret Somers*. *Social Revolutions in the Modern World*. – Cambridge Univ. Press, 1994.

- Snooks, *Graeme*. *The Dynamic Societies. Exploring the sources of global change.* – Routledge, L., N.Y., 1996.
- Spier, Fred*. *The Structure of Big History. From the Big Bang until Today.* – Amsterdam, Amsterdam Univ. Press, 1996.
- Tilly, Charles*. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992.* – Blackwell, 1992.
- Toffler A., Toffler H.* *Creating a New Civilization. The Politics of the Third Wave.* – Turner Publ., Atlanta, 1995.
- Walzer, Michael*. *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad.* – Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994.

Глава 2

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И НОРМАТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ

В современных философских исследованиях общим местом стали слова о кризисе рациональности. Суть кризиса – утрата единой рациональности, единого, привычного с античности Логоса, возвращение к которому было одной из неудавшихся целей проекта Просвещения и важнейшей чертой мировоззрения Нового времени. Исторически, среди причин кризиса – разочарование во всемогуществе научного познания, понимание ограниченности европоцентризма, чему способствовало изучение других культур, обладающих собственными стандартами целостности и рациональности, открытие сферы бессознательного и подсознательного и выяснение той роли, которые играют внерациональные мотивы в принятии решений и поведении людей.

При том что роль рациональности в науке привычно считается главенствующей, и сама европейская наука Нового времени сложилась как набор процедур рационального исследования, в XX веке под сомнение были поставлены основные положения классического идеала научности – и сама рациональность как фундаментальная характеристика науки, и истинность как описательная и нормативная характеристика научного знания, и фундаменталистский способ обоснования.

Другая сфера, в которой, как представляется, продолжают оставаться актуальными поиски постулатов рациональности – социальные контексты, в первую очередь моральные и политические. В теоретико-философском аспекте понятие рациональности в современной моральной и политической теории продолжает широко использоваться в современных концепциях общественного договора. Возродил эту традицию Дж. Ролз, предлагаемая им теория справедливости является, по сути, теорией рационального выбора. «Точно так же как каждая личность должна решить путем рациональных размышлений, что составляет благо, то есть систему целей, рацио-

нальную для их преследования, так и группа людей должна решить раз и навсегда, что считать справедливым и несправедливым»¹. Главная отличительная особенность концепции рациональности Дж. Ролза – кантианские представления о рациональности, основными из которых являются беспристрастность и универсализируемость принимаемых постулатов. При этом Дж. Ролз попытался обойтись минимально необходимыми, на его взгляд, постулатами. Однако эта первая попытка оказалась не вполне удачной. Суть многих возражений свелась к тому, что явно и неявно принятые постулаты рациональности оказались слишком сильными. Во-первых, вряд ли можно назвать «минимальными» явно принятые кантианские требования к рациональности. Во-вторых, среди неявно принятых постулатов рациональности оказалось множество таких, которые обусловлены определенным политическим и этическим мировоззрением. Уже в работе «Политический либерализм» Дж. Ролз признает, что основанное на таких постулатах рациональности общество не будет стабильным. При огромном разнообразии философских подходов и кажущейся несоизмеримости словарей и перечней проблем, несовпадении исследовательских процедур, совершенно разными представлениями о природе истины, разным отношении к базовым дихотомиям – таким как «норма-отклонение», «центр-периферия» и другим, именно некоторая базовая, минимальная рациональность может послужить основой общения философов различных школ и направлений. Проблем здесь много. Один из главных вопросов формулируется так: является ли необходимым условием рациональности соизмеримость? Р. Рорти, например, непосредственно связывал соизмеримость с рациональностью: «Под «соизмеримостью» я понимаю возможность подпадания под одно и то же множество правил, которые говорят нам, как может быть достигнуто рациональное согласие там, где, судя по всему, утверждения входят в конфликт»². При этом, говоря о философском дискурсе, он противопоставляет эпистемологию герменевтике именно по основанию соизмеримости: «Таким образом, в основе эпистемологии лежит предположение, что все вклады в данный дискурс соизмеримы. Герменевтика есть, по большей части, борьба против этого предположения»³. Отрицание соизмеримости вкладов и, таким

¹ Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995. – С. 26.

² Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997. – С. 233–234.

³ Там же. – С. 233.

образом, общих оснований, приводит Р. Рорти к следующему признанию: «Предположение, что *нет* таких общих оснований, означает, что подвергается опасности рациональность»⁴.

Презумпция рациональности часто также используется в качестве методологического приема, позволяющего объяснить самые разные решения и поступки. На этом фоне особенно важно отметить примечательную тенденцию в современной моральной и политической философии, суть которой заключается в попытке не только переосмыслить понятия рациональности и эксперимента, но и выстроить на их основе методологию социально-философского исследования. Специфика социально-философского исследования определяет и характер интерпретации этих понятий – речь идет о поисках рационального консенсуса в ходе разного рода мысленных экспериментах. Именно эта традиция и позволила, начиная с 1970-х годов, реабилитировать саму политическую философию – благодаря переносу акцента с анализа некоторого политического идеала на поиски согласия между рациональными индивидами по поводу оптимального или рационального общественного устройства.

Рациональность практического действия

Одна из основных отличительных характеристик принятия решения (включая моральный и политический выбор) состоит в том, что оно принимается индивидом добровольно и осознанно. Отсюда особое внимание и особые требования к процедурам рационального обоснования – как на уровне индивидуальной рефлексии, так и в публичном обсуждении. Независимо от того, ищем ли мы источник нормы в природе, или создаем его с помощью интеллектуального усилия, поиск источников нормативности часто связывается с рациональностью субъекта. При этом стоит отметить, что при всей важности оценки действий на рациональность такая оценка не является достаточным условием правильного или должного действия. Причина в том, что в большинстве концепций практической рациональности оценка действия основана на субъективном восприятии того, кто это действие совершает. Оценка же действия как нормативно должного предполагает не только когерентность представлений субъекта о ре-

⁴ Там же. – С. 234.

альности, но и соответствие этого субъективного восприятия реальности самому положению дел.

Разговор о рациональном обосновании практического действия уместно начать с указания на существование некоторого общечеловеческого императива рациональности. Так, Н. Решер напоминает о том, что именно рациональность определяет человека как человеческое существо и считает, что существует основополагающий «деонтологический императив» использовать имеющиеся у нас возможности наилучшим образом⁵. Рациональность – это наша обязанность, способ легитимизации нашего бытия в этом мире, способ доказательства обоснованности наших притязаний на особое место в нем. Конечно, спецификация такого императива применительно к конкретной задаче (в нашем случае – обоснованию практического действия в социальных контекстах) требует пояснения того, как именно будет пониматься практическая рациональность. Вариантов здесь очень много – это и простые экономические трактовки рациональности как максимизации индивидуальной выгоды, и теоретико-игровые модели максимизации совместной выгоды, и другие разнообразные подходы в духе утилитаризма, такие как теория ожидаемой полезности (Нейман – Моргенштерн), (максимизация предпочтений (К. Эрроу). Отдельно нужно выделить концепции рациональности, в которых постулируется утопичность понимания рациональности как максимизации (идея ограниченной рациональности. “bounded rationality” Г. Саймона), а также развитие этой идеи в концепции минимальной рациональности (К. Черняк). В любом случае, независимо от трактовки, идея рациональности имеет значительную нормативную привлекательность для объяснения и обоснования человеческих действий, в том числе и действий, находящихся в плане должного.

Одной из важных идей стал отказ от требований полной рациональности в силу ограниченных эпистемических и вычислительных способностей человека. Концепцию ограниченной рациональности ввел в философский оборот американский философ Г. Саймон. В работе 1957 г.⁶, рассматривая практическую рациональность индивидов, принимающих решения в ситуации риска и неопределенности, он предположил, что у субъектов отсутствуют необходимые когнитивные и вычислительные способности для нахождения оптималь-

⁵ Rescher N. Rationality. – Oxford: Clarendon Press, 1988. – P. 205.

⁶ Simon H.A. Models of Man. – John Wiley, 1957.

ных решений, а решения неизбежно принимаются на основе неоптимальных алгоритмов. Г. Саймон предложил заменить идею максимизации выгоды идеей достаточности, «удовлетворяющей» (satisfying) концепцией рациональности. Такая концепция человеческой рациональности вполне сочетается с взглядом антропологов на то, что человеческое поведение регулируется социальными нормами, которые передаются с помощью культурных и образовательных механизмов. В этом случае «удовлетворяющая модель» поведения может быть достигнута посредством простого следования этим нормам, которые, в силу своего социального статуса, как правило гарантируют удовлетворительные практические результаты основанного на них поведения. Такая тенденция к конформизму в принципе является рациональной стратегией поведения, могущей приводить к удовлетворительным результатам. Применительно к обоснованию обязательств это означает, что субъект, принимающий решение о принятии на себя морального или политического обязательства вовсе не обязан руководствоваться идеей извлечения максимальной выгоды из баланса прав и обязательств.

Не случайно, что многие современные философы пытаются соединить сильные стороны обеих моделей кооперативного поведения, которая, при сохранении инструментального компонента рациональности включала бы некоторые встроенные ограничения. При этом теория морали понимается как часть теории рациональности. Одной из самых известных попыток такого рода является, опять же, «Теория справедливости» Дж. Ролза⁷, в которой сочетаются беспристрастность (обеспечиваемая «занавесом неведения»), инструментальная концепция рациональности и согласование интересов каждого индивида с интересами других людей. Достижение справедливого общественного устройства возможно лишь на основе рационального консенсуса, т.е. поиска оптимальных принципов сотрудничества на основе признания коллективного характера этого предприятия и необходимости понимания и учета интересов, целей, ценностей и обоснованных притязаний других людей. Оптимальным и рациональным является именно стремление к реализации совместного интереса, совместной выгоде, коллективному благу. Конечно, в идеальном варианте такое стремление должно быть искренним и добровольным. Но одним из способов достижения совместного результата является

⁷ Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: изд-во НГУ, 1995.

обеспечение обязательности (явно или неявно) заключенных соглашений, т.е., попросту говоря, введение санкций за уклонение от сотрудничества.

Такое расширение представлений о рациональности связано, в том числе, и с изменением представлений о сути современной демократии. Тогда как раньше демократия часто рассматривалась как некоторый аналог рынка, который регулировали принципы экономической рациональности, то сейчас все чаще обсуждается другая модель – «демократия как форум»⁸. Если в демократии, понимаемой как рынок, рациональным будет считаться поведение, направленное на максимально выгодную продажу или покупку голосов, в обмен на некоторые действия или обещания, то в модели демократии, выстраиваемой по образцу форума, рациональным будет такое поведение, в ходе которого люди пытаются убедить друг друга в правильности того или иного решения. И речь здесь идет не о софистике или риторике, а именно о рациональном процессе аргументации, который, в идеале, нацелен на поиск истины. Нацеленность на истину вытекает из необходимости решения известного парадокса, с которым сталкиваются законопослушные граждане. Ю. Хабермас описывает его примерно следующим образом: закон является обязывающим лишь для того человека, который либо сам его создал, либо согласился с ним. Однако проблема в том, что законы требуют согласия всех членов общества, при этом предполагается, что в современном демократическом обществе такое согласие в идеале должно быть свободным, а не вынужденным. Что делать, если согласие требуется от всех, а демократический законодатель издает свои законы, ориентируясь только на большинство? Ю. Хабермас отмечает, что и то, и другое можно согласовать лишь при условии, что принцип большинства находится в некой внутренней сопряженности с исканием истины⁹.

Развитие представлений о демократии как о форуме получило развитие в концепции «совещательной демократии». Эта концепция исходит из факта «неустранимого плюрализма» современного общества, из наличия не сводимых друг к другу разнообразных моральных, философских, и религиозных точек зрения, концепций блага. При

⁸ *Elster J. The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory // Contemporary Political Philosophy. – Blackwell Publishers, 1997. – P. 128–142.*

⁹ *Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М.: Наука, 1992. – С. 36–*

этом политика понимается не просто как средство для реализации частных интересов, а как процесс коммуникации, посредством которого могут быть выражены и реализованы общие интересы. Стремление к общности позиции по важнейшим вопросам, стоящим перед обществом, делает уже недостаточной такую ценность как толерантность. В ситуации конфликтующих мнений и предпочтений граждане выслушивают друг друга и представляют рациональные аргументы, открываются для критики. При этом рациональность предполагает кроме стандартных требований, предъявляемых к аргументации, еще и ограничение на определенные типы доводов. Например, недопустимы доводы, содержащие апелляцию к частным интересам.

Кроме того, требования обоснования могут являться выражением идеала «правления закона». В сильной форме выражает это Ю. Хабермас, который выводит легитимность закона непосредственно из процедуры дискурсивного обоснования. «На посттрадиционном уровне обоснования, как мы бы сегодня сказали, единственный закон, который считается легитимным – это такой, который мог бы быть рационально принят всеми гражданами в дискурсивном процессе формирования мнения и воли»¹⁰.

Этих целей недостаточно добиться чисто процедурным путем, посредством рационального устройства общественных институтов, например, оптимальной системы сдержек и противовесов. Во многих классических либеральных концепциях, позднее ставших краеугольным камнем не только политических, но и экономических концепций рациональности, дело представлялось таким образом, что одни только политические или экономические механизмы способны предотвратить злоупотребление частными интересами. И. Кант, например, как и многие классические либералы, полагал, что общественное устройство не может создаваться в расчете на ангелов, поэтому нужно, чтобы жизнь людей была организована таким образом, чтобы «...несмотря на столкновение их личных устремлений, последние настолько парализовали друг друга, чтобы в публичном поведении людей результат был таким, как если бы они не имели подобных злых устремлений»¹¹. Однако расчет на одни только институциональные решения оказался нереалистичным.

¹⁰ *Habermas J. Between Facts and Norms.* – Cambridge, MA: The MIT Press, 1996. – P. 135.

¹¹ *Кант И. К вечному миру.* Соч.: В 6 т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 285–286.

Таким образом, необходимо рассмотреть, что значит императив рациональности не только применительно к общественному устройству в целом, но по отношению к субъекту/носителю прав и обязательств современного демократического общества. Основная проблема заключается в несоответствии наших теоретических ожиданий реальному положению дел. Так, от рационального гражданина естественно было бы ожидать активного, сознательного и ответственного участия в жизни гражданского общества, в коллективных инициативах. Но как раз с гражданским участием возникают серьезные проблемы даже в странах, считающихся едва ли не образцом демократии.

Ясно, что такое положение не может нас удовлетворить хотя бы потому, что в действительности все же находятся люди, которые, по всей видимости, как-то по-другому рассчитывают баланс издержек и выгод и участвуют в коллективных действиях, создании коллективных благ. Приходится либо отказывать таким людям в рациональности, либо объяснять изыяны чисто инструментальной, экономической модели рациональности, использование которой приводит к столь парадоксальным выводам. Необходимо, прежде всего, разобраться в том, каким образом «точка зрения морали» отличается от «точки зрения разума». Хотя часто и предполагается, что рациональный и моральный выбор не обязательно совпадают, уже с античности известен и другой подход, представленный линией этического рационализма, соединяющей Сократа и Канта. Один из первых философов, введший в современный философский оборот само это выражение – «моральная точка зрения» – К. Байер¹², также считал, наша моральность объясняется нашей рациональностью, другими словами, – быть моральным выгодно, даже тогда, когда интересы других людей будут иметь приоритет над нашими частными интересами. Вообще говоря, стремление связать этику с теорией рационального выбора весьма распространено в англоязычной этике. В одной из наиболее известных работ такого рода «Мораль по соглашению»¹³, например, детально обосновывается идея о том, что максимизация пользы в соответствии с постулатами рациональности предполагает необходимость самоограничения и сотрудничества с другими людьми.

¹² Baier K. *The Moral Point of View*. – Itaca, 1958.

¹³ Gauthier D. *Morals by Agreement*. – Oxford: Oxford University Press, 1984.

Эпистемические контексты рационального выбора

Мы будем рассматривать проблему рационального выбора в социальных контекстах – моральных, политических и других сферах осознанного взаимодействия людей. Осознанный выбор и практическое действие всегда осуществляются в ситуации эпистемической неопределенности, в которой наше знание никогда не бывает полным или точным. Поэтому не случайно, что в современных философских дискуссиях важное место занимает так называемая «проблема нормативности». При оценке некоторого действия на его «долженствование» или «нормативность» сразу же встает такой вопрос: оцениваем ли мы резоны, основания для действия, средств для достижения цели с точки зрения реального субъекта, «прощая» ему неизбежные когнитивные ограничения, или же с позиции «действительного положения вещей» в мире? И именно здесь становится очевидным различие между понятиями «рациональность» и «нормативность».

Различные аспекты, связанные с понятием «должного», с поиском источников и оснований человеческих действий нередко формулируются в виде некоторой общей «проблемы нормативности», которая в последние годы занимает важное место в философских дискуссиях самого разного рода¹⁴. В аналитической философии языка рассматриваются проблемы нормативности значения, связанные с «нормативной приверженностью» (*normative commitment*), которая трактуется как один из феноменов языкового поведения. Условия употребления языковых выражений, проблемы, связанные с фиксацией этих условий в виде правил и норм, надежность и стабильность таких нормативных требований остаются в центре внимания не только философов языка, но и всех интересующихся функционированием норм в социальных системах. В философии права это проблема оснований для принятия законов, так называемое «правопонимание», которое может быть различным и по-разному соотносить закон и право.

¹⁴ См., например: *Normativity* / Ed. by Dancy J. – Blackwell, 2000; *Miller A. Understanding people. Normativity and rationalizing explanation.* – Oxford: Oxford University Press, 2004; *Wedgwood R. Understanding Normativity.* – Oxford: Oxford University Press, 2007; *Donnelly B. A Natural Law Approach to Normativity.* – Ashgate Publishing Company, 2007 и многие другие работы.

В этике можно вспомнить Д. Юма, который, пожалуй, впервые ясно зафиксировал проблематичность перехода от суждений о фактах к суждениям о должном. Хотя в известной цитате Д. Юм имел в виду именно проблематичность нормативности применительно к человеческому поведению и к обязательности поступков, со временем это затруднение стало трактоваться как общефилософское. Как известно, Д. Юм отмечал, что из суждений о фактах нельзя вывести суждений о нормах, из того, что «есть», нельзя корректно перейти к тому, что «должно быть». Пропасть между тем, что есть и тем, что должно быть, он считал серьезнейшей и непреодолимой методологической проблемой. «В каждой этической теории, – писал шотландский философ, – автор в течение некоторого времени рассуждает обычным образом, устанавливает существование бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно: «есть» или «не есть», не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки «должно» или «не должно. Подмена эта происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна... Я уверен, что этот незначительный акт внимания опроверг бы все обычные этические системы и показал бы нам, что различие порока и добродетели не основано исключительно на отношениях между объектами и не познается разумом»¹⁵. Эта подмена, по мнению Д. Юма, хотя и незаметна, но чрезвычайно важна, в частности потому, что способна опровергнуть все существующие этические системы как основанные на ненадежном фундаменте. Моральные императивы и обязательства оказываются, таким образом, плохо обоснованными. Позднее (в 1903 г.) Дж. Мур подобные попытки вывести должное из сущего назовет «натуралистической ошибкой», характеризуя ее как попытки «...смешивать «добро», которое не является в собственном смысле каким-то естественным предметом, с любым естественным предметом»¹⁶.

Если говорить о человеческом поведении, то в качестве нормативно-должного оно часто определяется через понятие практической или инструментальной рациональности. Нормативно должным при этом считается действие, направленное на достижение некоторой це-

¹⁵ Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 1. – С. 618.

¹⁶ Мур Дж. Принципы этики. – М.: Прогресс, 1984. – С. 71.

ли в соответствии с постулатами практической рациональности, которые включают эффективность, оптимальность выбора средств для достижения поставленной цели и т.д. Однако критерии и постулаты, достаточные для признания действия инструментально рациональным, далеко не всегда обладают необходимой нормативной силой для субъекта действия. Действительно, нормативно должное поведение в той или иной ситуации, включающей, например, когнитивные ограничения субъекта, может расходиться с тем, чего требует от субъекта инструментальная рациональность. Так, в недавно вышедшей книге Д. Парфит в качестве примера приводит гипотетическую встречу с ядовитой змеей в пустыне. Если человек считает, что лучшим шансом на спасение будет бегство, то с точки зрения рациональности ему так и следует поступить. Но такое действие не является объективно нормативно должным, так как восприятие и оценка ситуации человеком являются ошибочными. Змея атакует только движущиеся объекты, и правильное поведения – это отсутствие всякого движения. Подлинная обязательность включает не только наличие оснований (резонов), но и соответствие этих оснований действительности, природе вещей¹⁷.

Ситуация здесь во многом аналогична вопросу о соотношении истины и мнения. Как известно, восходящее к Платону классическое определение истины как обоснованного истинного мнения может вести к парадоксам. Примером такого парадокса является так называемая «проблема Геттиера»¹⁸, заключающаяся в том, что при определенных условиях даже истинное и обоснованное мнение может оказаться просто догадкой, несмотря на предложенное обоснование, а потому и не заслуживать высокого статуса знания. Можно по-разному относиться к доказательству проблематичности классического определения знания, но отрицать наличие здесь концептуальных трудностей не приходится. Вместе с тем, проблемы в характеристике знания и когнитивных особенностей обоснования приводят и к проблемам в рассмотрении оснований долженствования, по крайней мере, в практическом плане.

¹⁷ Parfit D. On What Matters. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – V. 1. – P. 34–35.

¹⁸ Геттиер Э. Является ли знание истинное и обоснованное мнение? // Аналитическая философия. Становление и развитие. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – С. 231–233.

В каком-то отношении трактуемая подобным образом нормативность ближе к классическому пониманию нормативности, в частности, морали, как долженствования, основанного на знании. Очевидно, что здесь имеется в виду не позитивистское сведение долженствования к достоверно известным фактам, связь нормативности и знания о мире выражена отчетливо уже в самой идее блага как наиболее общей характеристике мира идей у Платона. Во всяком случае, нормативность часто предполагает не только, и возможно даже не столько субъективную рациональность, а нечто большее, каким-то образом находящееся вне субъекта, значимое для субъекта, и при этом требующее от субъекта фактически невозможного – восприятия этого источника нормативности, не искаженного ни когнитивными, ни психологическими, ни физическими ограничениями субъекта.

Более того, даже нормативность при ее реализации также опирается на когнитивные процедуры, поскольку требуется истолковать значение самой нормы, которое всегда выражено в определенной языковой форме, а поэтому может по-разному пониматься и с точки зрения условий реализации, и с точки зрения предписываемого поведения в данных условиях. Особую значимость здесь приобретает тот факт, что в роли субъектов могут выступать не только отдельные люди, но и социальные институты. Хотя эти заложенные в норме факты эмпирически недоступны, по существу они признаны основаниями для применения нормы и играют огромную роль, придавая смысл важнейшим социальным институтам – науке, где нормативным основанием выступает истина, праву, цель которого – справедливость, морали, нормативным ориентиром которой является добро или благо. При этом нормативные факты не только служат основанием для действия или функционирования, но и легитимируют как индивидуальные поступки, так и социальные институты.

Участие социальных институтов здесь существенно. Иногда упоминают на то, что способность осознанного нормативного отношения к миру – одна из важнейших отличительных способностей человека. Так, в связи с этим вопросом К. Корсгаард отмечает, что картина мира животного всегда нормативно проинтерпретирована, т.е. то или иное событие неотделимо от нормативного вектора или нормативной силы, сопровождающей это событие. Например, животное воспринимает другое животное как добычу, угрозу, партнера, как нечто, на что должно реагировать определенным образом – добычу должно преследовать, угрозы должно избегать, с партнером должно спари-

ваться»¹⁹. По существу, животное любой конкретный факт воспринимает как сигнал к определенному поведению, причем действуют здесь и условные, и безусловные рефлексы, и мир всегда воспринимается нормативно однозначно. В отличие от этого человек может занять рефлексивную дистанцию по отношению к факту и только после этого принять решение – сделать или не сделать этот факт нормативным основанием для действия.

Например, идущий дождь может стать, но может и не стать основанием воспользоваться зонтом. Таким образом, в этой модели мы сами принимаем решение о том, какие факты считать нормативным основанием, а не пытаемся усмотреть их в природе вещей. Таким образом, возникает проблема определения источников и механизмов действия нормативности. Мы интуитивно различаем представления о сущем и должном, о нормативном и дескриптивном. Даже если мы не употребляем таких слов, представления о нормативности являются не только частью научного или философского, но и повседневного дискурса. Мы оцениваем мнения или высказывания других людей с точки зрения того, как они, по нашему мнению, должны думать или говорить. Оцениваем моральные и правовые нормы, политические решения с точки зрения того, как они должны приниматься.

Сам термин «нормативность» появился в философском языке относительно недавно. Философские проблемы наблюдаются повсюду – это и проблема «следования правилу» (rule-following) в философии языка, и проблема специфики правовых норм в философии и теории права, и поиски источника нормативности наших моральных и политических обязательств. Исследовательские акценты очень разные – это и прагматическая успешность, и поиски содержательных оснований – того, что мы должны делать и как мы должны думать (т.е. поиски норм нормативной рациональности). И, конечно, поиски источников и механизмов нормативности.

Источники нормативности выходят на первый план, когда говорят о нормативной силе некоторого правила. Если признать, что переход от фактов к нормам невозможен, то возникает вопрос: на чем же тогда основывается нормативная сила обязательств? На современном языке эта проблематика формулируется как поиск источников нормативности, причем нормативности самого разного рода – от лин-

¹⁹ Korsgaard C.M. *The Constitution of Agency*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 4.

гвистической (нормативность значения) до правовой и моральной. Сомнения относительно значения нормативных правил для объяснения и предсказания человеческого поведения проистекают из многих источников. Но основное сомнение, опять же, связано с наличием фундаментального разрыва между фактами и ценностями, между тем «что есть» и «что должно быть». Кроме того, даже когда нечто переходит из сферы фактического в сферу долженствования, могут возникать сомнения относительно действительных причин такого перехода. Другими словами, даже когда нечто становится таким, каким оно «должно быть», это еще не говорит о том, что причина этого – соблюдение правил (нормы). Такой вывод был бы примером типовой логической ошибки “*post hoc, ergo propter hoc*”. Уже это простое правило может быть причиной для стремления объяснить поступки исключительно фактическими обстоятельствами, в связи с невозможностью найти логические основания. Проблема заключается еще и в том, что сторонники идеи нормативности, то есть те, кто отстаивает ее независимую природу, ссылаясь на самые разные примеры нормативности – и нормы языка, и правила игр, и нормы, образующие правовые системы, ссылаются при этом на них как на часть фактически наличных обстоятельств²⁰.

Проблема источника в этом понимании возникает тогда, когда мы возможно признаем истинность или справедливость того или иного правила, нормы или закона, но не ощущаем нормативной силы, с необходимостью принуждающей нас к соответствующему действию. Другими словами, центральная проблема в том, каким образом те или иные требования, (например, моральные) могут стать основанием для действия.

В принципе, некоторые ответы известны. Это, например, кантовский вариант, связывающий нормативность морали с автономией воли, которая устанавливает правила. В других толкованиях (например, в праве) акцент может делаться на неинструментальных причинах следования правилу или норме, например, при традиционной или харизматической легитимации власти, устанавливающей законы. Еще один из способов перехода от понятия нормы к понятию нормативности – это статистическое понимание нормы. Статистически нормальное поведение (например, езда по определенной стороне до-

²⁰ *Sayre-McCord G. Normative Explanations // Social Rules: Origin, Character, Logic, Change / Ed. by D. Braybrooke. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 36–38.*

роги) становится нормативным требованием, решая, таким образом, проблему координации поведения. В этой ситуации социальная функция нормативности очевидна – регулирование поведения для координации возможных действий индивидов.

В первом приближении можно выделить по крайней мере три вида нормативности, по сравнительной силе рациональных (когнитивных) оснований. Сильная нормативность имеет место в том случае, когда рациональность требует выполнить действие А, и субъект должен поступить соответствующим образом, т.е. выполнить действие А. «Должен» – это стандартное выражение для идеи нормативности. Другая, менее строгая нормативность определяется так: если рациональность требует от субъекта некоторого действия А, то само это требование (рациональности) становится для субъектом мотивом или резонансом, т.е. основанием совершить такое действие, условием либо необходимым, либо достаточным. Тем не менее, это менее сильный вид нормативности, так как ослабляется осознанием мотивов, их принятием. В частности, в случае такой менее сильной нормативности требования рациональности могут вступать в конфликт с нормативными требованиями, порождаемыми другими источниками, например, моралью, правом, личным жизненным опытом и т.д. Отдельный вопрос – насколько такие конфликты нормативных оснований распространены в реальной жизни, поскольку можно предположить, что в таких потенциально конфликтных ситуациях рациональность начинает регулировать эпистемическую сферу, обеспечивая непротиворечивость намерений, мнений и оснований, а практическое действие регулируется нормами, полученными из других источников. Наконец, еще более слабый вид нормативности может быть сформулирован следующим образом: если рациональность требует от субъекта некоторого конкретного поступка А, то у него появляется основание совершить А. Это самый слабый вид нормативности, поскольку этим основанием является не сама рациональность, а некоторые дополнительные, возможно, внешние обстоятельства. В отличие от «умеренного» случая, рациональность не является здесь привилегированным источником нормативности, имеющим приоритет над другими поставщиками оснований и резонансов, ее можно квалифицировать в отдельных случаях даже как повод для поступка. Рациональность выступает здесь лишь одним из источников, и такое основание может быть преодолено другими резонансами, поступившими из других источников.

Возможна другая трактовка нормативности, когда акцент делается не на поиске источников нормативности, но, как мы уже отмечали ранее, на вопросе о корректном применении норм, в частности, когда на первый план выступает «...проблема согласования норм и конкретных случаев в связи с обоснованием нормативных систем... [эта проблема] возникла в середине прошлого столетия вовсе не в моральных или других аксиологических контекстах, а наоборот, в эпистемических контекстах, в теории познания, при попытке обоснования законов логики»²¹.

В социальном конструктивизме Дж. Сёрля ключевую роль играет различие между двумя типами правил – регулятивными и конститутивными, которое впервые было использовано в авторской версии концепции речевых актов²². Различие между двумя типами правил он определяет следующим образом: «Одни правила регулируют формы поведения, которые существовали до них; например, правила этикета регулируют межличностные отношения, но эти отношения существуют независимо от правил этикета. Другие же правила не просто регулируют, но создают или определяют новые формы поведения. Футбольные правила, например, не просто регулируют игру в футбол, но, так сказать, создают саму возможность такой деятельности или определяют ее. Деятельность, называемая игрой в футбол, состоит в осуществлении действий в соответствии с этими правилами; футбола вне этих правил не существует. Назовем правила второго типа конститутивными, а первого типа регулятивными. Регулятивные правила регулируют деятельность, существовавшую до них, – деятельность, существование которой логически независимо от существования правил. Конститутивные правила создают (а также регулируют) деятельность, существование которой логически зависимо от этих правил»²³. В наиболее развитом виде идея рациональности как способа не только согласования, но и обоснования норм, которые другие теоретики квалифицируют как базовые, на наш взгляд изложена Д. Ролзом в так называемой концепции «рефлексивного равновесия». Само выражение «рефлексивное равновесие» стало очень по-

²¹ Карпович В.Н. Рефлексивное равновесие и пределы социальной ответственности // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. – 2005. – Т. 3, вып. 1. – С. 32.

²² Сёрль Дж. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1986. – Вып. 17. – С. 151–169.

²³ Сёрль Дж. Указ. соч.

пулярным после выхода в свет книги Ролза «Теория справедливости» и, по сути, представляет собой описание не только морального, но и общетеоретического рассуждения. Эта процедура представляет собой способ достижения общественного согласия, путем приведения в согласие общих моральных принципов и суждений, касающихся конкретных ситуаций выбора. Следующая длинная цитата позволит познакомиться с характеристикой самого Дж. Ролза: «В поисках наиболее предпочтительного описания этой ситуации мы идем с двух сторон. Мы начинаем с такого ее описания, которое представляет общепринятые и предпочтительно слабые условия. Мы смотрим тогда, достаточно ли сильны эти условия, чтобы дать значимое множество принципов. Если это не так, мы ищем другие равно разумные предпосылки. Но если это все-таки так, и эти принципы согласуются с нашими убеждениями о справедливости, тогда все в порядке. Однако такого согласования может и не быть. В этом случае мы имеем выбор. Мы можем либо модифицировать описание исходного положения, либо ревизовать наши существующие суждения, потому что даже суждения, взятые нами временно в качестве базисных, могут быть изменены. Совершая подобные челночные движения – то изменяя условия договорных обстоятельств, то изменяя наши суждения и подчиняя их принципам, рано или поздно мы находим такое описание исходного состояния, которое выражает разумные условия и дает принципы, отвечающие нашим суждениям, должным образом откорректированные и адекватные ситуации. Такую процедуру я называю рефлексивным равновесием. Это равновесие, потому что, наконец, наши принципы и суждения совпадают, и оно рефлексивно, потому что нам известно, каким принципам отвечают наши суждения, а также посылки их вывода»²⁴.

Рефлексивное равновесие – динамический процесс, который имеет сразу две отправные точки, каждая из которых может быть оспорена, поставлена под сомнения, уточнена. Задача – выстроить непротиворечивую, согласованную концепцию, не цепляясь ни за один из этих начальных пунктов. Применительно к размышлениям о справедливости рефлексивное равновесие достигается тогда, когда мы добиваемся соответствия между условиями выбора и нашими интуитивными представлениями о справедливости. Таким образом, моральные принципы обосновываются не путем указания на то, что они

²⁴ Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: изд-во НГУ, 1995. – С. 33.

соответствуют некоторой вечной или божественной природе, не выводятся они и из каких-либо априорных принципов. Обоснование заключается в том, что мы показываем, каким образом эти принципы являются частью непротиворечивой теории. При этом мы не претендуем на окончательную истину. Более того, метод рефлексивного равновесия как раз и представляет собой попытку избежать трудностей, связанных с претензией на истину в последней инстанции. Это достигается благодаря тому, что он позволяет нам избежать абсолютизма с одной стороны (делая акцент на принципах), и релятивизма с другой (доверяя в каждом конкретном случае только нашим моральным интуициям). При этом принципы, выбранные в этой ситуации, – это принципы чистой процедурной справедливости, другими словами, у нас отсутствует какой-либо независимый критерий для оценки этих принципов. Те, принципы, которые будут выбраны в исходном положении, и будут принципами справедливого распределения социальных ресурсов самого разного рода.

Рефлексивное равновесие – это модель теоретического размышления, в значительной степени аналогичная гипотетико-дедуктивному методу в науке. Мы начинаем с интуиций (аналог фактов в науке) по поводу того, как мы поступаем в тех или иных конкретных ситуациях. После этого мы пытаемся понять, какие принципы лучше всего могут объяснить наши интуиции (аналог теоретической гипотезы), и принимаем их в качестве моральных основоположений. Затем мысленно видоизменяем ситуацию и вновь проверяем наши интуиции по поводу поведения уже в новой ситуации на соответствие этим моральным принципам. Этот метод представляет собой своего рода качели, которые никогда не будут находиться в состоянии полного равновесия. Хотя метод и называется «рефлексивное равновесие», понятно, что полное соответствие между нашими моральными интуициями и принципами – это идеальное, желаемое состояние. На самом деле всегда остается некоторый зазор. И мы постоянно то видоизменяем принципы, то отказываемся от некоторых интуиций по поводу того, как правильно вести себя в той или иной ситуации.

Еще одна аналогия, которую сам Дж. Ролз считал удачной для объяснения того, как именно работает этот прием – это пример лингвистической теории. В лингвистической теории первичные данные – это интуиции носителей языка в отношении грамматической правильности. Отталкиваясь от этих интуиций, лингвист создает теорию, описывающую грамматику языка, после чего, в соответствии с этой

теорией конструирует новые предложения. Затем проверяет эти новые предложения на правильность, опрашивая носителей языка. В случае согласия носителей языка с этими принципами, он переходит к дальнейшей работе.

Таким образом, круг замыкается. Нормативность требует обоснования, а обоснование предполагает нормативность. Фактическое может входить в нормативное многообразно: и как составная часть – в виде обстоятельств конкретизации нормы; и как источник нормативности – в виде нормативной силы самого правила; и как способ формирования системы норм в ситуации рефлексивного равновесия в публично открытом пространстве аргументационного сообщества.

Дж. Ролз определяет смысл (политического) конструктивизма следующим образом: «Принципы политической справедливости являются результатом процедуры конструирования, посредством которой рациональные индивиды (или их представители), будучи поставлены в определенные рамки, принимают принципы для регулирования основной структуры общества»²⁵. Хотя речь здесь идет о политической справедливости, но фактически Дж. Ролз пишет о балансе прав и обязательств людей по отношению к друг к другу, точнее о поиске перекрещивающегося консенсуса в условиях отсутствия согласия по поводу базовых социальных ценностей. Конструирование обязательств начинается с принятия некоторых исходных посылок о реальности, человеческой природе и оптимальном выборе. Примечательна в этом отношении статья Дж. Ролза «Конструктивизм в кантовской моральной теории», увидевшая свет в 1980 г., почти через десять лет после публикации «Теории справедливости». Статья фактически представляет собой переработанные лекции, прочитанные Дж. Ролзом в Колумбийском университете в апреле 1980 года. Сожалея о том, что неправильное понимание конструктивизма Канта препятствует развитию этического знания, автор следующим образом определяет свое построение «Теории справедливости» в духе кантианского конструктивизма. Исходным пунктом конструирования является «...определенная концепция человека, являющаяся элементом в разумной (reasonable) процедуре конструиро-

²⁵ Rawls, J. Political Liberalism. – P. XXII. Цит. в переводе Б.Н. Кашникова. См.: Кашников Б.Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика России. – Великий Новгород, 2004. – С. 214.

вания, исход которой определяет содержание первых принципов справедливости»²⁶.

Сам Дж. Ролз в «Теории справедливости» пояснял, что такой кантианский конструктивизм для него является альтернативой «рациональному интуитивизму», способом обосновать объективность моральных утверждений, причем принципиально важным является здесь именно способ обоснования – оно противопоставляется интуитивистскому подходу, в рамках которого моральные истины считаются самоочевидными и неподвластными открытию с помощью разума и рациональных процедур. Кроме того, в таком кантианском конструктивизме сохраняется попытка сохранить идею автономии субъекта, так как принципы справедливости являются здесь результатом объективной процедуры рассуждения, причем эта процедура воплощает в себе все основные характеристики практического рассуждения. Моральные утверждения являются обоснованными или истинными не потому, что они являются отражением какого-то мира независимых от человека моральных фактов, а потому, что согласуются с принципами, которые могут быть приняты полностью рациональными индивидами в ходе объективной процедуры практического рассуждения. Дж. Ролз полагает, что существенным элементом такой процедуры по праву может считаться предлагаемое им «исходное положение», которое и наделяет суждения справедливости статусом объективности.

Следует подчеркнуть, что противопоставление конструирования теории ее открытию или нахождению законов или принципов в реальном, внешнем мире, вовсе не означает отказа от объективности этих принципов. В моральной философии конструктивизм как раз и понимается как попытка объяснить, почему те или моральные принципы или стандарты имеют силу, и почему они объективны. Расхождение с позицией реалиста заключается здесь в том, что эти принципы не являются отражением или какой-то иной репрезентацией независимого мира моральных фактов, которые бы существовали до морального рассуждения, тем не менее, они верны в рамках конкретной моральной теории. Кантианский конструктивизм Ролза включает такие необходимые элементы как вполне определенную концепцию человека как автономного, свободного, рационального

²⁶ Rawls J. Kantian Constructivism in Moral Theory // The Journal of Philosophy. – V. 77, Issue 9 (Sep. 9, 1980). – P. 516.

и морально озабоченного субъекта, который в процессе рассуждения пытается формулировать и обосновывать принципы поведения, которые, как мы уже замечали выше, и станут ответом на ту самую «нормативную проблему», с которой сталкивается каждый ответственный моральный индивид.

При такой конструктивистской работе данные, те «строительные блоки», с которыми работает социальный философ, бывают двух видов. Во-первых, это суждения или интуиции, касающиеся принципов, например принцип равного уважения всех людей или принцип, согласно которому люди вправе пользоваться результатами собственного труда, или какие-то общие, ценностные принципы, например принцип, согласно которому высшей ценностью объявляется человеческое счастье. С другой стороны, философ вынужден опираться на более частные суждения, например о том, что рабство, произвольный арест, преследование по религиозным мотивам – недопустимы. Особо стоит подчеркнуть то, что элементы конструкции как первого, так и второго вида – продукт рефлексии и, конструируя принципы справедливости и основанную на них систему взаимных прав и обязательств, философ должен каким-то образом снимать возникающие между ними конфликты.

Идея, метафора конструирования, строительства, созидания оказалась очень популярной в философской литературе 20-го века. Причем самые интересные следствия получились не тогда, когда конструктивизм понимался только лишь как констатация о том, что любой сложный объект представляет собой некоторую физическую или логическую конструкцию, состоящую из нескольких более простых частей, а при таком понимании конструктивизма, когда он трактуется как реализация творческих потенций человеческого разума. Рассмотрение социальных обязательств в контексте проблемы нормативности позволяет увидеть, что одной из основной проблем становится поиск источников нормативности обязательств, о чем и пойдет речь в следующем параграфе.

От «сущего» к «должному»: варианты перехода

Перевод разговора в нормативную плоскость вновь вынуждает обсуждать традиционные философские вопросы – о том, каковы те источники нормативности, обязательности положений,

которые люди предъявляют друг другу (и себе) в виде норм и обязательств? В чем же трудность разговора о нормативном плане человеческого поведения?

Проблему можно считать «нормативной», когда речь идет о легитимности норм, претендующих на то, чтобы регулировать наше поведение в моральной и политической сфере. Если формально-логический переход от фактов к нормам невозможен, то возникает вопрос: на чем же тогда основывается нормативная сила обязательств? На современном языке эта проблематика формулируется как поиск источников нормативности, причем нормативности самого разного рода – от лингвистической (нормативность значения) до правовой и моральной. Сомнения относительно значения нормативных правил для объяснения и предсказания человеческого поведения проистекают из многих источников. Но основное сомнение, опять же, связано с наличием фундаментального разрыва между фактами и ценностями, между тем «что есть» и «что должно быть». Кроме того, даже когда нечто переходит из сферы фактического в сферу долженствования, могут возникать сомнения относительно действительных причин такого перехода. Другими словами, даже когда нечто становится таким, каким оно «должно быть», это еще не говорит о том, что причиной этого явилась искомая «нормативная тяга». Такой вывод был бы примером типовой логической ошибки “*post hoc, ergo propter hoc*”. Трудности установления действительной причины поступка ведут к желанию приписать объяснительную силу только фактическому. Проблема заключается еще и в том, что сторонники идеи нормативности, то есть те, кто отстаивает ее независимую природу, ссылаясь на самые разные примеры нормативности – и нормы языка, и правила игр, и нормы, образующие правовые системы, при этом ссылаются на них как на часть фактичности²⁷.

Обычно формулировку этой проблемы в явном виде приписывают Д. Юму, который указал на некорректность перехода от утверждений о сущем к утверждениям о должном. Некоторая неопределенность формулировок позволила трактовать это «правило Юма» как исключительно формально-логический тезис, что дало возможность вступить с классиком в научную полемику. Так, новозеланд-

²⁷ *Social Rules: Origin, Character, Logic, Change*. Ed. by D. Braybrooke. – Westview Press. Boulder, 1996. – P. 36–37.

ский философ и логик А. Прайор предложил следующие варианты логического перехода от утверждения о фактах к утверждению о должном²⁸:

Пример 1

Чаепитие популярно в Англии.

Либо чаепитие популярно в Англии,
либо всех новозеландцев следует расстрелять.

Пример 2

Сотрудники похоронного бюро – служители церкви.

Сотрудники похоронного бюро должны делать все то,
что должны делать служители церкви.

Впрочем, и сам А. Прайор, и участники дискуссии признавали, что если такое решение и можно назвать решением «проблемы Юма», то лишь по форме, но не по существу, так как Д. Юм, как представляется, имел в виду не только логический, но и семантический тезис – о невозможности вывода моральных предписаний из фактических суждений с моральными или оценочными терминами.

Упомянутую выше проблему Д. Юма по переходу от сущего к должному можно попытаться преодолеть с помощью логико-лингвистического аппарата. В этом случае мы пытаемся найти некоторые типы высказываний, структурно преодолевающие проблему нормативности, то есть разрыв между фактами и нормами. Здесь можно вспомнить один из наиболее известных способов перехода от утверждений со связкой «есть» к утверждениям со связкой «должен», который был предложен Дж. Сёрлем как реконструкция трехходовой процедуры – высказывание обещания, самообязывание, переход в модус долженствования. Причем переход от обещания в модус долженствования происходит автоматически, в силу семантики понятия «обещание». Связывая себя обещанием, компетентный носитель языка автоматически переносит соответствующее действие (предмет обещания) в модус долженствования, аналогично тому, как произнесение высказывания «X – треугольник» имеет ло-

²⁸ *Prior A. N. The Autonomy of Ethics // Australasian Journal of Philosophy. – 1960. – 38 (3). – P. 199–206.*

гические следствия, а именно – принятие утверждения о наличии у данной геометрической фигуры трех сторон²⁹. Важно подчеркнуть, что Дж. Сёрль подчеркивает именно автоматизм такого перехода, отмечая отсутствие какой-либо «субъективности» автора высказывания в виде морального решения или иного дополнительного действия. Говоря «это треугольник», мы принимаем утверждение, что у него три стороны. Делая обещание, мы связываем себя обязательством. Аналогично этому, высказывание «он дал обещание» содержательно эквивалентно высказыванию: «он взял на себя обязательство». При этом Дж. Сёрль особо отмечает, что в результате такого перехода в план долженствования не предполагается никакой субъективности³⁰.

Такой формальный подход при всей его элегантности вряд ли можно считать полностью удовлетворительным ответом на вопрос об источниках социальной нормативности, если только не рассматривать понятие «обещание» очень расширительно – как акт гипотетического взаимного самообязывания в некоторой гипотетической ситуации общественного договора. Вообще говоря, обещание относится к классу перформативных высказываний, который кроме собственно обещаний включает, например, и клятвы³¹. Аналогичные акты, схожие по иллокутивной силе, – присяги, обеты, зароки, посулы, гарантии и др. Общий интенциональный смысл, объединяющий высказывания этого типа – «взять на себя обязательство сделать что-либо». Если обещание – один из распространенных речевых актов, то клятва интересна тем, что представляет собой ритуализированное выражение интенции обязательства. Интересно, что исторически клятва играла роль важного связующего элемента социального взаимодействия, своего рода «социального клея». Так, немецкий историк Средневековья О. Эксле описывает клятвенные обязательства Средневековья как один из основных элементов социальной организации в Средние века: «Структура средневекового “общества” в очень большой степени образована за счет плотной сети

²⁹ Searle J. How to derive an «Ought» from An «Is» // Philosophical. – Review 73, 1964. – P. 43–58.

³⁰ Searle J. Speech acts: an Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge University Press, 1969. – P. 194.

³¹ Галлямова Н.Ш. Речевой акт «обещание, клятва» в русской языковой картине мира: лингвокультурологический, функционально-прагматический аспекты // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 3 (11). – С. 16–32.

клятвенно данных обязательств, которые создают и регулируют отношения индивидов между собой. Промиссивная клятва может лежать в основе “вертикальных”, т.е. иерархических, и “горизонтальных”, т.е. паритетных, социальных связей³². При этом взаимные эксплицитные клятвенные обещания служили образованию не только больших сообществ, но и узкопрофессиональных.

Полный анализ нормативности обязательств требует рассмотрения двух взаимоувязанных факторов – с одной стороны, источников нормативности, с другой – типов рациональных оснований (резоннов). Один из основных вопросов – это вопрос о мотивации того или иного действия или отношения. Нормативность здесь заключается в том, что для любого обязательства, как и для любого действия, мотивирующая сила должна быть достаточной для выполнения действия (или соблюдения обязательства, как частного случая). Резоны, мотивирующие действие, т.е. действительно обеспечивающие его, также можно назвать «нормативными резонами»³³. Если есть хорошие основания для выполнения действия, их можно считать нормативными основаниями. При этом «резоны» нормативны в двух смыслах – как с точки зрения каузальности, являясь причиной или стимулом для выполнения действия, но также и с точки зрения того, что они могут одновременно задавать критерии оценки этого действия, оценивая его как обоснованное или необоснованное и, следовательно, правильное или неправильное. При этом нужно различать мотивационные и нормативные основания³⁴. Нормативное основание – то, которое делает действие должным или правильным, а обязательство – разумным. Хотя они могут совпадать, но, тем не менее, это два разных способа объяснять и понимать человеческое поведение. Проблема социальной нормативности – часть более общей «проблемы нормативности», которая часто формулируется как проблема перехода от сущего к должному, от дескриптивных или фактических утверждений к предписаниям или оценкам.

³² Экле О.Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – С. 101.

³³ В своей книге Дж. Данси приводит исторический обзор различий между нормативными и мотивационными резонами. См.: *Dancy J. Practical Reality*. – Oxford: Oxford University press, 2004. – P. 20–25.

³⁴ *Ibid.* – P. 8.

Источники нормативности

Определение нормативных источников нашего поведения, в том числе источников социальных обязательств, представляет не только теоретический интерес. Идея нормативности широко используется в качестве оценочной и объяснительной схемы человеческого поведения, при этом часто в этой функции она одновременно выступает как в роли метафизики, так и философской антропологии. Фундаментальный философский интерес, поэтому, вызывает статус самой идеи нормативности, фактически представляющей собой обязательство самого общего рода, предъявляемое каждому из нас в качестве императива рациональности.

Обратимся теперь к анализу возможных источников нормативности социальных обязательств. Поиски источников деонтологической нормативности ведутся в нескольких направлениях. Так, например, уже упоминавшаяся выше американский философ К. Корсгард³⁵ как и многие другие авторы, начинает с обращения к праву, которое, на первый взгляд, представляет собой наиболее чистый и очевидный пример торжества нормативности. Правовой нормативизм нередко трактуется как волюнтаризм. В рамках этого подхода норма понимается и воспринимается как требование чьей-то воли, которая имеет право повелевать или приказывать. Это может быть как божественная воля, так и воля политического суверена. Мы знаем и немало классических примеров общефилософского обсуждения подобных проблем. Вопросы о том, что делает закон законом, следует ли подчиняться несправедливому закону и им подобные активно обсуждаются на протяжении всей истории философии. Сразу же следует отметить, что в наши дни область возможных ответов на этот вопрос довольно ограничена. Такие, например, ответы как «божественный авторитет», да и вообще любые ответы, содержащие ссылку на волю харизматичного законодателя, вряд ли будут восприняты как убедительные в современном светском и демократическом обществе. Ю. Хабермас, обсуждая возможные источники моральной нормативности, также отмечает, что в современных дискуссиях прояснение моральной точки зрения невозможно путем обращения к авторитету божественных моральных предписаний. «Моральная точка зрения

³⁵ Korsgaard C.M. *The Sources of Normativity*. – Cambridge University Press, 1996.

призвана реконструировать эту перспективу внутри мира, т.е. ввести ее в границы мира, intersubjectively общего для всех нас, не теряя при этом возможности дистанцироваться от мира в целом, а значит – без ущерба для универсальности мирообъемлющего взгляда»³⁶.

Вторая позиция – реализм, в рамках которой моральные принципы или формулировки являются обязывающими только в том случае, если они истинны, а истинны они только тогда, если существуют описываемые ими «моральные факты». Таким образом, нормативные требования в качестве предпосылки включают утверждение о существовании некоторых нормативных сущностей – например, ценностей или фактов. Трудности здесь, как известно, состоят в обнаружении и достижении общественного согласия относительно этих самих неоспоримых «моральных фактов». Причем это далеко не только проблема метаэтики, но и предмет содержательных размышлений. Например, в качестве примера такого объективного морального факта известный английский этик Ф. Фут приводит Холокост³⁷. Сюда же можно отнести и концепции, выводящие нормативность из самой человеческой природы, причем не только классические (естественный закон), но и современные. Например, М. Хаузер в работе «Мораль и разум» (*Moral Minds*) постулирует наличие некоторой универсальной «моральной грамматики», во многом аналогичной универсальной грамматике Н. Хомского. Уже во *Введении* он так определяет суть своей исследовательской гипотезы: «Я утверждаю, что наши моральные способности включают универсальную моральную грамматику, набор средств для построения определенных моральных систем. После того как мы овладели конкретными моральными нормами нашей культуры – что представляет собой процесс, более похожий на отращивание конечности, нежели на заучивание пороков и добродетелей в воскресной школе, – мы можем судить какие действия являются допустимыми, обязательными или запретными – без осознанного размышления и без явного обращения к фундаментальным принципам»³⁸. При этом видимое разнообразие моральных систем объясняется, опять

³⁶ *Хабермас Ю.* Вовлечение другого: очерки политической теории. – СПб.: Наука, 2001. – С. 57.

³⁷ *Foot Ph.* *Moral Dilemmas and Other Topics in Moral Philosophy.* – Oxford: Clarendon Press, 2002. – P. 32.

³⁸ *Hauser M.D.* *Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong.* Ecco. – HarperCollins Publishers, 2006. – P. VIII.

же, по аналогии с разнообразием языков, в принципе выражающими одни и те же общие смыслы, однако внешне разными, отчего могут возникать «трудности перевода» и, как следствие, непонимание. «Межкультурные различия в выражении моральных норм подобны межкультурным различиям в языках, которыми они пользуются: обе системы позволяют членам одной группы обмениваться идеями и ценностями друг с другом, но не с членами другой группы»³⁹.

Третий возможный источник нормативности обязательства – его рациональное обоснование (рефлексивное одобрение). Здесь содержательное обязательство принимается только в том случае, если оно удовлетворяет определенным канонам рациональности или рациональным процедурам ее принятия. Попытки показать, что содержание обязательств выводимо из правил рациональности бывают очень разные. В принципе, любое требование обоснования – это уже требование предъявить аргументы. Но от того или иного понимания рациональности зависит конкретная форма обоснования. В самом общем виде рациональность может пониматься как презумпция. Предполагается, что люди в обществе ведут себя рационально и источником моральной нормативности служит именно эта презумпция рационального поведения.

И, наконец, четвертая позиция – обоснование нормативности обязательства путем апелляции к автономии субъекта. Это, пожалуй, наиболее интересный случай, именно здесь нормативность сближается с конструктивизмом. Нормы не находятся во внешнем мире, а выводятся, созидаются, конструируются человеческим разумом и волей на основе способности к автономному выбору или решению. Так, уже упоминавшаяся здесь К. Корсгаард связывает нормативность с деятельностью воли (вполне кантианский подход). Она полагает, что обязательным условием «легитимности» тех или иных норм является акт их добровольного одобрения и принятия. В принципе, такую позицию можно считать вариантом конструктивизма, т.к. согласно К. Корсгаард, нормативным для субъекта тот или иной принцип делает именно его добровольная приверженность этому принципу и решение воплотить его в действие⁴⁰. Таким обра-

³⁹ Ibid. – P. 420.

⁴⁰ Korsgaard C. M. Realism and Constructivism in Twentieth-Century Moral Philosophy // APA Centennial Supplement to the Journal of Philosophical Research. – 2003. – P. 99–122.

зом, главная роль, отводимая воле – быть источником нормативности. Воля определяет, что именно будет служить основаниями для поведения, отбирая рациональные резоны для действия. В этом отношении конструктивизм может быть противопоставлен моральному реализму, согласно которому эти принципы имеют нормативную силу вовсе не благодаря нашей приверженности им, их нормативная сила предшествует и независима от наших решений в отношении собственных действий.

Хотя обсуждение исторических концепций норм не входит задачу данной работы, следует также вкратце упомянуть о двух различных подходах к нормативности как таковой – в античной философии и немецком идеализме. В платонической традиции норма – некоторый неизменный принцип, парадигма. Норма связана с метафизической идеей блага. Открытием же немецкого идеализма стало понимание того, что нормы, для того, чтобы они имели обязывающую силу, не могут быть совершенно внешними по отношению к субъекту. Любое нормативное требование должно быть пропущено через разум (или чувства) того субъекта, к которому оно обращено. Конечно, в первую очередь, это позиция И. Канта. Таким образом, нормативность может быть понята двояко – либо как некоторый социальный конструкт, создаваемый или добровольно принимаемый людьми в процессе рационального рассуждения и волевого действия, либо в традиции реализма – как нечто, что, по выражению Р. Рорти, не «делается», а «находится» в мире. Прекрасным образцом нормативизма «найденного» может служить естественно-правовая традиция, когда некоторая эмпирическая реальность (например, государство) объясняется посредством более глубокой реальности, например подлинной природы вещей, естественного закона и т.п. Эта подлинная реальность существенно отличается от реальности эмпирической, она задает нормативные стандарты для последней. При этом важно отметить то, что современное понимание этой традиции не обязательно предполагает неизменный характер этой первичной, подлежащей и детерминирующей реальности.

В таком понимании нормативности есть и преимущества, и изъяны. Привлекательность этого подхода в том, что подлинность этой более фундаментальной реальности автоматически гарантируется ее трансцендентной природой. В то же время, существование этой подлинной, трансцендентной реальности очень легко поставить под сомнение. При этом любые аргументы, апеллирующие к социологиче-

ской нормативности, т.е. каким-то более фундаментальным нормативным представлением, которыми в действительности руководствуются или которые разделяют определенные, исторические конкретные сообщества людей, будут отвергнуты самими сторонниками реализма как недостаточно «подлинные».

В рамках конструктивистской парадигмы нормативности сам процесс формулирования норм – один из важнейших показателей нравственного прогресса или регресса человечества. Расширение области морально допустимого – лишь одна тенденция, характеризующая современное общество. Но наряду с этим возникает и нетерпимость человечества к тем сторонам жизни, которые ранее считались приемлемыми. Так, А. Бродский в статье, посвященной проблемам нормативности морали, обращает внимание на то, что «...нравственный прогресс состоит не только в нравственном детабуировании некоторых социальных норм, но и в создании новых «табу», новых кодексов морали. Человечество стало более не терпимо ко многим явлениям жизни, которые еще несколько веков назад казались само собой разумеющимися: к пыткам, к мучительным видам казней, к уничтожению мирного населения во время войн и т.п. А в наши дни в сфере медицины, экологии, демографии вырабатываются такие нормы, о которых еще сто лет назад никто не мог и подумать. Таким образом, нравственный прогресс состоит не только в расширении морали, но и в ее «сужении», в определенном нормотворчестве»⁴¹. При этом моральные суждения обычно считаются как раз классическим видом нормативного суждения, они не только сообщают нам о том, каков мир (т.е. описывают его), но и говорят о том, каким он должен быть (предписывают). Понятно, что в первую очередь эта предписывающая сила направлена на действия человека, причем эффективность предписания будет зависеть от многих факторов – от воспитания, от согласованности конкретных моральных предписаний с общекультурными нормами. С философской точки зрения интересна связь предписывающей силы таких высказываний с моральным суждением, моральной аргументацией.

⁴¹ Бродский А.И. Нормативная этика. От объективизма к конструктивизму // Этическая мысль: Ежегодник. РАН. Ин-т философии. Отв. ред. А.А. Гусейнов. – М., 2000. – С. 153–154.

Обязательства как парадигма нормативности

Как уже отмечалось, говоря о социальной нормативности, акцент можно делать либо на правах, либо на обязательствах. Если мы говорим о праве на свободу слова, например, то очевидно, мы ожидаем, что, как минимум, на других людей будут наложены соответствующие обязанности не мешать реализации этого права, а в более сильном варианте – и обязанности способствовать тому, чтобы мы могли этим правом воспользоваться. Если мы говорим о праве, например, на достойную старость, то имеем в виду, что какие-то субъекты действия (государственные или частные) должны иметь соответствующие обязанности продумать такие схемы и механизмы, чтобы это наше право не осталось пустой формальностью. Рассмотрим концепцию У. Хохфельда, который в 1919 г. в ставшей классической работе «Fundamental Legal Conceptions»⁴² аналитически выделил в праве несколько нередуцируемых друг к другу смыслов. У. Хохфельд выделил четыре базовых типа права, каждый из которых имеет уникальный коррелят. Он предложил такие пары: право – обязанность, неправо – привилегия, власть – ответственность и иммунитет – неправоподобность. Во-первых, право можно понимать как правовое требование, коррелятом которого будет правовая обязанность какой-то другой стороны. Во-вторых, право можно пониматься как (правовая свобода) осуществлять некоторое действие. Это право фактически представляет собой отсутствие обязанности воздерживаться от осуществления определенного действия и, в свою очередь, его коррелятом является отсутствие притязания со стороны других людей на то, чтобы носитель это права воздерживался бы от выполнения этого действия. Юридическая власть (power) осуществлять некоторое действие заключается в юридической компетенции лица выполнять действие, в результате которого для второй стороны наступят некоторые юридические следствия.

Такое деление помогает понять, почему распространенное высказывание «не бывает прав без обязанностей и не бывает обязанностей без прав» является неверным. Возьмем, например, такое право как свобода совести. В рамках концепции У. Хохфельда это право

⁴² *Hohfeld W. N. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.* – New Haven: Yale University Press, 1919.

создает зону свободного выбора, не налагая при этом явных обязательств на других людей. Обязательства могут быть следствием прав, нормативным требованием, вытекающим из принятия того или иного права или группы прав. Такая трактовка лучше всего согласуется с трактовкой права в духе У. Хохфельда. Например, что следует из согласия с утверждением «каждый человек имеет право на жизнь»? По У. Хохфельду право в качестве центрального компонента включает в себя требование. Однако далеко не всегда это ясно выражено в структуре языка. Соответственно, понимание того, какие обязательства соответствуют этому, содержащемуся в требовании праву, может возникнуть только после интерпретации соответствующего права, при этом сами интерпретации являются неизбежно спорными.

Фактически речь идет не просто о достаточно тонком аналитическом различении видов прав и обязанностей, а именно о радикальной смене фокуса. Традиционно в теории считалось, (а в обыденном сознании продолжает считаться и поныне), что право обеспечивает прямую защиту действия, о котором идет речь. Но в рамках концепции У. Хохфельда требуется уточнение о том, что такое право-притязание обретает силу только в том случае, если какой-либо другой субъект не препятствует реализации этого права. При этом содержание права выражается в действии или бездействии этого второго субъекта У. Таким образом, диалектичность прав и обязательств вовсе не означает их простой соотносительности, а требует более тонкого и тщательного анализа, в том числе и механизмов порождения социальных обязательств.

Проблематика социальной нормативности очевидно междисциплинарная. Социологи рассматривают социальные функции норм и то, каким образом они мотивируют людей к действию, экономисты изучают специфику нормосообразного поведения в условиях рынка, в теории права социальные нормы рассматриваются как эффективные и малозатратные альтернативы правовому регулированию. Особый интерес вызывает использование идеи социальной нормативности в качестве объяснительной схемы⁴³.

Существует множество классификаций социальных норм. Их можно различать по содержанию, выделяя нормы моральные, правовые, профессиональные, корпоративные и другие, а также по способу

⁴³ См., например, *Эльстер Ю.* Объяснение социального поведения. Еще раз об основах социальных наук. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2011.

создания и по способу принуждения (охраны от их нарушений). Большинство норм обязаны своим происхождением различным социальным практикам или конвенциям: это языковые нормы, требования этикета, правила игр. Сюда же можно отнести и нормы позитивного права. Общий характер этих норм объясняется локальной социальной практикой, частью которой является и сфера их распространения. Эти нормы конвенциональны в том смысле, что они связывают обязательствами субъектов, которые ограничены теми или иными границами проживания. Другие нормы претендуют на преодоление локальности и конвенциональности: это требования морали, законы логики, стандарты теоретической и практической рациональности – эти нормы и стандарты претендуют на независимость от локальных особенностей, от прошлого опыта людей, их интересов или целей, в том числе и от какого-либо консенсуса – как реального, так и гипотетического⁴⁴.

И социальные нормы, и социальные обязательства могут рассматриваться как разные формы императива, явным образом предписывающего переход от сущего к должному. Однако между нормами и обязательствами имеются и важные различия. Согласно одному из стандартных толкований социальных норм, социальные нормы – это исторически сложившиеся или установленные каким-то образом стандарты деятельности, общие и постоянно действующие предписания, регламентирующие человеческое поведение. Такие нормы прямо или косвенно ориентируют индивидов на распространенные в данном обществе ценностные представления. Главное в таком толковании то, что социальные нормы трактуются как принятый *способ типизации уже имеющегося социального опыта*. Обязательства же порождаются в результате некоторого действия субъекта обязательства. Диапазон таких действий широк – от осознания необходимости или разумности некоторого предписания до решения взять на себя ответственность за то или иное положение

⁴⁴ Как отмечают некоторые авторы, трудно однозначно сказать, является ли это различие между «конвенциональными» и «транс-конвенциональными» нормами различием в типе или степени, в которой те или иные нормы определяются местными практиками. Существуют аргументы, в силу которых нормы, обычно считающиеся «транс-конвенциональными», такие как нормы морали, логики и рациональности, на самом деле черпают свою нормативную силу из общественно необходимой практики или конвенции. См.: Social Rules: Origin, Character, Logic, Change. Ed. by D. Braybrooke. – Westview Press. Boulder, 1996. – P. 37–38.

дел или осуществить явный перформативный речевой акт, такой как «я обязуюсь» или «я обещаю»⁴⁵.

Наличие у обязательств волевой составляющей, «соизволения», отмечал, например, Б. Спиноза, противопоставляя естественное и позитивное право: «Закон, зависящий от естественной необходимости, есть тот, который необходимо следует из самой природы или определения вещи; закон же, зависящий от людского соизволения и называемый удачнее правом, есть тот, который люди приписывают себе и другим, чтобы безопаснее и удобнее жить или по другим причинам. А что люди поступают своим правом, которое они имеют от природы, или их принуждают поступаться им и что они обязываются жить известным образом, то это зависит от людского соизволения»⁴⁶. Об этом писал и Д. Юм, который полагал процесс, посредством которого из чьей-то воли возникает новое обязательство», одним из самых таинственных и непостижимых: «Далее я замечу следующее: если всякое новое обещание возлагает новое нравственное обязательство на лицо, дающее его, и если это новое обязательство проистекает из воли данного лица, то это один из самых таинственных и непостижимых актов, какой только можно себе вообразить»⁴⁷. Добровольность обязательств и их осознанность, отмечают в своих работах такие современные исследователи как Р. Брандт и Г.Л.А. Харт⁴⁸. В.Н. Карпович также обращает внимание на волевую составляющую обязательств, которая может отсутствовать в понятиях «обязанность» или «долг»: «Дело в том, что в понятии “обязательство” заложен смысл, который заставляет в некоторых случаях отличать обязательство от обязанности или долга по его волевому характеру. Обязанность или долг могут возникать без волевого установления, тогда как обязательства, даже если они и навязаны, принимаются сознательно и требуют соответствующего поступка – произнесения обещания или

⁴⁵ Понятие «перформатив» введено Дж. Остиным, который определил его как «высказывание, эквивалентное действию». Примерами перформативных высказываний являются обещания, клятвы, проклятия и др. См. *Austin J. How to do things with words*. Oxford: Oxford University Press, 1962. P. 5-12.

⁴⁶ *Спиноза Б. Сочинения*. В 2-х томах. Т. 2. Изд. 2-е. СПб.: Наука, 1999. С. 54-55.

⁴⁷ *Юм Д. Трактат о человеческой природе*. Соч. в 2-х томах. Т.1. М.: Мысль, 1966. С. 564.

⁴⁸ *Brandt R. The Concepts of Obligation and Duty // Mind*, 73 (1964). P. 374-393.
Hart H.L.A. Legal and Moral Obligation // Essays in Moral Philosophy. Melden A. I. (ed.), Seattle: University of Washington Press, 1958.

подписания контракта. Не все обязанности возникают в результате обязательств, как это становится очевидным из рассмотрения моральных аспектов поведения – милосердие к ближнему или долг говорить правду не требуют специальных обязательств со стороны субъекта»⁴⁹. Такая «волевая составляющая» видна и в трактовках обязательства в духе теории речевых актов, предлагаемой Дж. Сёрлем в книге «Рациональность в действии». Раскрывая логико-лингвистическую структуру обязательства, он трактует их как разновидность речевого акта, настаивая на том, что обязательство имеет некоторую устойчивую, логико-лингвистическую структуру и не сводимо лишь к субъективным интенциям лица, берущего на себя обязательство. Тем не менее, хотя оно и не сводимо к интенциям субъекта обязательства, интенция содержится в обязательствах в качестве важнейшего компонента. Дж. Сёрль пишет: «Но почему такие обязательства, требования, ответственность связывают субъекта? Почему не может он, говоря рационально, просто игнорировать их? Почему они не относятся к прочим социальным конструктам? Потому что говорящий находится в особых отношениях со своими утверждениями, в том смысле, что он создал их как собственные обязательства. Он свободно и намеренно ограничил себя, приняв этот груз. Он может быть безразличным к чужим утверждениям, потому что сам не связан обязательствами. Но он не может быть индифферентным к истинности собственных слов, именно потому, что они обязывают его»⁵⁰.

Таким образом, первое отличие социального обязательства от социальной нормы – это добровольный или, точнее, произвольный характер обязательства. Социальное обязательство представляет собой осознанное решение субъекта, который сам определяет границы и содержание своей ответственности, в отличие от социальной нормы, где такие границы и содержание задаются, как правило, существующей социальной практикой и являются, по сути дела, воспроизводством предшествующего социального опыта.

Другая важная характеристика социальной нормы (что наиболее очевидно в правовой норме) – это ее анонимность, т. е. персонифи-

⁴⁹ Карпович В.Н. Политические обязательства как проблема философии права и философии политики // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. – Т. 5. – Вып. 2. – 2007. – С. 42.

⁵⁰ Сёрль Дж. Рациональность в действии. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 202.

цированность, обезличенность. Социальная норма не рассчитана на конкретного индивида, но распространяется на всех, являясь незапланированным результатом прошлых социальных взаимодействий. Некоторые исследователи проводят здесь параллели между социальными нормами и нормами языка. Так, К. Биччиери сравнивает социальные нормы с грамматикой социального взаимодействия⁵¹. Как и языковая грамматика, система норм определяет корректность нашего поведения в обществе, то есть правильные или неправильные его формы. Для фиксации отличий социальной нормы от предлагаемого в работе понятия «социальное обязательство» важна еще одна содержательная особенность этой «грамматической» метафоры. При такой трактовке социальных норм они (как и нормы грамматики) не являются продуктом сознательной и целенаправленной человеческой деятельности. Социальное же обязательство понимается как обязательство конкретного социального субъекта, которое является его сознательным актом, хотя, возможно, и неявным⁵².

Г.Л.А. Харт в одном из примечаний к работе «Существуют ли естественные права?» также считает необходимым прояснить содержание понятия «обязательство» и выделяет характеристики, аналогичные тем, что обсуждались выше: «Я использую здесь термин «обязанности», так как одним из факторов, затуманивающих природу права, является использование философами понятий «обязанность» (duty) и «обязательство» (obligation) для всех случаев, когда имеются моральные резоны утверждать о необходимости выполнения или невыполнения определенного действия. На самом деле, «обязанность», «обязательство», «хорошо», «плохо» относятся к разным сферам морали, регулируют разные типы поведения и служат для выражения различных типов моральной критики и моральных оценок. Наиболее важными являются положения о том, что (1) обязательства могут приниматься или создаваться на добровольной основе; (2) что это обязательства перед определенными людьми (имеющими права); (3) их источником является не характер действий, которые являются обязательными, а отношения сторон. Язык примерно таким же обра-

⁵¹ *Bicchieri C. The Grammar of Society: the Nature and Dynamics of Social Norms.* – N.Y.: Cambridge University Press, 2006.

⁵² Оставляем пока в стороне споры относительно «явного» и «неявного» обязательства, что является отдельной и активно обсуждаемой темой в современных общественно-договорных концепциях.

зом, хотя и не всегда последовательно, ограничивает такими ситуациями употребление выражения «иметь обязательство»⁵³. В этом отрывке речь идет о правовых нормах, отсюда второе различие, в котором отмечается соотносительность обязательств и прав как отличительная особенность правового обязательства. Представляется, что в нашем случае такая коррелятивность с правами вовсе не обязательна. Важно еще раз подчеркнуть именно добровольный характер социального обязательства, а в качестве еще одного отличительного признака по сравнению с социальной нормой отметить то, что «социальность» обязательства предполагает именно наличие или порождение отношений между двумя или более сторонами, то есть речь идет не просто об обязательстве, а о некотором обязательственном отношении. Таким образом, второе различие между социальными нормами и социальными обязательствами состоит в том, что обязательства уже не только добровольны и произвольны, но представляют собой вид социального отношения между носителем (автором) обязательства и адресатом (бенефициарием) обязательства. Отдельный и интересный вопрос – можно ли считать социальным обязательством такое, в котором субъект обязательства и адресат совпадают, то есть обязательство перед самим собой?

Еще одно различие между социальными нормами и социальными обязательствами – по методу создания. Пользуясь терминологией Р. Рорти, это различие можно описать как различие между «найденным» и «сделанным»⁵⁴. И социальные нормы, и социальные обязательства находятся в плане должного, однако можно сказать, что если социальные нормы «обнаруживаются», представляя собой объективацию некоторого типового социального опыта, то обязательства «создаются» субъектами этих обязательств, которые несут ответственность, как за содержание, так и границы этих норм. Если исследование социальных норм – это фактически исследование сложившейся социальной реальности под определенным ракурсом, то исследование обязательств – это попытка выделить как нормативные основания это социального опыта и сложившейся практики, так и подвергнуть их критическому анализу с позиции некоторого должного положения дел.

⁵³ Hart H. L. Are There Any Natural Rights? // Contemporary Political Philosophy / Ed. by R. Goodin and P. Pettit. – Blackwell Publishers, 1997. – P. 327.

⁵⁴ Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. – М., 1997. – С. 11–44.

Таким образом, если традиционно социальные нормы представляют собой некоторую типизацию уже имеющегося социального опыта то социальные обязательства – это разумные, рациональные, должные, нормативные условия, определяющие распределение тягот и выгод социальной кооперации в современном обществе. Такого рода социальную нормативность, далеко не всегда совпадающую с фактически существующими моральными, правовыми, профессиональными и иными нормами, можно описать как «реалистичную утопию», позаимствовав характеристику Дж. Ролза, которую он дал политической философии в целом⁵⁵. «Утопичность» при этом задает ценностные ориентиры для действия, «реалистичность» обеспечивает принципиальную возможность достижения цели, выраженной в нормативном требовании. Социальное обязательство – это такое обязательство, которое принимается добровольно и осознанно, на основе нормативного рефлексивного рассуждения, и связано при этом с обретением или осознанием субъектом обязательства своего социального статуса. Содержательными ограничениями на рефлексивное рассуждение выступают те или иные представления о справедливости, принятые в обществе. Социальное обязательство представляет собой общественное отношение особого рода, специфика которого определяется, таким образом, тремя основными факторами: а) социальным статусом субъекта, в первую очередь его самоидентификацией как субъекта гражданского; б) нормативностью, источником которой являются рациональная рефлексия и гипотетический консенсус граждан современного демократического общества; в) принципами справедливости в их исторически конкретном воплощении. Социальные обязательства необходимо рассматривать в сравнительной перспективе с обязательствами политическими и моральными. Специфика социальных обязательств состоит в том, что они определяются частным и общим социальными статусами субъекта – от узкой социальной роли до статуса гражданского субъекта. С содержательной точки зрения социальные обязательства понимаются как обязательства справедливости, условия стабильного и эффективного социального

⁵⁵ Rawls J. *Justice as Fairness. A Restatement.* – Harvard University Press, 2001. – P. 4. При этом Дж. Ролз замечает, что в области политического действия границы возможного не определяются действительным, так как сама политическая действительность (в виде политических и социальных институтов) может подвергаться изменениям.

взаимодействия как граждан между собой, так и граждан с социальными институтами.

Если говорить об источниках нормативности социальных обязательств, то они понимаются автором как некоторые фундаментальные, базовые структуры опыта или структуры социальной ситуации. Так, например, необходимость в разделении труда и экономическом обмене порождает необходимость обязательств справедливости. В то же время, обязывание и самообязывание не происходят автоматически, а требует осознанного волевого действия субъекта по превращению абстрактного нормативного требования в императив персонального действия и персональной ответственности.

Отсюда можно сделать вывод о том, что социальные обязательства в существенных аспектах отличаются от социальных норм, что позволяет выделять их в отдельный класс нормативных требований, регулирующих поведение рациональных индивидов, стремящихся к кооперативному поведению с другими членами общества. В то же время, имеющиеся сходства с социальными нормами позволяют высказать гипотезу о несводимости социальных обязательств к обязательствам моральным, правовым и политическим. Следующий параграф посвящен именно этому, наиболее важному, отличию социальных обязательств в попытке прояснить, что из себя может представлять социальное обязательство, понимаемое как некоторый социальный конструкт.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обязательственные отношения фундаментальны, связывая индивидов как непосредственно, так и через социальные институты. Они охватывают широкий спектр социальных взаимодействий – от индивидуального долгового обязательства должника перед кредитором до общезначимых моральных императивов. Взаимные обязательства людей, в первую очередь опосредованные социальными институтами, фактически определяют возможности и условия социальной кооперации⁵⁶. В отличие от юридических трактовок прав и обязательств, которые задают не только принципы и условия вступления в деонтологическое отно-

⁵⁶ Это центральная идея всей общественно-договорной традиции, как классической, так и современной. В современных работах акцент чаще всего делается на процедурах рационального обоснования и условиях такого гипотетического соглашения. См. работы Дж. Ролза, Р. Нозика, Д. Готиера, Р. Дворкина и др. В качестве примера современного использования этой методологии в нормативной этике см. работу Т. Скэнлона «Что мы должны друг другу» (*Scanlon T. What We Owe to Each Other*).

шение, но и конкретно-определенные субъективные обязанности⁵⁷, в философском обсуждении речь как правило идет об обязательствах некоторого абстрактного социального субъекта, рассматриваемых в нормативном плане, с точки зрения природы и сущности как обязательственных отношений, так и деонтологической субъектности. При этом предполагается, что этот абстрактный социальный субъект находится в сфере публичного, которая сама нередко определяется как пространство взаимных обязанностей, как сфера, где «...у нас есть обязательства договориться с другими людьми о том, какие убеждения и желания лучше всего иметь», в отличие от сферы частного, «...где мы свободны угождать только себе и никому другому»⁵⁸. Такие обязательства граждан друг перед другом можно определить как «социальные обязательства», а система этих обязательств вместе с представлениями об их содержании и способах обоснования – как «социальная деонтология». В отечественной литературе понятие «социальная деонтология» обычно используется в другом смысле – как вид профессиональной этики, морально-этический кодекс для представителей таких профессий как врачи, педагоги, социальные работники, которые непосредственно оказывают те или иные услуги нуждающимся в них людям. В работах же зарубежных философов это понятие практически не встречается. В тех редких случаях, когда оно используется, оно применяется не к анализу собственно социальных обязательств, а относится, как правило, к некоторой общей системе представлений или принципов общественного устройства. Например, М. Фиск, анализируя «Теорию справедливости» Дж. Ролза, социальной деонтологией называет сочетание двух центральных идей Дж. Ролза – неразрывную связь идеи правильного и должного (right) и социальных целей и приоритет правильного и должного (right) над благом (good)⁵⁹. В недавней работе «Язык и социальная онтология» Дж. Сёрль хотя и использует понятие «социальная деонтология», но не дает какого-либо содержательного определения. Анализируя язы-

⁵⁷ При этом правовые нормы вовсе не обязательно используют язык обязательств. Деонтическая модальность в них может быть выражена по-разному, например: «В случае нарушения пункта контракта выплачивается штраф». Облигативность же социальных обязательств обычно выражается эксплицитно.

⁵⁸ *Porter P.* Случайность, ирония, солидарность. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – С. 7.

⁵⁹ *Fisk M.* History and Reason in Rawls' Moral Theory // Reading Rawls, ed. Norman Daniels. – Blackwell, 1975. – P. 73.

ковое и неязыковое интенциональное содержание, в которое он включает права, обязанности, обязательства, разрешения, американский философ рассматривает его как набор оснований для действия, ограничиваясь замечанием о том, что такие распознаваемые участниками коммуникации «деонтологии» делают возможным функционирование общества и могут послужить ключом к созданию некоторой общей социальной деонтологии⁶⁰. Таким образом, можно утверждать, что используемое в данной работе понятие «социальная деонтология», трактуемое именно как система социальных обязательств и способов их обоснования, обладает определенной новизной.

В современной политической и моральной философии социальная нормативная структура как правило основывается на идее приоритета прав человека и личности. В основе такого подхода лежат гуманистические идеи о человеке как высшей ценности, высказанные в XVII–XVIII веках философами-просветителями Дж. Локком, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Ф.М.А. Вольтером. Представления о наличии естественных и неотъемлемых прав (таких как право на жизнь, на свободу и др.), легло в основание основных либеральных политико-философских концепций. Эти положения стали также основой многих нормативно-правовых актов – английской Великой Хартии Вольностей 1215 г., Петиции о праве 1628 г., Акта Habeas Corpus 1679 г. Кроме того, политическую поддержку эта идеология получила благодаря принятию в 1948 г. Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей Декларации прав человека и последующих международных деклараций. Конституционные права и свободы также считаются главным элементом конституционного правоотношения между государством и гражданином в конституциях демократических стран, в том числе и в конституции Российской Федерации.

Важен тезис о том, что фундаментальная социальная нормативность, заложенная в социальных ценностях и идеалах, выражается, прежде всего, не в правах, а во взаимных обязательствах граждан. Такую точку зрения на нормативную природу человеческих отношений чаще можно встретить в религиозных морально-этических кодексах или нормативных (моральных и правовых) кодексах традиционных обществ. Мы же постараемся обосновать тезис в пользу при-

⁶⁰ Searle J. Language and Social Ontology // Philosophy of the Social Sciences: philosophical theory and scientific practice. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – P. 15.

оритетности взаимных социальных обязательств как основания для социальной кооперации в современном светском и демократическом обществе.

Если рассматривать проблему определения приоритетности прав или обязательств с теоретико-методологической точки зрения, нужно признать, что она напоминает проблему курицы и яйца. Традиционный либеральный подход, основывающийся на приоритетности прав, – далеко не единственная исходная точка социально-философского анализа. М. Нуссбаум, например, отмечает, что исследование взаимообусловленности прав и обязательств вполне можно начинать и с анализа обязательств. Ее реконструкция такого подхода выглядит следующим образом: «...мы размышляем об имеющихся у нас перед людьми обязательствах что-то делать и от чего-то воздерживаться, и это размышление позволяет нам понять, на что адресат имеет право»⁶¹. Говоря о более привычной точке зрения, методологическом приоритете прав, М. Нуссбаум апеллирует к Сенеке, Цицерону, Гроцию и, конечно, к современным теоретикам прав человека. «Мы начинаем с того, на что люди имеют права и, прежде чем мы можем сказать, кто может иметь соответствующие обязанности, мы заключаем, что такие обязанности существуют, и у нас имеется некоторое коллективное обязательство обеспечить получение людьми того, что им причитается»⁶². Сама М. Нуссбаум придерживается подхода, в рамках которого главным фактором являются способности и возможности человека (*sarabilities approach*), что предполагает право людей самим принимать решения в отношении своих жизненных планов. Этот подход основывается на приоритете прав, а аргументом в пользу такого приоритета является, по ее мнению, тот факт, что обязательства никогда не генерируются в вакууме, но всегда в некоторых «обстоятельствах справедливости»⁶³ и, поэтому, не могут служить основанием социальной нормативности. По мнению М. Нуссбаум, само понятие потребности, права является обоснованием идеи обязатель-

⁶¹ *Nussbaum M. Frontiers of Justice.* – Harvard University Press, 2007. – P. 275.

⁶² *Ibid.* – P. 275–276.

⁶³ «Обстоятельства справедливости» – такие обстоятельства, в которых справедливость имеет статус ценности. Содержание понятия эволюционировало от «ограниченного великодушия» и «скудости ресурсов» у Д. Юма до понимания обстоятельств справедливости как некоторого набора структурных ограничений, в рамках которых индивиды выдвигают взаимные конфликтующие требования или притязания.

ства, давая ответ на вопрос о том, почему нечто вообще является обязательством.

Тезис о взаимоуязванности или диалектичности прав и обязательств кажется вполне распространенным и не вызывает особых сомнений. Однако возможен и более сильный тезис, который и представляет собой основную рабочую гипотезу данной работы. Суть его в том, что социальные обязательства первичны по отношению к правам и эта первичность обязательства определяется самим фактом связи людей друг с другом, фундаментальными универсальными структурами социального взаимодействия. Такую точку зрения можно чаще встретить в работах социологов, которые изучают реальное взаимодействие людей в различных экономических, политических и исторических условиях. Так, рассматривая несколько оппозиций, определяющих суть общественной жизни, родоначальник формально-аналитической школы в социологии Ф. Теннис, наряду с такими дихотомиями как «знакомость и чуждость», «симпатия и антипатия», «доверие и недоверие», пишет о «связанности» людей друг с другом: «А теперь я перехожу к четвертому различию, неотделимому от первых трех, отчасти уже содержащемуся в них, а именно к тому, связан ли я как-то с другими людьми или свободен от них. Соединение, связывание (*Bindung*) противоположно свободе, оно означает обязывание, долженствование, недозволение; и здесь перед нами открывается большое многообразие соединений, возникающих посредством связанностей (*Verbundensein*) различного рода, которые мы называем также видами социальных сущностей (*Wesenheiten*) или форм (*Gestalten*), объединяющих человека с другими людьми»⁶⁴.

Осознание факта этой связи нормативно задает зону должного, а также социально неприемлемого. «Человек связан с другими людьми постольку, поскольку знает, что он с ними связан; он знает об этом или в большей степени чувственно, или в большей степени мысленно; отсюда возникают чувство или ясное сознание обязательности, должности, непозволительности и справедливое отвращение от последствий неправильного, противоправного, противозаконного и вообще неправомерного и, наконец, не-нравственного и не-приличного действия и поведения»⁶⁵. «Неправильное», «противозаконное», «не-

⁶⁴ Теннис Ф. Общность и общество // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – Ч. 1. – С. 160.

⁶⁵ Теннис Ф. Там же.

правомерное» и «нравственное» – такие характеристики свидетельствуют о том, что зона должного поведения понимается широко и не сводима лишь к сфере морали. Кроме того, важно отметить, что понятие и ощущение должного, обязательного поведения выводятся Ф. Теннисом из самого факта социальной связи, а не как производное из наличия некоторых прав.

Сходной позиции придерживается и признанный исследователь И. Канта Э. Соловьев: «Обязанности – атрибут социума. Мы можем представить себе человеческое сообщество (например, примитивную общину), где начисто отсутствуют частные права и нет никакой приватной жизни. Но общество, не ведающее обязанностей, отнесенных к единичной человеческой особи, попросту немыслимо»⁶⁶. При этом он также отмечает важность понимания того, что права и обязанности образуют диалектические связи. Необходимость выполнения тех или иных обязанностей требует зоны свободы, реализуемой посредством прав: «Индивидуально осознаваемые обязанности могут служить стимулом эмансипации. Они вынуждают испрашивать и даже требовать, чтобы общество предоставило индивиду простор (права – свободы) для выполнения хотя бы тех заповедей, которые оно же само ему и предъявило. Это сплошь и рядом случается в условиях нормативного конфликта, когда, например, общество в лице светской власти не позволяет делать того, что оно обязывает делать в лице церкви; или, скажем, когда сама церковь как инстанция предания и авторитета препятствует выполнению требований, исходящих от безусловно признаваемого ею Писания»⁶⁷. Диалектичность отношений между правами и обязательствами отмечают и анализируют самые разные исследователи, особенно в рамках теории права. Среди зарубежных исследователей в первую очередь необходимо назвать классификацию прав и обязанностей, предложенную У.Н. Хоффельдом в работе «Основные правовые концепции»⁶⁸, о которой еще пойдет речь в § 1.2.

Классики, писавшие об общественно-политическом устройстве, также уделяли большое внимание обязательствам. Так, Т. Гоббс,

⁶⁶ Соловьев Э. Ю. От обязанности к призванию, от призвания к праву // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1990. – С. 48.

⁶⁷ Там же. – С. 49.

⁶⁸ Hohfeld W. N. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. – New Haven: Yale University Press, 1919.

строит свое рассуждение в рамках общественно-договорной традиции, на принципе обязательного соблюдения договора “*pacta sunt servanda*” («договоры должны соблюдаться»). Это базовое обязательство делает возможным саму кооперацию, будучи мета-условием любых последующих взаимных обязательств. У Т. Гоббса это второй из его естественных законов в работе «О Гражданине» и третий в «Левиафане». «Проступок же этот, который по естественному закону является преступлением оскорбления величия, есть нарушение естественного, а не гражданского закона»⁶⁹. Под «оскорблением величия» Т. Гоббс понимает именно нарушение первоначального соглашения, а не нарушение конкретных законов. Само это обязательство, по его мнению, не может трактоваться как позитивное договорное обязательство, установленное людьми, так как оно является основанием любого другого соглашения и обязательства. Дж. Локк в «Опытах о законах природы» пишет об абсолютности и всеобъемлемости обязательств, налагаемых законом природы, характеризуя обязательство, диктуемое естественным законом, как такое, которое «...во все времена, во всем мире сохраняет свою силу во всей неприкосновенности и цельности. Потому что если он не обязывает всех людей, то либо в силу того, что какой-то части человеческого рода он неприятен, либо потому, что вообще отвергается. Но ни того, ни другого сказать нельзя»⁷⁰. Такая аргументация может показаться спорной, однако историко-философские трактовки естественного закона – отдельная большая тема, рассмотрение которой не входит в задачу данной работы.

В философии права это проблема критики права, то есть нормативного соответствия закона праву. В этике это, в первую очередь, Д. Юм, который, пожалуй, впервые ясно зафиксировал проблематичность перехода от суждений о фактах к суждениям о должном. Хотя в известной цитате Д. Юм имел в виду именно проблематичность нормативности применительно к человеческому поведению и к обязательности его поступков, со временем это затруднение стало трактоваться как общеправовое.

Противопоставляя конструктивизм и моральный реализм, К. Корсгаард замечает, что под «моральным реализмом» она не имеет

⁶⁹ Гоббс Т. Основы философии. О гражданине // Соч.: В 2 т. – М., 1989. – Т. 1. – С. 425.

⁷⁰ Локк Дж. Опыты о законах природы // Соч.: В 3 т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 3. – С. 44–45.

в виду то, что суждения с моральными терминами могут иметь истинностные значения. По ее мнению, в этом вопросе моральные реалисты вполне могут сойтись во мнении с конструктивистами. Фундаментальное же различие между моральным реализмом и конструктивизмом К. Корсгаард усматривает в причине, по которой такие суждения могут иметь значения истинности. В рамках морального реализма, суждение может быть истинным или ложным потому, что входящие в него термины обозначают какие-то нормативные сущности или факты, независимые от этих терминов. Функция моральных понятий здесь – описание реальности. Конструктивизм же представляет собой ответ на некоторую проблему. Например, справедливость у Дж. Ролза – это не описание какой-то космической справедливости, а решение проблемы распределения разного рода ресурсов в ситуации риска и неопределенности посредством создания принципов справедливости⁷¹. Однако большинство современных теоретиков придерживаются той точки зрения, что оценка действия на рациональность не предполагает установления соответствия нормативных оснований этого действия положению дел в мире. Другими словами, рациональность действия понимается как когерентность нормативных оснований, а не их корреспонденция действительному положению дел.

Публичное обоснование норм и обязательств

Выше речь шла об общих подходах и сравнительном анализе моделей, которые могут быть использованы для рационального обоснования обязательств. Была показана ограниченность классических инструментально-утилитаристских концепций рациональности и необходимость их модификации. При этом адекватное понимание практической рациональности нуждается одновременно как в сужении – путем введения понятия ограниченной рациональности и смены модели рациональности с максимизации выгоды на модель «достаточности», так и в расширении – дополнении ее этическими факторами. Противоречия здесь нет, так как эти модификации представлений о рациональности не являются дилемматическими, а происходят в двух разных плоскостях – процедурной и содержа-

⁷¹ Korsgaard. Op.cit. – P. 321–322.

тельной. Мы ограничиваем процедурные аспекты и расширяем содержательные.

Так как в тексте речь идет о социальных обязательствах гражданина, то требования к такому обоснованию непременно включают его публичность. Традиционно основным и даже единственным вариантом публичного обоснования считался вариант обоснования, представленный различными вариантами концепции общественного договора. Неоднократно отмечались слабые стороны этого подхода, главная из которых заключается в том, что общественный договор заключается не между реальными, а гипотетическими индивидами. Более того, имеет место двойная гипотетичность – участниками соглашения являются не просто гипотетические индивиды, но, кроме того, гипотетически рациональные индивиды. В политической философии либерализма – это рациональные беспристрастные индивиды, способные встать на «моральную точку зрения», о чем уже шла речь выше. Таким образом, общественный договор обременен двойной гипотетичностью. Главная проблема обычно формулируется как проблема обязательности выполнения заключенных соглашений – почему индивиды, которые не принимали участия в заключении договора, должны соблюдать его условия?

Примечательно, что смысл общественного договора многими философами понимался именно как процедура добровольного принятия на себя моральных обязательств по отношению к согражданам, а уже во вторую очередь – как схема некоторого оптимального устройства социальных институтов. Именно так понимал суть идеи общественного договора И.А. Ильин: «Эта идея имеет в государственной жизни свой строгий предел, а именно: он выговаривает основу человеческого правосознания, а не принцип государственной формы. Каждый из нас призван вести себя, как человек свободно обязавшийся перед своим народом к лояльному соблюдению законов и своего правового «статуса» (т. е. своих полномочий, обязанностей и запретностей). Таково «общественного договора», о котором пишет Ж.-Ж. Руссо, никогда не было и не будет; и Руссо сам знает это. Но нечто подобное этому должен пережить каждый человек в глубине своего правосознания, налагая на себя (свободно и добровольно) духовноволевое самообязательство гражданина»⁷².

⁷² Ильин И.А. Собрание сочинений в 10 т. – М.: Русская книга, 1993. – Т. 2. – Кн. 2. – С. 229–230.

Так как публичное обоснование апеллирует к публичному разуму, то ключевым здесь является понятие рациональности. Особо следует отметить здесь подход Ю. Хабермаса, для которого требования публичного обоснования являются, на самом деле, ни чем иным, как требованиями рациональности, причем рациональности не инструментальной, а коммуникативной, реализуемой в процессе дискурса. Ю. Хабермас апеллирует к греческому пониманию логоса и как разума, и как языка, соединяя, таким образом, понятия рациональности и лингвистичности. При этом основная критика Ю. Хабермаса в адрес Дж. Ролза заключается в том, что в концепции последнего аргументация имеет, во-первых, монологический, и, во-вторых, гипотетический характер. Кстати говоря, не только Ю. Хабермас, но и другие критики Дж. Ролза отмечали тот факт, что его концепция общественного договора вообще не предусматривает никакого взаимодействия участников. Они осуществляют свой выбор, не будучи вынужденными вообще вступать в переговоры или какое-либо взаимодействие друг с другом. К. Апель называет это «приватизацией как морали, так и мировоззрения», отмечая пагубность такого подхода с прагматической точки зрения. «...Если так называемые “свободные” решения совести индивидов априори друг от друга изолированы и если – соответственно этому – они и практически не подчиняются никаким нормам солидарности», то и в мире общественно-публичной практики, из коего сегодня исходят макровлияния, у них будет мало шансов на успех»⁷³.

Идея публичного обоснования характеризуется нормативностью. Среди требований к публичному обоснованию наиболее важным является именно универсальность аргументации, публичное обоснование должно служить убедительным основанием для всех граждан, апеллируя к публичному разуму. При этом «универсальность – это не идеальный консенсус фиктивных индивидов, а конкретный политический и моральный процесс борьбы конкретных, телесных индивидов за автономию»⁷⁴. К.-О. Апель аргументирует необходимость реального коммуникативного сообщества, используя доводы Л. Витгенштейна о невозможности «приватного языка». «Логическая значимость аргументов не может быть доказана, если в принципе не предполагается сообщество мыслителей, способных к intersubjectivному взаимопониманию и формированию консенсуса. Даже фак-

⁷³ *Апель К.-О.* Трансформация философии. – М.: Логос, 2001. – С. 279.

⁷⁴ *Benhabib S.* Situating the Self. – N.Y.: Routledge, 1992. – P. 153.

тически одинокий мыслитель в состоянии объяснить и доказать свою аргументацию лишь постольку, поскольку он может в критическом разговоре «души самой с собой» (Платон) интериоризировать диалог потенциального аргументационного сообщества. Тут проясняется, что *значимость* мышления в одиночестве принципиально зависит от оправдания языковых высказываний в актуальном аргументационном сообществе»⁷⁵.

Насколько обоснован выбор самой этой процедуры публичного обоснования как средства разрешения серьезных конфликтов ценностного и нормативного характера?⁷⁶ Во-первых, принято считать, что требования публичного обоснования являются выражением нашей природы как моральных существ. При этом необходимо отметить, что такая аргументация «от моральной природы» обычно является интерналистской и деонтологической. Требования публичного обоснования могут выражать моральный мотив, а именно – желание вести себя в соответствии с принципами, которые могут быть обоснованы самому себе и другим беспристрастным образом. Кроме того, что требование публичного обоснования иногда связывается с понятием автономии. «Показать людям, что у них есть достаточные основания принять (такую систему) – это максимум того, чего мы можем добиться для того, чтобы сделать недобровольное участие добровольным»⁷⁷.

Если говорить о *сфере действия* публичного обоснования, то это некоторое политическое пространство, «политические обстоятельства». «Политические обстоятельства» по сравнению с обстоятельствами справедливости Дж. Ролза понимаются некоторыми философами как более общие и абстрактные, они «...возникают всякий раз, когда мы не соглашаемся друг с другом относительно того, как следует проживать наши жизни и в отсутствие ясных эмпирических способов разрешения таких разногласий»⁷⁸. Самая общая идея заключается в том, что разрешение спорных ситуаций требует наличия авторитетной процедуры публичного разрешения таких споров, которая бы содержала приемлемые для всех участников спора правила, процеду-

⁷⁵ *Анель К.-О.* Указ. соч. – С. 301.

⁷⁶ Анализ основных аргументов см. в: *D'Agostino F.* Free Public Reason. – N.Y., Oxford: Oxford University Press. – P. 26–34.

⁷⁷ *Nagel T.* Equality and Partiality. – N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1991. – P. 36.

⁷⁸ *D'Agostino F.* Op.cit. – P. 23.

ры и стандарты обоснования. Довольно жестким ограничением является требование универсальности, т.е. представления таких аргументов, которые бы оказались убедительными для всех участников политического процесса. Так как в современном либеральном обществе трудно представить возможность достижения консенсуса по какому-либо содержательному вопросу, то акцент переносится на согласие по поводу процедур, которые бы регулировали решение частных конкретных вопросов.

Что касается собственно теоретического содержания современной политической философии либерализма, то обращают на себя внимание два процесса, которые можно описать как движение «от легитимации к обоснованию» и «от принципов к процедурам». В первом случае это движение от частного к общему, так как если под легитимацией обычно понимают обоснование лишь реально существующих социальных норм, практик и институтов, то в современной либеральной политической философии большое внимание уделяется конструированию норм и принципов гипотетического общественного устройства в целом или обоснованию наиболее рациональных механизмов реализации требования публичности, т.е. обеспечения гражданского участия. Хотя часто эти конструкции и используются затем для легитимации существующих общественных отношений, однако в теоретическом плане это цели разные. Под движением от «принципов к процедурам» понимается переход от содержательному к формальному, от обсуждения конкретных содержательных принципов и норм (например, принципов справедливости) к описанию процедур, с помощью которых такие принципы и нормы могли бы быть получены. Результатирующей является поиск общей формальной процедуры, которая могла бы использоваться для решения широкого диапазона задач – от разрешения локальных ценностных и нормативных конфликтов реальных индивидов до достижения консенсуса между гипотетическими индивидами относительно принципов гипотетического общественного устройства. В идеальном случае такая процедура не нуждается в собственном обосновании. Акцент на процедуре обоснования в политической философии породил множество комментариев о сходстве между процедурами обоснования в науке и политической философии. Отмечается, в частности, что и в той, и в другой сфере необходимыми являются такие условия, как терпимость, уважение к чужому мнению, готовность к критическому анализу собственных воззрений. Сходная функциональность

этих процедур в науке и политической философии, а также представления о науке как средстве «решения головоломок» и достижения временного консенсуса дали основания и для замечаний о том, что «философия науки представляет собой не что иное, как приложение политической философии к научному сообществу»⁷⁹.

В чем же различие между процедурами обоснованиями в науке и политической философии? Обычно оно формулируется именно как различие между *эпистемическим* обоснованием и обоснованием *публичным*. Если целью первого является обоснование отдельных содержательных положений, законов или теорий в науке, то цель публичного обоснования заключается в устранении конфликтов или достижении консенсуса в некотором публичном пространстве, чаще всего понимаемом как дискурсивное. Переход к понятию дискурса был вызван разочарованием в идее предельного основания как средстве решения всех разногласий, как моральных, так и политических. В основе лежит идея морального сообщества, члены которого – моральные и рациональные индивиды, и убедить их должна и может лишь аргументация, ведущаяся с «моральной точки зрения», т.е. беспристрастная и универсальная.

Говоря о двух типах обоснования, – публичном и эпистемическом, следует заметить, что одним из принципиальных вопросов для любой концепции публичного обоснования является именно возможность жесткого разграничения между ними. Знакомство с концепциями, в которых это различие декларируется более-менее явно (например, с той же теорией справедливости Дж. Ролза) вызывает сомнения в возможности и продуктивности жесткого различения между этими двумя типами обоснованиями как в теоретических построениях, так и в реальном политическом дискурсе. Как показал М. Сэндел⁸⁰, несмотря на явное стремление, самому Дж. Ролзу такое различение провести не удалось. Стирание всех существенных различий между индивидами делает процедуру торга или договора между ними невозможной, так как отсутствует необходимое условие – различие позиций или интересов. Лишенные существенной информации о своем положении в будущем обществе и содержательной концепции блага, индивиды фактически находятся в одинаковом

⁷⁹ Fuller S. Social Epistemology. – Indiana University Press, 1988. – P. 6.

⁸⁰ См.: Sandel M. Liberalism and the Limits of Justice. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – P. 122–132.

положении, в котором отсутствует почва для разногласий и, следовательно, для процедуры их разрешения. В «Теории справедливости», таким образом, речь фактически идет не о публичном обосновании, а об обосновании именно эпистемическом, т.е. не о процедуре убеждения других, не о достижении компромисса или консенсуса, а о выведении единственно возможных следствий из жестко сформулированных посылок «исходного состояния». Причем для такого выведения в принципе достаточно одного рационального индивида. С. Бенхабиб, имея в виду, в том числе и концепцию Дж. Ролза, замечает: «В кантинской теории морали моральные агенты подобны геометрам, находящимся в разных комнатах, которые, рассуждая независимо друг от друга, приходят к одному и тому же решению проблемы»⁸¹. Дополнительным свидетельством в пользу того, что Дж. Ролзу не удалось полностью уйти от когнитивизма, является и то, что сам он неоднократно переходит на эпистемический язык, говоря о «видении», «узнавании» и «признании» принципов справедливости.

Проблематичным такое различие (между обоснованием эпистемическим и публичным) является и в рамках дискурсивной этики Ю. Хабермаса. Одна из его ключевых идей заключается в том, что моральные нормы должны проверяться не в гипотетической, а реальной аргументации. Если конструкция Дж. Ролза монологична, поскольку каждый индивид проводит процесс рассуждения самостоятельно и независимо от других, то отличительная особенность дискурсивной этики Ю. Хабермаса заключается как раз в том, что она интерактивна, обоснование норм происходит в реальном дискурсе, а не в монологической форме, не в форме гипотетического процесса аргументации, совершающегося в индивидуальном сознании. Моральное обоснование является принципиально intersubjectivным, в том смысле, что целью его являются поиски разумного согласия участников дискурса. Дискурсивный принцип характеризуется двумя аспектами. «...Он имеет *когнитивный смысл* фильтрации резонансов и информации, тем и вкладов таким образом, что предпосылкой исхода дискурса является рациональная приемлемость – легитимность нормы обеспечивается именно демократической процедурой. С другой стороны, он имеет *практический смысл* установления отношений взаимопонимания, которые «свободны от насилия»,

⁸¹ Benhabib S. *Situating the Self*. – N.Y.: Routledge. 1992. – P. 163.

в смысле Х. Арендт, и которые освобождают порождающую силу коммуникативной свободы»⁸².

В то же время нормы, которые подлежат обоснованию в процессе такого дискурса, имеют не только прагматический, но и когнитивный компонент, который каким-то образом должен коррелировать с когнитивными установками или состояниями участников дискурса. Если это так, то возникает вопрос: должен ли процесс публичного обоснования начинаться с критической рефлексии над собственными верованиями или же достаточно представить аргументы в пользу имеющихся взглядов другим участникам дискурса? Ю. Хабермас пропускает стадию рефлексии над собственными верованиями, что, как представляется, должно приводить к проблемам, связанным со стабильностью достигнутого консенсуса и оценкой норм на «объективность».

В общем случае смысл процедуры публичного обоснования состоит в том, чтобы показать, что те или нормы (в нашем случае, социальные обязательства) подчиняются требованиям разума или, хотя бы, согласуются с ними. Поэтому все современные подходы к публичному обоснованию того или иного нормативного поведения опираются на идею рациональности. На общем фоне релятивизации рациональности особенно важно отметить примечательную и обнадеживающую тенденцию в современной политической и моральной философии, суть которой заключается в попытке не только переосмыслить понятия рациональности и нормативности, но и выстроить на их основе методологию социально-философского исследования.

Литература

- Апель К.-О.* Трансформация философии. – М.: Логос, 2001.
- Бродский А.И.* Нормативная этика. От объективизма к конструктивизму // *Этическая мысль.* – Вып. 1. – М.: ИФ РАН, 2000. – С. 132–146.
- Галлямова Н.Ш.* Речевой акт «обещание, клятва» в русской языковой картине мира: лингвокультурологический, функционально-прагматический аспекты // *Вест. Томск. гос. ун-та.* – 2010, – № 3 (11). – С. 16–32.

⁸² *Habermas J.* *Between Facts and Norms.* – Cambridge, MA: The MIT Press, 1996. – P. 151.

- Геттиер Э.* Является ли знание истинное и обоснованное мнение? // Аналитическая философия. Становление и развитие. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – С. 231–233.
- Гоббс Т.* Основы философии. О гражданине. XIV. Избр. соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1.
- Ильин И.А.* Собрание сочинений: В 10 т. – М.: Русская книга, 1993. – Т. 2.
- Кант И.* К вечному миру. Соч.: В 6 т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6.
- Карпович В.Н.* Политические обязательства как проблема философии права и философии политики // Вест. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. – 2007. – Т. 3. – Вып. 2. – С. 40–48.
- Карпович В.Н.* Рефлексивное равновесие и пределы социальной ответственности // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. – 2005. – Т. 3. Вып. 1. – С. 32–36
- Кашиников Б.Н.* Либеральные теории справедливости и политическая практика России. – Великий Новгород, 2004.
- Локк Дж.* Опыты о законах природы // Соч.: В 3 т. – М.: Мысль, 1985. – Т. 3.
- Мур Дж.* Принципы этики. – М.: Прогресс, 1984.
- Ролз Дж.* Теория справедливости. – Новосибирск: изд-во НГУ, 1995.
- Рорти Р.* Случайность, ирония, солидарность. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996.
- Рорти Р.* Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. – М., 1997. – С. 11–44.
- Рорти Р.* Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997.
- Серль Дж.* Рациональность в действии. – М.: Прогресс-Традиция, 2004.
- Серль Дж.* Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1986. – Вып. 17. – С. 151–169.
- Соловьев Э.Ю.* От обязанности к призванию, от призвания к праву // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1990. – С. 48–56.
- Спиноза Б.* Сочинения: В 2 т. – Изд. 2-е. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 2.
- Теннис Ф.* Общность и общество // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – Ч. 1.
- Хабермас Ю.* Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1992.
- Эксле О.Г.* Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья. – М.: Новое литературное обозрение, 2007.
- Эльстер Ю.* Объяснение социального поведения. Еще раз об основах социальных наук. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2011.
- Юм Д.* Трактат о человеческой природе // Юм Д. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 1.
- Austin J.* How to do things with words. – Oxford: Oxford University Press, 1962.
- Baier K.* The Moral Point of View. – Itaca, 1958.
- Benhabib S.* Situating the Self. – N.Y.: Routledge, 1992.

- Bicchieri C.* The Grammar of Society: the Nature and Dynamics of Social Norms. – N.Y.: Cambridge University Press, 2006.
- Brandt R.* The Concepts of Obligation and Duty // *Mind*, 73 (1964). – P. 374–393.
- D'Agostino F.* Free Public Reason. – N.Y., Oxford: Oxford University Press.
- Dancy J.* Practical Reality. – Oxford: Oxford University press, 2004.
- Donnelly B.* A Natural Law Approach to Normativity. – Ashgate Publishing Company, 2007.
- Elster J.* The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory // *Contemporary Political Philosophy*. – Blackwell Publishers, 1997. – P. 128–142.
- Fisk M.* History and Reason in Rawls' Moral Theory // *Reading Rawls*, ed. Norman Daniels. – Blackwell, 1975. – P. 53–80.
- Foot Ph.* Moral Dilemmas and Other Topics in Moral Philosophy. – Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Fuller S.* Social Epistemology. – Indiana University Press, 1988.
- Gauthier D.* Morals by Agreement. – Oxford: Oxford University Press, 1984.
- Habermas J.* Between Facts and Norms. – Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.
- Hart H.L.A.* Are There Any Natural Rights? // *Contemporary Political Philosophy*. Ed. by R. Goodin and P. Pettit. – Blackwell Publishers, 1997. – P. 320–327.
- Hart H.L.A.* Legal and Moral Obligation // *Essays in Moral Philosophy*. Melden A. I. (ed.). – Seattle: University of Washington Press, 1958.
- Hauser M.D.* Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong. – Ecco/HarperCollins Publishers, 2006.
- Hohfeld W.N.* Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. – New Haven: Yale University Press, 1919.
- Korsgaard C.M.* Realism and Constructivism in Twentieth-Century Moral Philosophy // *APA Centennial Supplement to the Journal of Philosophical Research*. – 2003. – P. 99–122.
- Korsgaard C.M.* The Constitution of Agency. – Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Korsgaard C.M.* The Sources of Normativity. – Cambridge University Press, 1996.
- Miller A.* Understanding people. Normativity and rationalizing explanation. – Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Nagel T.* Equality and Partiality. – N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Normativity*. Ed. by Dancy J. – Blackwell, 2000.
- Nussbaum M.* Frontiers of Justice. – Harvard University Press, 2007.
- Parfit D.* On What Matters. – Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Rawls J.* Justice as Fairness. A Restatement. – Harvard University Press, 2001.
- Rawls J.* Kantian Constructivism in Moral Theory // *The Journal of Philosophy*. – V. 77, Issue 9 (Sep. 9, 1980). – P. 515–572.
- Prior A.N.* The Autonomy of Ethics // *Australasian Journal of Philosophy*. – 1960. – 38 (3). – P. 199–206.
- Rawls J.* Political Liberalism. – N.Y.: Columbia University Press, 1996.
- Rescher N.* Rationality. – Oxford: Clarendon Press, 1988.

- Sandel M.* Liberalism and the Limits of Justice. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Scanlon T.* What We Owe to Each Other. – Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1998.
- Searle J.* How to derive an «Ought» from an «Is» // Philosophical. Review 73, 1964. – P. 43–58.
- Searle J.* Language and Social Ontology // Philosophy of the Social Sciences: philosophical theory and scientific practice. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – P. 9–27.
- Searle J.* Speech acts: an Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge University Press, 1969.
- Simon H.A.* Models of Man. – John Wiley, 1957.
- Social Rules: Origin, Character, Logic, Change.* Ed. by D. Braybrooke. – Westview Press. Boulder, 1996.
- Wedgwood R.* Understanding Normativity. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

Глава 3

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА В СОЦИАЛЬНОМ ЗНАНИИ

Проблема дисциплинарного статуса социокультурной парадигмы

В конце XX века в социальном познании заметную популярность получила социокультурная парадигма (или социокультурный подход). Основанием для признания ее наличия служит тот факт, что сложился широкий фронт социокультурных исследований, междисциплинарных по своему содержанию. В отдельных науках как самостоятельные исследовательские направления конституировались социокультурная антропология, социокультурная психология, социокультурная педагогика, социокультурная лингвистика и пр. В научном языке сформировался социокультурный дискурс, сконструированный путем предидирования терминоэлементом «социокультурный» общенаучных терминов – «социокультурное явление», «социокультурная эволюция», «социокультурные факторы», «социокультурный тип», «социокультурные перспективы» и пр. Издаются научные и учебные работы по социокультурной теории, методологии, технологии и проектированию. По всему миру возникают социокультурные центры (организации, ассоциации, сообщества), занимающиеся адаптацией мигрантов, социокультурной реабилитацией инвалидов, применением социокультурных методов в психиатрии, обучением иностранным языкам и т.п. Обращение к социокультурной парадигме стало интеллектуальной модой, которая вышла за пределы социального знания и реализуется в социальных практиках современного общества. Все это дает основание говорить о формировании целого социокультурного движения¹.

¹ Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Социокультурное движение в гуманитарном сообществе и социокультурный подход // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: философия. – 2012. – Т. 10. – Вып. 3.

В то же время увлеченность социокультурной парадигмой вызывает определенный скепсис, для которого существует комплекс причин.

Так, один из парадоксов социокультурного движения состоит в том, что зарубежные и отечественные энциклопедии и словари, пестрящие термином «социокультурный», – типичным маркером использования социокультурной парадигмы, – не определяют термин «социокультурный» и не выделяют социокультурную парадигму как таковую.

С этими же трудностями сталкиваются инициаторы социокультурного движения. В этом отношении наиболее показателен подготовленный А. С. Ахиезером «Социокультурный словарь»², в котором отсутствуют статьи, раскрывающие содержание основополагающих для данного направления терминов. Поэтому остается неясным, что же понимается под «социокультурностью».

В результате термин «социокультурная парадигма» употребляется в различных смыслах. Превалирует, разумеется, его употребление в «куновском» смысле, т.е. в смысле именно исследовательской парадигмы. Но, кроме того, этот термин употребляется для идентификации конкретных типов культур, которые рассматриваются как образцы общественно-исторической деятельности³.

Сложившаяся ситуация свидетельствует, на наш взгляд, о сложности определения эпистемологического статуса содержания социокультурной парадигмы и выборе дисциплинарных средств ее экспликации. До сих пор не ясно, в рамках какой дисциплины конституировалась эта парадигма, в каких работах продемонстрированы образцы решения тех «головоломок», с которыми столкнулась «нормальная» наука.

Среди обществоведов так и не сложилось общего мнения в отношении того, какой труд следует считать классической демонстрацией применения социокультурной парадигмы. К таким трудам относят и «Первобытную культуру» Э.Б. Тайлора, и «Протестантскую этику и дух капитализма» М. Вебера, и «Мышление и язык» Л.С. Выготского, и «Социальную и культурную динамику» П.А. Сорокина,

² Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. (Социокультурный словарь). От прошлого к будущему. – Т. II. – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1998.

³ См., например: *Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С.* Возвращение Европы. Статья четвертая. В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма // *Мировая экономика и международные отношения.* – 2002. – № 6.

и «Россия: критика исторического опыта» А.С. Ахиезера и т.д. Парадоксально, что в ряде этих работ термин «социокультурный» даже не упоминается.

Поскольку образец решения исследовательских задач усматривается в различных дисциплинах и точно не идентифицирован, то социокультурный феномен представляется восходящим к различным источникам, что ставит под вопрос наличие единой социокультурной парадигмы и единого научного сообщества, принимающего данную парадигму. Социокультурная парадигма имеет ярко выраженный трансдисциплинарный характер, но не имеет определенной дисциплинарной локализации.

Классическим примером мифологизации генеалогии социокультурного подхода является отсылка к П.А. Сорокину, который любое явление общественной жизни определял как «социокультурное», понимая под последним «надорганизмическое», т.е. то, что сегодня обозначается термином «социальное» в широком смысле слова. В своей знаменитой «Социальной и культурной динамике», описывая социокультурные объекты (изменения, процессы, конгломераты, системы, ритмы и пр.), он не дифференцировал эти объекты как от социальных объектов, так и от собственно культурных объектов, используя соответствующие термины как взаимозаменяемые.

Заметим, что П.А. Сорокин сам способствовал мифологизации генезиса социокультурного дискурса презентизмом своего анализа истории социологических учений. Выделив «социокультурную» школу в социологии, он отнес к ней всех гуманитариев (антропологов, историков, философов, социологов), не разделявших натуралистические воззрения на общество и подчеркивавших значение культуры⁴. При этом он приписывал множеству авторов изучение социокультурного пространства, социокультурной причинности, социокультурных систем и т.п., хотя данные исследователи подобными понятиями не оперировали.

Очевидно, что широкое употребление термина «социокультурный», когда в различных контекстах осуществляется простое синонимичное замещение ранее употреблявшихся терминов «социальный» и «культурный», не всегда означает парадигмальный сдвиг. Вместо обогащения терминологии, конструирования новых терминосистем, закрепляющих углубление теоретического познания соци-

⁴ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 184–189.

альной действительности, мы сталкиваемся с дублированием и смешением терминов.

Нельзя также сказать о том, что обращение к социокультурной парадигме сопровождалось научной революцией – «социокультурной революцией» и установлением господства социокультурной парадигмы в какой-либо из общественных наук. Пока отмечается только факт социокультурного поворота⁵. В целом социокультурная риторика и социокультурное движение воспринимаются как факультативные компоненты научной жизни, не затрагивающие основ размежевания парадигмально организованных научных сообществ в конкретных отраслях общественных наук.

Таким образом, возникает вопрос о содержании социокультурной парадигмы. Это содержание определяется ее ключевыми теоретическими конструктами, т.е. в известном смысле объективно и не зависит от авторской интерпретации.

Хотя социокультурный дискурс во второй половине XX в. получил широкое распространение, вплоть до настоящего времени экспликация его базовой лексемы «социокультурный» обычно ограничивается указанием на связь (единство, синтез, комбинацию) социального и культурного. А любой текст, описывающий общество и культуру, рассматривается как реализация социокультурного подхода.

В эпистемологическом плане семантическое разъяснение лексемы «социокультурный» представляется недостаточным, поскольку формулируется вне дисциплинарного и парадигмального контекстов. Но вместе с тем, на наш взгляд, даже риторическое использование лексемы «социокультурный» имеет методологический эффект, так как определяет позицию (рассмотрение «общества и культуры» как некоторого единства), с которой предлагается рассматривать какое-либо явление. Формируется специфическая социокультурная установка, в рамках которой понятия общества и культуры используются как методологические средства объяснения изучаемых явлений. В результате даже простое употребление термина «социокультурный» как предиката приводит к ситуации использования социокультурного подхода в его интуитивной интерпретации, так как определяет точку зрения, перспективу и горизонт, а следовательно – путь рассмотрения любого явления.

⁵ The sociocultural turn in psychology: The contextual emergence of mind and self / Eds. Kirschner S., Martin J. – Columbia University Press, 2010.

Так, социокультурный подход интерпретируется как методология, интегрирующая методологический инструментарий различных дисциплин, изучающих общество и культуру. Как полагает Ю.М. Резник, методология социокультурного анализа представляет собой многоуровневую систему подходов, принципов и методов исследования, которая объединяет общенаучные принципы анализа, феноменологический подход и экзистенциальный анализ, а также познавательные и методологические возможности социальной философии, социологии, социальной и культурной антропологии, психологии и лингвистики⁶.

Комментируя позицию Ю.М. Резника, отметим, что поскольку, по его мнению, в социальном познании в настоящее время наблюдаются тенденции к междисциплинарной интеграции и теоретическому синтезу, то социокультурный подход в этой перспективе может интерпретироваться как интегративная трансдисциплинарная исследовательская стратегия. Не исключено, что в рамках предложенной интерпретации контент методологии социокультурного анализа может быть расширен за счет методологического арсенала философии культуры, а также других отраслей социального знания, в которых получил распространение социокультурный подход.

Э.А. Орлова ограничивает масштабы методологического синтеза социального знания в рамках социокультурного исследования пересечением предметных областей социологии и культурной антропологии и, соответственно, совмещением концептуальных и методологических ресурсов этих дисциплин⁷. Проблемное поле социокультурного исследования определяется как «общество и его культура» («культура общества»).

Заметим, что предложенная Э.А. Орловой интерпретация социокультурного подхода допускает включение в проблемное поле социокультурного исследования других отраслей социального знания. Например, она пишет: «...социокультурная реальность представляет собой философскую категорию»⁸. Предполагается, следовательно,

⁶ Резник Ю.М. Социокультурный подход как методология исследования // Вопросы социальной теории. – 2008. – Вып. 1.

⁷ Орлова Э. А. Методологические основания социокультурного исследования // Вопросы социальной теории. – 2008. – Вып. 1.

⁸ Орлова Э. А. Указ. соч. – С. 388.

что часть предметного поля философии также входит в проблемное поле социокультурного исследования.

Л.Г. Ионин не рассматривает все отрасли социального знания как относительно равнозначные при проведении социокультурных исследований. Он признает формирование новой дисциплины – «культурной социологии», использующей социокультурный анализ. Последний предполагает применение методологии и аналитического аппарата культурной антропологии, социологии и философии культуры с целью обнаружения и анализа закономерностей социокультурных изменений⁹.

В данной интерпретации социокультурная парадигма соотносится с корреспондирующей ей новой научной дисциплиной – культурной социологией, которая концентрирует ресурсы различных наук о культуре. Б.С. Ерасов также выделяет новую научную дисциплину «социальная культурология», объектом которой рассматривает социокультурную жизнь¹⁰.

Предложены различные решения в отношении специализированных научных дисциплин, реализующих социокультурные исследования. Даже в отношении иногда выделяемой «социокультурологии» выдвинуты версии, интерпретирующие ее как макросоциологию, социологию культуры, культурологию социальных групп¹¹.

Очевидно, что эти решения исходят из идеи синтеза наук об обществе и культуре, но основания синтеза выбираются разные. Проблематичным при этом варианте решения вопроса становится роль и статус других направлений социокультурных исследований – социокультурной антропологии, социокультурной психологии, социокультурной педагогики, социокультурной лингвистики и пр.

Интересным примером в этом отношении является социокультурная психология – достаточно автономное направление в современной западной социологии, развивающее идеи Л.С. Выготского¹².

⁹ Ионин Л.Г. Основания социокультурного анализа. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т., 1995.

¹⁰ Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Аспект Пресс, 2000.

¹¹ Флиер А.А. Современная культурология: объект, предмет, структура // Ответственные науки и современность. – 1997. – № 2. – С. 131.

¹² См.: Wertsch J.V. Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991; Sociocultural studies of mind // Eds. J. Wertsch, P. Rio, A. Alvarez. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995; Lantolf J.P. Introducing sociocultural theory // Sociocultural theory and second language 198

В этом же русле развиваются социокультурная педагогика и социокультурная лингвистика.

Социокультурная психология («социокультурная теория») исходит из общего положения о том, что человеческая деятельность осуществляется в социальном и культурном контекстах. Основными тезисами социокультурной теории в психологии являются: 1) опосредованность – орудийная и символическая – человеческого мышления; 2) социальность познания и обучения; 3) многоаспектный генетический анализ происхождения, формирования и развития психических функций. С учетом этих положений разрабатываются конкретные рекомендации в области педагогической психологии.

Важно отметить, что сам Л.С. Выготский термин «социокультурный» не использовал. Примечательно и другое: в отличие от зарубежных исследователей отечественные психологи не столь активно включены в социокультурный дискурс и относят учение Л.С. Выготского к культурно-историческому направлению в психологии. Зарубежные исследователи в области социокультурной психологии (а также социокультурной педагогики и социокультурной лингвистики), усматривая истоки социокультурной теории в трудах Л.С. Выготского, ограничиваются разъяснением его идей и демонстрацией их значения в различных прикладных аспектах. Таким образом, использование социокультурного дискурса в зарубежной психологии стимулировано внешними дисциплинарными влияниями, возможно, из области социологии.

В отечественном социальном знании о социокультурном подходе впервые заговорили в философии науки, где в контексте дилеммы «экстернализм – интернализм» обсуждались проблемы социокультурной детерминации развития научного знания¹³. В рамках данного направления исследования при общей характеристике различных

learning. – Oxford: Oxford University Press, 2000; The Cambridge handbook of sociocultural psychology / Eds. J. Valsiner, A. Rosa. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007; Kozulin A. Sociocultural paradigm // Lessons from the history of antireductionist empirical psychology. – New Brunswick, London: Transaction Publishers, 2008.

¹³ Стетин В.С. Естествознание как социокультурный феномен // Ценностные аспекты естествознания. Обнинск: Центр. Бюро методологических семинаров АН СССР, 1973; Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного познания. – М.: Наука, 1987; Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени (философский аспект проблемы). – М.: Наука, 1989; Кравец А.С. Социокультурная ниша науки. – Воронеж: Б.м.и., 1990; Социокультурный контекст науки. – М.: Институт философии РАН, 1998 и др.

влияний социокультурных факторов на науку демонстрировался социокультурный механизм развития научного знания, опосредованного картиной мира, идеалами и нормами исследования.

Еще одним дисциплинарным локусом социокультурной парадигмы стала культурология. В российской культурологии представлены две интерпретации социокультурного подхода: как многофакторного подхода и в виде «социокультурной теории и методологии» А.С. Ахиезера.

Пожалуй, наиболее распространена и наименее эксплицирована интерпретация, согласно которой социокультурный подход учитывает многофакторность детерминации процессов. Именно в этом смысле говорят о социокультурном контексте, социокультурной среде и т.п., поскольку все, что входит в состав общества и культуры, может рассматриваться как фактор, детерминирующий изучаемое явление.

Так, отечественная энциклопедия «Культурология. XX век» содержит статью «Социокультурная система»¹⁴. С точки зрения автора этой статьи В.Г. Николаева, термин «социокультурная система» является альтернативой терминам «социальная система» и «культурная система», а его использование помогает избежать социологического, технологического и культурного детерминизма и обеспечить многофакторный подход к изучению социокультурной реальности.

Заметим, что с позиций плюрализма многофакторный анализ явлений проводился и до возникновения социокультурного подхода. Кроме того, многофакторный подход имеет более общий характер и применяется не только в гуманитарных науках, но и в естествознании. Поэтому отождествление социокультурного подхода с многофакторным подходом некорректно, к тому же оно затрудняет его дисциплинарную локализацию.

А.С. Ахиезер разработал оригинальную концепцию «социокультурной теории и методологии» в рамках решения задачи анализа социокультурной динамики России¹⁵. Эта концепция легла в основу

¹⁴ Николаев В.Г. Социокультурная система // Культурология. XX век. Энциклопедия. – Т. 2. – СПб.: «Российская политическая энциклопедия», 1998. – С. 547–548.

¹⁵ Ахиезер А.С. Методология социокультурного исследования переходных процессов (на материалах России): Дис. ... в виде науч. докл. – М., 1997; Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). – Т. 1. От прошлого к будущему. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998; Ахиезер А.С. Философские основы социокультурной теории и методологии // Вопросы философии. – 2000. – № 9.

действовавшего во второй половине 1990-х годов независимого теоретического семинара «Социокультурная методология анализа российского общества».

В человеческой деятельности А.С. Ахиезер выделил две противоречивые стороны – социальные отношения и культуру¹⁶. Культура понимается как текст (программа), ядром которой выступает нравственный идеал. Предполагается, что из всех текстов культуры отбираются эффективные программы, учитывающие конкретно-историческую специфику общества. Соответственно, социокультурный подход нацелен на выявление в культуре параметров, наиболее значимых для воспроизводства общества. Задачу социокультурного подхода А.С. Ахиезер видит в «актуализации» и «социализации» культуры, в творчестве и реализации в жизни текстов и программ, повышающих способность общества к выживанию.

Социокультурную динамику России А.С. Ахиезер рассматривает как противоречивую, напряженную историю реализации нравственных идеалов (вечевого, авторитарного, либерального, соборного). Ситуация противоборства нравственных идеалов обусловлена, по его мнению, промежуточным положением России между либеральной цивилизацией (Западом) и традиционной цивилизацией (Востоком). Промежуточность российской цивилизации определяет ее внутренний раскол, процессы инверсии и медиации, цикличную повторяемость модернизации и архаизации.

Анализ соотношения культуры и социальных отношений, акцент на нравственной детерминации российской истории, фокусировка внимания на оппозиции «Восток – Запад» позиционируют концепцию А.С. Ахиезера не только как культурологическую, но и как философско-историческую, а также определенным образом решающую основополагающие вопросы философии культуры и социальной философии. Таким образом, в рамках данной интерпретации намечается философская локализация социокультурной парадигмы.

Н.И. Лапин в статье «Отношения общественные» в «Новой философской энциклопедии» указывает, что в социокультурном подходе «культурные и социальные отношения (включая экономические) соотносятся как равновлиятельные, а не односторонне детермини-

¹⁶ Ахиезер А.С. Культура и социальные отношения // Перестройка общественных отношений и противоречия в культуре. – М.: ИФАН, 1989.

рующие функционирование и эволюцию общества»¹⁷. По его мнению, социокультурный подход предложил П.А. Сорокин на основе проведенных им историко-культурных исследований.

Данная Н.И. Лапиным характеристика социокультурного подхода не вполне убедительна. Так, по П.А. Сорокину, «культурные отношения» не возможны как вид общественных отношений, поскольку культура – предметно-символический мир. Кроме того, сам Н.И. Лапин в этой же статье дифференцирует общественные отношения на экономические, социальные, политические, моральные, идеологические и др., но культурные отношения не выделяет. Заметим, что авторы «Новой философской энциклопедии» вообще не оперируют термином «культурные отношения».

Не ясно также, включаются ли экономические отношения в социальные отношения, или они относятся к разным сферам общественной жизни. При многочисленных исследованиях экономической культуры, политической культуры, идеологической культуры, сомнительным является противопоставление культурного и социального (включающего, в частности, экономическое). В силу этого определение социокультурного подхода, сформулированное на основе дихотомии «культурного» и «социального», представляется недостаточно обоснованным.

Замечание Н.И. Лапина о «равновлиятельности», а не «односторонности» детерминирующих факторов в социокультурном подходе, редуцирует его содержание к многофакторному подходу, учитывающему множество «культурных» и «социальных» факторов.

В других публикациях Н.И. Лапин характеризует социокультурный подход в различных аспектах. Так, он декларирует следование П.А. Сорокину, которого считает основоположником социокультурного подхода. Кроме того, рассматривает данный подход как конкретизацию принципа универсального эволюционизма, выдвинутого Н.Н. Моисеевым. Социокультурный подход также понимается как связывающий цивилизационный и формационный подходы, – и в то же время как совместимый со структурно-функциональным подходом.

Суть социокультурного подхода Н.И. Лапин видит в понимании общества как «единства культуры и социальности, образуемых

¹⁷ *Лапин Н.И.* Отношения общественные // Новая философская энциклопедия: В 4 т. – М., 2010. – Т. 3. – С. 178.

и преобразуемых деятельностью человека»¹⁸. Под культурой он понимает материальные и духовные результаты человеческой деятельности: идеи, ценности, нормы, образцы и др. Социальность, согласно Лапину, это совокупность общественных отношений. Таким образом, бинарная оппозиция социального и культурного сохраняется, хотя понимается иначе, чем П.А. Сорокиным и А.С. Ахиезером.

Данной оппозиции Н.И. Лапин придает большое значение, и она фигурирует как основание формулируемых им второго и четвертого принципов из шести выделяемых им принципов социокультурного подхода: 1) принцип человека активного; 2) взаимопроникновение культуры и социальности; 3) совместимость личностно-поведенческих характеристик человека и социетальных характеристик общества; 4) социокультурный баланс, или равновесие между культурными и социальными компонентами; 5) симметрия и взаимообратимость социетальных процессов; 6) необратимость эволюции социокультурной системы¹⁹.

В эмпирическом анализе социокультурных трансформаций в истории России Н.И. Лапин обращается главным образом к третьему принципу, интерпретируя его как противоречие между индивидом и социумом. Реализуя исследовательскую программу «Социокультурные проблемы эволюции России и ее регионов», Н.И. Лапин декларировал применение «антропосоциетального подхода» как «постклассической» версии социокультурного подхода²⁰.

Обратим внимание, что «постклассический» вариант социокультурного подхода оказался не развитием этого подхода в его целостности (в предложенной Н.И. Лапиным версии), а некоторой модификацией одного из декларированных принципов. Поэтому едва ли автор может обоснованно говорить о реализации социокультурного

¹⁸ *Лапин Н. И.* Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры // Социологические исследования. – 2000. – № 7. – С. 3.

¹⁹ *Лапин Н. И.* Указ. соч. – С. 5–6.

²⁰ *Лапин Н.И.* От социокультурного – к антропосоциетальному подходу // II Всероссийская научная конференция Сорокинские чтения-2005. Будущее России: стратегии развития. 14–15 декабря 2005 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lib.socio.msu.ru> (Дата обращения: 05.02.2011 г.); Социокультурный портрет региона. Типовая программа и методика / Под ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. – М.: ИФ РАН, 2006. – С. 22; *Лапин Н.И., Беляева Л.А.* Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация – 2010). – М.: ИФ РАН, 2010. – С. 15.

подхода в его целостности, если вычлняет один из принципов и модифицирует его.

Методически содержание антропосоциетального подхода при его реализации в рамках исследовательской программы «Социокультурные проблемы эволюции России и ее регионов» выразилось в историко-географическом описании регионов, конкретных поселений, социального самочувствия населения, его капитала и культурного потенциала, трудовой мотивации и экономической активности, уровня и качества жизни, социальной стратификации и мобильности, инновационной деятельности, состояния правопорядка и правонарушений, государственного и муниципального управления²¹.

На наш взгляд, представленная концептуальная схема в своей эмпирической реализации ограничивается комплексным многофакторным социологическим анализом жизни регионов. Едва ли здесь можно говорить о реализации социокультурного подхода. В связи с этим возникает вопрос о ключевых идеях социокультурного подхода, а, точнее, о некотором минимуме принципов, которые должны быть концептуально реализованы в описании конкретного объекта.

В дополнение отметим, что в отношении социокультурной динамики России, основываясь на принципе совместимости личностно-поведенческих характеристик человека и социетальности, Н.И. Лапин акцентирует противостояние либеральной и традиционной цивилизаций²².

Итак, в работах Н.И. Лапина социокультурный подход представлен двояко. С одной стороны, это многофакторный подход, обеспечивающий комплексное социальное описание конкретных объектов традиционными инструментами различных наук. В этом случае едва ли можно говорить о социокультурной парадигме. С другой стороны, социокультурный подход, фиксирующий различные измерения человеческого бытия, интерпретируется как промежуточный научный продукт, снимаемый более эффективным антропосоциетальным подходом. Тем самым парадигмальное значение социокультурного подхода дезавуируется, а в центре внимания оказывается проблематика социальной антропологии.

²¹ Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте // Сост. и общ. ред. Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой. – М.: Изд-во Academia, 2009.

²² Лапин Н.И. Социокультурная трансформация России: либерализация versus традиционализация // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – № 3. 204

Обращает внимание определенное сходство концептуальных положений и выводов А.С. Ахиезера и Н.И. Лапина. Оба автора исходят из противоречия культуры и социальности, хотя определяют эти конструкты по-разному: первый – как текст, второй – как материальные и духовные ценности.

Напомним, что еще в 1970 г. О.И. Генисаретский ключевой проблемой социологии считал противопоставление понятий культурной и социальной систем (культуры и общества)²³. Это противопоставление он предложил снять в онтологической модели социокультурной (или общественной) системы, которая состоит из социальной системы – мира социальных предметов – и культурной системы – мира культурных значений. В данной модели дифференциация и интеграция социума и культуры составляет социокультурный процесс. Очевидно, что по содержанию онтологические схемы А.С. Ахиезера и О.И. Генисаретского совпадают, а по своему эпистемологическому статусу являются не социологическими, а социально-философскими.

С.Г. Кирдина характеризует данные интерпретации как философские по происхождению, принадлежащие к традиции «социологии от философии». В отношении общего для А.С. Ахиезера и Н.И. Лапина положения о преимущественно традиционалистском характере российского общества и пессимистического вывода о невозможности осуществить его глубокую либеральную модернизацию она пишет: «...Разделение общественных ценностей на «позитивные либеральные» и «негативные традиционные» создает в данном подходе замкнутый логический круг и предопределяет результаты исследования социальных изменений. Неявно постулируется, что в обществах с доминированием традиционных ценностей (к которым авторы относят Россию) эти изменения, по сути, невозможны или чрезвычайно ограничены»²⁴.

По оценке С.Г. Кирдиной, своими выводами А.С. Ахиезер и Н.И. Лапин фактически дезавуируют свое положение о примате ценностей и нравственных идеалов в общественном развитии. «... Сама методология анализа, ставящая роль ценностей в социаль-

²³ *Генисаретский О.И.* Опыт методологического конструирования общественных систем // Моделирование социальных процессов. – М.: Наука, 1970. – С. 48.

²⁴ *Кирдина С.Г.* Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России // Социологические исследования. – 2002. – № 12. – С. 27.

ных изменениях «во главу угла», а затем определяющая один из типов этих ценностей как «тормоз общественного развития», логически противоречива, – замечает она. – И поэтому дихотомическое деление общества на традиционалистские и либеральные содержит в себе латентное утверждение о неспособности или способности их развития. Ибо как могут измениться ценности индивидов, если они представляют собой элемент культурной системы (в этом суть социокультурного подхода) с уже заданными исследователями характеристиками?»²⁵.

Оценивая данную трактовку как алармистскую, С.Г. Кирдина выступает за позитивную социологию, которая должна опираться на социокультурный и институциональный подходы. Ценность социокультурного подхода ей представляется, с одной стороны, в выявлении устойчивых социальных структур, а с другой стороны, в факультативном описании социокультурного контекста институциональной динамики.

На наш взгляд, данная оценка проблематизирует эвристику социокультурной парадигмы. Если она не предлагает образец эффективного решения выявленной головоломки «традиционализм – либерализм», а наоборот, констатирует ее неразрешимость, то в чем тогда состоит его парадигмальность для научного сообщества, в том числе для социологов?

Локализация социокультурного подхода в дисциплинарном поле социологии достаточно распространена²⁶. Но при этом концептуальные основания социокультурного подхода усматриваются, прежде всего, в области философии. Так, украинские социологи Н. Черныш и О. Ровенчак характеризуют реализуемую в социологии социокультурную парадигму как проявление интегративной тенденции в области социогуманитарного знания. Перспективными для социологии они

²⁵ Кирдина С. Г. Указ. соч. – С. 27.

²⁶ Нечаев В. Я. Социокультурная парадигма в социологии образования // Социология образования. – М.: Центр социологии РАО, 1993. – Ч. 1.; Ельникова Г.А. Социокультурная парадигма социологического исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://конференция.com.ua/pages/view/705> (Дата обращения: 12.08.2013.); Темницкий А.Л. Социокультурное в условиях сложного общества: от нерасчлененного понятия к дуальным оппозициям // Вестник МГИМО Университета. – 2011. – № 4; Белякова Ю. Л. Социокультурный подход: этапы формирования и основные императивы // Государственное управление. Электронный вестник. – 2011. – Вып. 29. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/29/Belyakova.pdf> и др.

считают ряд идей: представление В.С. Библера о культуре как главном предмете философии, положение В.С. Степина о возрастающей роли культуры с ее программируемой по отношению к обществу функцией, вывод М.С. Кагана об усилении роли культуры в жизнедеятельности человека и человеческих общностей²⁷.

Н. Черныш и О. Ровенчак высказывают критические замечания в отношении версий социокультурного подхода, предложенных А.С. Ахизером и Н.И. Лапиным. Общность этих версий они видят в следующем: 1) разработка социокультурного подхода в русле учения П. Сорокина о социокультурной динамике; 2) попытки сочетания социокультурного и деятельностного подходов; 3) открытость вопроса о субъектах-творцах новых культурных программ; 4) выбор в качестве объекта анализа российского общества его прошлого при отсутствии сценариев будущего; 5) оценка России как традиционного общества, в котором модернизация не удалась²⁸.

Остановившись на трех последних моментах, Н. Черныш и О. Ровенчак усматривают в них признаки методологического кризиса (тупика). Авторы упрекают российских философов в том, что они не рассматривают возможности выхода России за рамки дихотомии «традиционное – либеральное/модерное общество» и усматривают потенциалы социокультурного развития в приближении к ценностям зрелой либерализации.

Подводя итоги своего обзора, Н. Черныш и О. Ровенчак заключают, что разработка социокультурного подхода известными российскими философами раскрыла перспективы его применения в социогуманитарных науках, но породила методологический кризис при его реализации в анализе российского общества. Это привело, на их взгляд, к алармизму российской социологии, преобладанию негативистического и критического видения современного российского социума и к неопределенности прогнозов на будущее²⁹.

Поддерживая в целом украинских социологов, обратим все же внимание на следующий момент. Если социокультурный подход при его реализации дает методологический сбой, то он оказывается «не-

²⁷ Черныш Н., Ровенчак О. Социокультурный подход в социогуманитарных науках: обмен смыслами // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 97–98.

²⁸ Черныш Н., Ровенчак О. Указ. соч. – С. 100.

²⁹ Черныш Н., Ровенчак О. Указ. соч. – С. 101.

работающим» подходом, не способным разрешить предлагаемые ему «загадки». И тогда возникает вопрос: какие исследовательские задачи возможно решать на основе социокультурного подхода? По-видимому, эвристика банальной проблематичной констатация взаимодействия общества и культуры минимальна и едва ли может конституировать социокультурную парадигму.

Вернемся к положению, общему для версий социокультурного подхода, предложенных А.С. Ахиезером и Н.И. Лапиным. Это дихотомия «социальность – культура». По мнению Н. Черныш и О. Ровенчак, данная дихотомия положена в основу социокультурного подхода и выражается в биноме «социокультурный». Украинские исследовательницы приветствуют данную дихотомию, выступают за гармоничное единство социального и культурного компонентов и настаивают на ненужности «строгого размежевание социальных и культурных аспектов единой социокультурной реальности»³⁰.

На наш взгляд, именно противопоставление в обществе социальных и культурных компонент является источником методологического кризиса рассмотренных версий социокультурного подхода. Сегодня фундаментальным является вопрос, является ли культура чем-то трансцендентным, существующим вне общества, или это часть (аспект, измерение) общества? Мы полагаем правильной позицию, которую заняли Н. Черныш и О. Ровенчак, которые пишут: «Культурное качество того или иного общества-системы не сводится к его отдельным свойствам и связано с ним как с целым, охватывая общество полностью и оставаясь неотделимым от него»³¹. Данная трактовка культуры не позволяет отделять культуру от общества, требует выделять в любой сфере общественной жизни культурный аспект, а следовательно, не допускает столь распространенного внешнего сопоставления «культурных» и «социальных» составляющих общества.

В то же время авторы не удерживаются на данном понимании культуры и продолжают размышлять о взаимодействии «социального» и «культурного». В заключение, итоговое положение социокультурного подхода они формулируют как принцип и требование социокультурного баланса, то есть относительного равновесия между со-

³⁰ Черныш Н., Ровенчак О. Основные понятия и положения социокультурного подхода и специфика применения их в социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 48.

³¹ Черныш Н., Ровенчак О. Указ. соч. – С. 52.

циальной и культурной компонентами как условия обретения нового качества общества³². Думается, это уже не методологический, а онтологический тупик.

Н. Черныш и О. Ровенчак оценивают социокультурный подход как методологическое средство, применяемое в социологии, но разрабатываемое преимущественно философами и реализуемое в целом в социогуманитарных науках. Подобное трансдисциплинарное видение социокультурного подхода без его определенной дисциплинарной локализации присуще также Ю.М. Резнику, указывающему на перспективу интеграции всего социального знания в форме социальной теории. Еще один вариант трансдисциплинарного позиционирования социокультурного подхода в области гуманитаристики был предложен В.П. Фофановым.

Социокультурный подход он понимает как уровень исследований в гуманитарных науках (его стадию, звено), когда в движении от абстрактного к конкретному реализуется переход от «единого общего» к «отдельному общему» и, соответственно, разрабатывается общая теория отдельного, а познание нацелено на фиксацию не только общих закономерностей социальных систем, но и особенностей реализации этих закономерностей в историческом процессе³³.

В.П. Фофанов, с одной стороны, характеризует социокультурный подход как уровень конкретно-эмпирического описания объекта. С другой стороны, указывает на необходимость общей теории отдельного, включающей иерархию понятий, удовлетворяющих требованиям: 1) возможности сочетания в их содержании общих и специфических признаков; 2) открытости содержания, учитывающего перспективы непрерывного развития объекта³⁴.

К понятиям социокультурного уровня В.П. Фофанов предлагает относить понятия социального организма, отдельного социального организма, цивилизации и культуры, социокультурного типа деятельности, социокультурной схемы деятельности, «созвездия знания», рефлексии цивилизаций и др.

³² Черныш Н., Ровенчак О. Указ. соч. – С. 52.

³³ Фофанов В. П. Методологическое значение социокультурного подхода в разработке новой концепции советского общества // Современные интерпретации социокультурных процессов. – Кемерово: КГИИК, 1994. – С. 4.

³⁴ Кругова Т.Г., Фофанов В.П. «Созвездие знаний» как феномен культуры: к разработке методологии гуманитарных исследования // Социокультурные исследования. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1997. – С. 227.

Оценивая данную версию социокультурного подхода, отметим, прежде всего, наличие ее общепhilosophического обоснования. Социокультурный подход В.П. Фофанов связывает с переходом от познания *общего* к познанию *отдельного*. Предполагается, что в отношении последнего может быть дано как конкретно-эмпирическое описание, так и разработана общая теория отдельного.

В философии последовательный переход от всеобщего к единичному всегда представлял известные трудности. Напомним в связи с этим противостояние номинализма и реализма в средневековой философии, противопоставление некантианцами идеографического и номотетического методов познания. Отнесение социокультурного подхода к ступени познания отдельного восполняет недостающие методологические звенья, чем, возможно, и объясняется энтузиазм сторонников социокультурного подхода.

В версии В.П. Фофанова снимается также проблемная дихотомия «социальное – культурное». Интерпретируя культуру как конкретно-исторический, специфический вариант существования социального организма, он избегает некантианской фетишизации культуры.

Предложенные данным автором социокультурные понятия интересны в том отношении, что они дисциплинарно отличны от многих понятий, которые включил в А.С. Ахиезер в «Социокультурный словарь». В этом словаре мы находим понятия абстрактного, идеологии, власти, капитала, управления и т.п. Их включение в тезаурус понятий социокультурного подхода вызывает сомнения.

В.П. Фофанов тоже относит к социокультурному подходу понятия, которые уже известны из других философских дисциплин, прежде всего, из социальной философии и философии истории – это понятия социального организма, культуры, цивилизации. В связи с этим возникает общий вопрос об эпистемологическом статусе социокультурного подхода и его понятий.

В эпистемологическом плане В.П. Фофанов ассоциирует социокультурный подход и социокультурные исследования с гуманитарными науками. Вместе с тем его обоснование этого подхода опирается на категории социальной философии, а конструируемые социокультурные понятия известны как основополагающие понятия философии истории. Как следствие, возникает неопределенность с дисциплинарным позиционированием социокультурного подхода как в пределах корпуса философских дисциплин, так и в их отношении к гуманитарным наукам.

В целом, на наш взгляд, В.П. Фофанов сделал шаг вперед в обосновании социокультурного подхода. Он эксплицитно зафиксировал его философские основания и ключевые онтологемы. В его версии присутствует интуиция локализации, пространственной-временной конкретизации социальных моделей. Снята проблемная дихотомия «социальное – культурное». Предложены оригинальные социокультурные понятия и даны концептуально новые интерпретации уже известных понятий.

При всем при этом дисциплинарный статус социокультурного подхода в целом остается проблематичным. Его позиционирование в области гуманитаристики представляется неопределенным, особенно, при очевидном факте его философского обоснования. Кроме того, парадигмальный статус предполагает демонстрацию классических образцов решения исследовательских задач, а В.П. Фофанов на такие образцы не указывает.

Проведенный анализ выявил две тенденции в локализации социокультурной парадигмы: трансдисциплинарная и конкретно-дисциплинарная. В поисках истоков социокультурной парадигмы обратимся к творчеству П.А. Сорокина.

Социокультурный дискурс Питирима Сорокина

П.А. Сорокин начал использовать гибридный термин «социокультурный» в своем труде «Социальная и культурная динамика» (1937–1941). Поэтому небезосновательно в отечественном общественном сознании П. Сорокина единодушно называют родоначальником социокультурного подхода. Считаясь с этим мнением, напомним, что П. Сорокин в своих трудах не выделял социокультурный подход как исследовательскую ориентацию. Отсюда возникает задача реконструкции «социокультурных воззрений» П. Сорокина.

Систематически феномен социокультурности описан П. Сорокиным в его работе «Общество, культура и личность: их структуры и динамика» (1947 г.), где он определяет социологию как генерализующую науку о социокультурных явлениях. Тем самым он относит себя к «социологической» или «социокультурной» школе в социологии. Социокультурная школа оценивается им как магистральное направление в социологии, а к периферийным направлениям причисляет космосоциологию, биосоциологию, механи-

тическую и психологическую школы. Заслуги социокультурной школы П. Сорокин усматривает:

- в учете системного эффекта взаимодействий индивидов, конституирующих социокультурную реальность;
- в объяснении психологических характеристик свойствами социокультурного взаимодействия, в матрицу которого они заложены;
- в описании личности, ее образа жизни и поведения в обусловленности социокультурным пространством;
- в анализе основных повторяющихся социокультурных процессов;
- в выделении отдельных факторов как независимых социокультурных переменных и изучении взаимозависимостей в социокультурной системе;
- в типологизации и субординации социокультурных структур, анализе их отдельных элементов и функций;
- в характеристике созвездий основных культурных систем (языка, науки, философии, религии, искусств, права и морали и т.д.) в культурных суперсистемах³⁵.

В идее социокультурных явлений для П.А. Сорокина было важно то, что общество как объект социологии фиксируется не как состоящее исключительно из людей, а как включающее помимо людей значения, ценности и нормы, а также открытые действия и материальные артефакты. Резюмируя свое представление о предмете социологии в тезисе «Личность, общество и культура как неразрывная триада», П.А. Сорокин писал: «Структура социокультурного взаимодействия, если на нее посмотреть под несколько иным углом зрения, имеет три аспекта, неотделимых друг от друга: 1) *личность* как субъект взаимодействия; 2) *общество* как совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами и 3) *культура* как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения»³⁶.

Именно это пояснение проблематизирует теоретическую конструкцию П.А. Сорокина. В действительности он выделяет два аспек-

³⁵ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 185–189.

³⁶ Там же. – С. 218.

та – общество и культуру. Общество состоит из взаимодействующих личностей, а культура – из институтов, материальных и духовных артефактов. Таким образом, культура рассматривается не как часть общества, а как его дополнение, существующее вне общества. Конструкция понятия социокультурный как раз и фиксирует соединение общества и культуры как взаимосвязанных, но внешних по отношению друг к другу реалий.

Можно говорить, что дуализм общества и культуры является оппозицией, снятие которой, по мнению П.А. Сорокина, конституирует предмет социологии. Он настаивает на включении культуры в предмет социологии, но не видит в культуре часть общества. Таким образом, в понимании П.А. Сорокина предметом социологии выступает единство общества и культуры, которое на элементарном уровне репрезентируется понятием социокультурного явления.

Интересно, что представление о раздельности общества и культуры у П.А. Сорокина не было устойчивым.

В ранний период его творчества можно отметить два различных решения проблемы единства общества и культуры. В своей первой университетской лекции по социологии он доказывает, что общество как предмет социологии – это не просто агрегат или отношения индивидов, а взаимодействие индивидов, опосредованное психикой (сознанием). Примечательно то обстоятельство, что вещный мир не рассматривается как необходимая составляющая общественной жизни³⁷.

В монографии «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914) при характеристике элементарного социального явления он, наоборот, указывает на символы (овеществленную, объективированную психику) как необходимую составляющую психического взаимодействия индивидов, позволяющую обеспечить взаимопонимание³⁸. Поскольку символы в описании П.А. Сорокина – это предметный, вещественный мир застывших человеческих переживаний (религиозных, правовых и т.п.), то они составляют культуру в том смысле, в котором он употреблял это понятие в зрелый период своего творчества. Последняя, таким образом, включалась в состав общества как его неотъемлемая часть. Этим объясняется частое использование в указанной монографии выражения «культурность общества».

³⁷ Там же. – С. 28.

³⁸ Там же. – С. 50.

Попутно заметим, что символическая трактовка культуры, которой – следуя Г. Зиммелю – придерживался П.А. Сорокин³⁹, в определенной степени объясняет восприятие концепции Л.С. Выготского как социокультурной теории. Ключевое положение социокультурной психологии – идея символического опосредования человеческой деятельности. В этом пункте столь разные и никак не соотносящиеся друг с другом репрезентации социокультурного подхода полностью совпадают. Вероятно, что общим их основанием являлся интеллектуальный фон культуры «серебряного века», в которой неокантианство и символизм были влиятельными направлениями.

Очевидно, что П.А. Сорокину не удастся четко различить теоретические конструкты общества и культуры, и, в конечном счете, он рассматривает культуру как часть общественной жизни.

Оценивая продуктивность термина «социокультурный» в том значении, которое ему придал П.А. Сорокин, А.Ю. Котылев пишет, что другими социологами он принят не был, в отличие от ряда других понятий, введенных ученым в ранний период своего творчества⁴⁰. Социологи предпочли фиксировать предмет социологии понятием социального, включая культуру в состав общества, т.е. рассматривая культурное как аспект социального.

Таким образом, пафос введения П.А. Сорокиным концепта социокультурного состоял во включении в предметную область социологии предметно-символического мира, объективированного, овеянного духом. Оценка эвристической значимости данной установки в контексте динамики социологической науки первой половины XX века составляет самостоятельную задачу, на решении которой мы здесь не будем останавливаться. В контексте современного социологического мышления, когда сформировались различные отрасли социологии, изучающие культуру, религию, науку и пр., призыв к включению культуры (как мира символов) в предмет социологии представляется тривиальным и неинтересным.

Пожалуй, трудно найти социолога, который бы в социологическом анализе общества исключал из него предметно-символический мир. Например, известный в конце XIX в. русский социолог С.Н. Южаков рассматривал общественный строй как единство жиз-

³⁹ Сорокин П.А. Символы в общественной жизни. – Рига: Наука и жизнь, 1913.

⁴⁰ Котылев А.Ю. Понятие «социокультурный» в терминологическом словаре П.А. Сорокина // Наследие. – Сыктывкар. 2012. – № 2. – С. 47.

ненной активности людей и созданной ею культуры как особой общественной среды⁴¹. И мало кто из социологов исключал культуру из состава общества.

Другое дело, при теоретическом конструировании идеализированного объекта социологии неполнота абстрагирования, опускавшая предметно-символический мир и допускающая тем самым психологизацию предмета социологии, вызывала обоснованные возражения. Указав на неполноту абстрагирования и вводя в определение идеализированного объекта социологии мир символов (культуру), П.А. Сорокин тем самым согласился с подходом психологической школы в понимании социального как психически опосредованного взаимодействия индивидов и ввел интегральное понятие социокультурного.

В социологии общепринятым оказалось другое решение, – из которого П.А. Сорокин исходил в монографии «Преступление и кара, подвиг и награда», – когда социальное понималось как включающее культурное. Вариант решения, противопоставляющий при определении предмета социологии социальное и культурное как два аспекта социокультурного явления, в социологическом сообществе в целом поддержки не получил.

Итак, поскольку включение мира культуры в предметную область социологии было традиционным для нее, то, разумеется, не в этом решении усматривалась эвристика социокультурной парадигмы. Поэтому подлежит выяснению вопрос: какое же методологическое решение П.А. Сорокина рассматривается как эталонное для социокультурной парадигмы?

Для ответа на этот вопрос обратимся к его работе «Социальная и культурная динамика» (1957) – сокращенной версии его фундаментального труда «Социальная и культурная динамика» (1937–1941), который иногда рассматривается как образец реализации социокультурной парадигмы.

В этой работе П.А. Сорокин дифференцирует динамику культурных систем и социальных систем. Под культурой он понимает все духовное и материальное достояние, созданное индивидами, а под социальным – отношения между индивидами и их группами. «Различие между категориями «культурное» и «социальное», – пишет он, – весьма условно и относительно; любая культура создана определенной социальной группой, объективацией которой она является; а лю-

⁴¹ Южаков С.Н. Социологические этюды. – М.: Астрель, 2008. – С. 76.

бая социальная группа имеет свою определенную культуру. Тем не менее чисто технически эти категории можно изучать параллельно и в интересах научного анализа изолировать друг от друга как разные аспекты единого и неразделимого «социокультурного мира»⁴².

В целом социокультурный универсум, как пишет П.А. Сорокин, может восприниматься как сложный и неисчерпаемый хаос из несметного количества разнообразных отдельных объектов, событий, процессов, фрагментов, имеющих бесконечное множество форм, свойств и связей. Единство культуры может реализовываться на нескольких уровнях интеграции: (1) конгломераты (механические скопления) отдельных элементов культуры; (2) ассоциации, соединения разнородных элементов культуры, связанных посредством общего для них внешнего фактора (внешнего основания); (3) причинно-функциональная интеграция в созвездие культурных подсистем на основе взаимообусловленности и взаимозависимости; (4) логико-смысловая интеграция, формирующая гармоническое единство.

Последний уровень интеграции П.А. Сорокин считал высшим и в качестве иллюстрации приводил следующий пример: «Предположим, перед нами рассыпанные страницы какой-нибудь великой поэмы или кантовской «Критики чистого разума», а может быть, фрагменты статуи Венеры Милосской или же разрозненные страницы из партитуры «Третьей симфонии» Бетховена. Если мы знаем их подлинный смысл и ценность, то мы можем сложить эти страницы или части в смысловое единство, в рамках которого каждая страница или фрагмент займет свое собственное место, обретет смысл, и все вместе они создадут тот эффект «сверхинтеграции», который был в них заложен»⁴³. В связи с этим П.А. Сорокин говорил о применении логико-смыслового метода реконструкции культуры, состоящего в нахождении основного принципа, который пронизывает все компоненты, придает смысл и значение каждому из них и тем самым создает космос из хаоса разрозненных фрагментов, конституируя ее социокультурную и логико-смысловую индивидуальность, ее особый стиль, облик и характер.

Сформулированная П.А. Сорокиным методологическая ориентация, бесспорно, имеет философский статус, а методологическая установка на усмотрение космоса в хаосе разрозненных фрагментов отве-

⁴² Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – М: Астрель, 2006. – С. 550.

⁴³ Там же. – С. 41–42

чает интуициям социокультурного подхода. Так, обычно связываемые с социокультурным подходом апелляции к многофакторности выражают устремление к поиску их неповторимого единства в составе отдельного объекта или в его детерминации.

В методологическом плане представляют интерес методологемы, которые можно рассматривать как предпосылки «логико-смыслового метода». Установление «основного принципа» соответствует логике восхождения от абстрактного к конкретному. Реконструкция «космоса» невозможна без реализации системного подхода. Значимость «смысла» актуализирует герменевтические методы.

Список выделенных нами предпосылочных методологем, наверняка, не исчерпывающий. Но важно другое. Если интерпретировать «логико-смысловой метод» как предварительную попытку формулировки социокультурного подхода, то в отношении последнего следует констатировать, что он снимает в себе подходы и методы, развиваемые на более абстрактных уровнях философского познания. Суть социокультурного подхода, например, не сводится к системному описанию социокультурных систем, но необходимо предполагает его. Таким образом, социокультурный подход выступает сложной методологической конструкцией, которая снимает в себе предпосылочные методологемы, но не сводится к ним.

Возвращаясь к характеристике логико-смыслового метода как прототипа социокультурного подхода отметим, что индивидуальность культуры может символизироваться выдающейся личностью, которая воспринимается как ее прасимвол, высшая ценность, смысловой и организующий центр. Согласно П.А. Сорокину, главным «принципом» средневековой культуры Запада был Бог. Добавим, что именно в том смысле можно говорить о буддийской, конфуцианской, «магометанской» и христианской культурах, включая кальвинистский и лютеранский подтипы христианства. В данных примерах выдающаяся личность, подобно тотемному первопредку, может персонифицировать индивидуальность культуры.

Любопытно, что себя П.А. Сорокин считал представителем идеалистической культуры, т.е. человеком, способным контролировать себя и свои желания, с сочувствием относящегося к своим ближним, понимающего и ищущего вечные ценности культуры и общества, глубоко осознающего свою личную ответственность в мире⁴⁴.

⁴⁴ Там же. – С. 26, 794.

Внимание П.А. Сорокина к интеграции социокультурных систем объясняется интегрализмом как его личной философской позицией⁴⁵. Суть интегрализма он видел в:

- единстве Правды, Добра и Красоты,
- Истине, полученной с помощью интегрального использования трех каналов познания — чувства, разума и интуиции,
- интегрализме человека как эмпирического организма, рационального мыслителя и деятеля, сверхчувственного и сверхрационального существа;
- неэгоистической творческой любви, создающей интегральную идеалистическую социокультурную систему.

Интегрализм, на наш взгляд, справедливо оценивается как светская модификация философии всеединства В.С. Соловьева⁴⁶, хотя обращается внимание на религиозные аспекты интегрализма⁴⁷.

Мы специально обращаем внимание на философские основания учения П.А. Сорокина, поскольку в соответствии с тремя наиболее важными модусами бытия (эмпирически-чувственный, рационально-умственный, сверхчувственно-сверхрациональный) он выделяет три типа культурных систем (чувственную, идеациональную и их сбалансированный синтез – идеалистическую систему) и три типа социальных отношений (семейственные, принудительные, договорные).

В отличие от закона трех стадий О. Конта, соотношение этих типов он усматривает не в последовательной смене в линейном порядке, и не в циклической повторяемости, а как соотношение, существующее в режиме флуктуации (пульсации), смены в неопределенном порядке, с вариативными повторениями. В результате социокультурная эволюция представляет собой переменную смену и обновление указанных форм. На основе проведенного макросоциологического анализа П.А. Сорокин прогнозирует появление идеалистической культуры или смешанного типа чувствен-

⁴⁵ Сорокин П.А. Моя философия — интегрализм // Социологические исследования. – 1992. – № 10.

⁴⁶ Сапов В.В. «Магический кристалл» социологии // Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – М.: Астрель, 2006. – С. 6.

⁴⁷ Джеффрис В. Интегрализм П.А. Сорокина: новая общественная наука и реконструкция человечества // Социологические исследования. – 1999. – №.

ной и идеациональной культуры, в том числе в результате конвергенции капитализма и социализма⁴⁸.

Казалось бы, в концепции П.А. Сорокина трудно усмотреть что-то принципиально новое. Различения типов культур и их эмпирическая верификация малоубедительны. С античности известна упоминаемая П. Сорокиным концепция кругооборота форм государств (Платон, Полибий), согласно которой формы правления сменяют друг друга в определенном, но нежестко детерминированном порядке. Идею конвергенции и возникновения смешанного социокультурного типа можно рассматривать как социологическую генерализацию античной концепции смешанной конституции, указывающей на устойчивость смешанной формы правления. Таким образом, его учение о социальной и культурной динамике можно рассматривать как макросоциологическую генерализацию известных концепций.

Подчеркивая оригинальность своего подхода по сравнению с философско-историческим циклизмом⁴⁹, П.А. Сорокин указывает на свой оптимизм, базирующийся на выводе о том, что культурные системы не погибают окончательно, а уступают господствующее положение альтернативным формам. Тем самым, на его взгляд, он разрешает многовековой спор в философии истории между «линеаристами» («прогрессистами») и «циклистами».

По его мнению, развитая им концепция вариантного повторения допускает вечно новые вариации старых тем, подчеркивает наличие ограничений в линейной направленности большинства социокультурных процессов, прогнозирует сдвиги и отклонения на новые пути, а также неожиданную актуализацию возможностей из «запаса развития». Поэтому будущее слабо предсказуемо, но неизбежно.

В этом пункте действительно можно отметить новизну его взгляда, в поле зрения которого оказываются реалии общественного развития, от которых обычно абстрагируются как от несущественных линейно-прогрессистских или циклических концепций. П.А. Сорокин не всегда специально выделяет эти реалии, и они находятся на периферии его исследовательского интереса. Мы же специально акценти-

⁴⁸ *Sorokin P.A. Mutual convergence of the United States and the USSR to the mixed sociocultural type // International journal of comparative sociology. – 1960. – № 1.*

⁴⁹ П.А. Сорокина обычно относят к школе русского циклизма. См.: *Яковец Ю. Школа русского циклизма: истоки, этапы развития, перспективы. Докл. на XI междисциплинарной дискуссии. – М.: МФК, 1998. – С. 41–51.*

руем на них внимание, поскольку они являются краеугольными камнями в представлениях о социальной и культурной динамике, а их учет позволяет более тщательно обосновать и конкретизировать макросоциологический анализ.

Прежде всего, это факт сосуществования как в мировой социокультурной системе, так и в отдельных социокультурных системах различных типов культур. П.А. Сорокин пишет: «Вероятно, ни идеациональный, ни чувственный типы культур никогда не существовали в чистом виде, но все интегрированные культуры в действительности оказываются состоящими из различных соединений этих двух чистых логико-смысловых форм. В некоторых преобладает первый тип, в некоторых – второй; в каких-то они оба смешаны в равных пропорциях и на одинаковом основании. Соответственно одни культуры ближе к идеациональному типу, другие – к чувственному, а некоторые представляют собой сбалансированный синтез обоих чистых типов. Эти последние я называю идеалистическим типом культуры (который не следует путать с идеациональным)»⁵⁰.

Фиксация факта господства (преобладания) одного типа культуры означает неявное признание наличия соподчиненности типов культур: в интегрированной культурной системе одна культура является господствующей, другая – подчиненной, т.е. субкультурой. Указывается на вызревание в недрах господствующей культуры обновленной исторической формы альтернативного типа культуры.

Представляет интерес, что настойчиво подчеркивая ограниченность основных типов культур (и типов социальных отношений) по количеству (не более десятка), П.А. Сорокин ограничивается описанием только чувственного и идеационального типов культур. Наряду с фактом смешения основных типов культур, он указывает на наличие в каждую историческую эпоху во всех социокультурных регионах побочных (неосновных), промежуточных и переходных типов культур.

В неинтегрированной культурной системе, организованной в форме скопления культур, различные типы культур сосуществуют. На примере эклектичного искусства – «искусства восточного базара, мешанины различных стилей, форм, тем, идей», – П.А. Сорокин вы-

⁵⁰ Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – С. 62.

деляет тип культуры, не поддающийся идентификации, поскольку у него нет ни внутреннего единства, ни определенного стиля, ни системы унифицированных ценностей⁵¹.

В результате в развитие идей П.А. Сорокина можно предполагать возможность выделения не двух, а большего количества базисных типов культур, как, например, у Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера. Кроме того, с учетом положений евразийской концепции культуры можно допустить существование «радуги культур», т.е. цепочки переходных культурных форм между полярными (крайними) культурными типами.

Не исключено также, а, пожалуй, неизбежно в социокультурных трансформациях осуществляется формационный сдвиг, конституирующий новый набор социокультурных типов. По крайней мере, историко-философский процесс не демонстрирует унылую картину, которую с вдохновением описывает П.А. Сорокин: «... Если я знаю, что возможны только три основные формы культурных суперсистем: идеациональная, идеалистическая и чувственная или что в философии проблема реальности универсалий имеет три варианта решения: реализм – номинализм – концептуализм, то у меня есть все основания предполагать, что, во-первых, эти формы будут повторяться в истории культуры (или культур) или в истории философской мысли в данной области; во-вторых, ритм их последовательности будет, вероятно, тройным, хотя порядок фаз может быть разным»⁵². Разумеется, проблема универсалий до сих пор сохраняет свое значение, особенно в отдельных науках, но каждая философская формация характеризуется специфическим набором типов философских культур.

В целом, эти представления П.А. Сорокина созвучны идеям русского циклизма, наблюдениям мыслителей «серебряного века» Вяч. Иванова и Н.А. Бердяева о пульсации истории, ритмической смене эпох, приливах и отливах, подъемах и спусках, прерываемых кризисами.

Любопытным представляется образ, фигурирующий в ранней лекции П.А. Сорокина по социологии: «Человеческое общество с этой точки зрения похоже на волнуемое море, в котором отдельные люди, подобно волнам, окруженные себе подобными, по-

⁵¹ Там же. – С. 437.

⁵² Там же. – С. 837.

стоянно сталкиваются друг с другом, возникают, растут и исчезают, а море – общество – вечно бурлит, волнуется и не умолкает...»⁵³.

Этот образ повторяется в «Социальной и культурной динамике». Так, он пишет: «Великая симфония жизни «делает ставку» на бесчисленное количество отдельных процессов, каждый из которых, подобно морской волне, повторяется только во времени или только в пространстве, или и в пространстве и во времени, периодически или не периодически, с короткими или длинными интервалами»⁵⁴. В другом месте П.А. Сорокин констатирует: «Стоит ли также удивляться бесконечному многообразию непрекращающихся больших и малых кризисов, которые в течение последних десятилетий прокатывались по нам, как океанские волны? Сегодня в одной форме, завтра – в другой. Ныне здесь, а завтра там»⁵⁵.

В первую очередь, образ волнующегося моря, и лишь, во вторую очередь, череда бесчисленных кризисов, создают парадигмальный фон учения П.А. Сорокина. На наш взгляд, в данном случае можно говорить о реализации волнового подхода в социальном познании, особенно, если учесть характерные для П.А. Сорокина критические отзывы об «элементаристских» определениях общества как совокупности индивидов. Едва ли, конечно, можно говорить о «волновой революции», которая может быть атрибутирована многим исследователям⁵⁶, но яркая демонстрация волнового подхода в противоположность корпускулярному подходу налицо.

Разумеется, «волновая» модель социокультурного мира сама по себе не выражает эвристики исследовательской методологии П.А. Сорокина. Образ волны используется для введения ключевых инструментальных понятий.

Одним из таких понятий является понятие социокультурного процесса. На первый взгляд, это понятие довольно бедно по содержанию, так как под процессом понимается любое изменение чего-либо вообще. К социокультурным процессам он относит следующие: изоляция – контакт, война – мир, порядок – упадок, процветание – депрессия, производство – распределение – потребление и т.п. Процес-

⁵³ Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – С. 29.

⁵⁴ Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – С. 102.

⁵⁵ Там же. – С. 787.

⁵⁶ Сычева Л.С. Волновая революция в гуманитарных науках // Проблема способа бытия объектов исследования в гуманитарных и естественных науках. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2001. – С. 179–199.

сы, время от времени повторяющиеся, определяются как социокультурные флуктуации. Оригинальным представляется использование музыкальных метафор для описания пульсации социокультурных процессов.

П.А. Сорокин указывает, что в силу принципа ограниченности любого процесса, его течение характеризуется такими параметрами как пауза, такт, ритм, темп и их изменениями, вследствие чего возможно *largo*, *prestissimo*, *accelerando*, *ritardando*. Планета – это сцена. Каждый мировой кризис воспринимается как часть большой ужасающей симфонии. Войны – это фестивали, которые открываются оркестрами и исполняются миллионами хористов, постановщиков и актеров. Первая война начинается как *marche militatre*. Коммунистическая революция – это модернистская вариация, блистательно исполненная русским оркестром. «Между тем громадная Индия, – пишет П.А. Сорокин, – тоже предприняла определенные шаги, чтобы выйти на сцену своего гала-концерта. В течение нескольких лет необъятный индийский оркестр репетировал. На первой репетиции симфония исполнялась *pianissimo*. Затем на смену пришло *moderate* ненасильственного сопротивления, все чаще и чаще прерываемого резким *staccato* пулеметов и барабанов, бомб и ударов полицейских дубинок. Едва ли могут быть сомнения, что скоро мы услышим *fortissimo* этого оглушительного фестиваля»⁵⁷.

Будни Европы – это фестиваль кризисных концертов. В США с конца 1929 г. можно слышать «*adagio lamentoso* промотанного богатства, *marche funebre* и *in memoriam* угасших надежд; *requiem* по исчезнувшим удачам; *allegro non troppo* ропота недовольных; *crescendo* критики существующего порядка и время от времени *scherzo* участников «голодных маршей», «сидячих забастовок» и столкновений между полицией и радикалами»⁵⁸.

Для П.А. Сорокина мировая социокультурная динамика – это симфония истории. А свое сочинение он определяет как большую фугу, оркестровка которой переплетается с бесчисленным количеством меньших фуг. Эти яркие музыкальные метафоры имеют, несомненно, большой эвристический потенциал. При точной музыкальной идентификации формы социокультурного процесса возможны и его прогнозирование, и продолжение игры на сцене истории.

⁵⁷ Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – С. 789.

⁵⁸ Там же. – С. 789.

Подводя итоги анализа социокультурного дискурса П.А. Сорокина, можно сделать вывод о том, что методологические установки и принципы, содержащиеся в его труде «Социальная и культурная динамика», действительно разрешают дилемму «линеаризм – циклизм» в анализе общественного развития. Разумеется, конкретные концептуальные решения и их эмпирическая верификация едва ли приняты научным сообществом. Но в целом очерчены контуры социокультурной парадигмы, которая открывает новые исследовательские перспективы в социальном познании.

Разрешая дилемму «линеаризм – циклизм», П.А. Сорокин, очевидно, решает важную философско-историческую проблему. Также он оказывается в предметном поле социальной философии, когда анализирует структуру простейшего социокультурного явления. Кроме того, в анализе социокультурной динамики П.А. Сорокин активно применяет авторские философские идеи и принципы, что позволяет его определить не только как социолога, но и оригинального, самобытного философа. В связи с этим вновь возникает вопрос о философском статусе социокультурного подхода.

Социально-философская интерпретация социокультурного подхода

Методологически содержание социокультурного подхода в его нерелексивном применении ограничено исходными общепринятыми представлениями об обществе, культуре и их взаимосвязи. Интуитивное представление о социокультурном подходе воспринимается как достаточное при решении исследовательских задач, не требующих предварительной методологической рефлексии в отношении понятий «общество» и «культура». В задачах такого рода социокультурный подход принимается как данность, а понятия «общество» и «культура» берутся как операциональные и не нуждающиеся в специальном методологическом анализе.

Так, в лингвистике, психологии, педагогике понятия «общество» и «культура» выступают как непроблематизируемые внешние теоретические предпосылки, усваиваемые в рамках стандартных представлений, общепринятых в интеллектуальном сообществе. Если, например, культура понимается как символическая система, имеющая своим источником орудийную деятельность человека в окружающей

среде, то социокультурность усматривается в рассмотрении человеческой деятельности в ее символической и орудийной опосредованности с учетом окружающего (в т.ч. экологического) контекста.

Потребность в экспликации социокультурного подхода не возникает в социальной и культурной антропологии, а также в социокультурной антропологии. В этих дисциплинах ярко выражена эмпирицистская ориентация, в рамках которой понятия общества и культуры воспринимаются инструментально и заимствуются из социологии и культурологии.

Любопытно, что социологи, так или иначе рассуждая об обществе, в вопросе о культуре апеллируют к культурологам. Последние, в свою очередь, в отношении понятия «общество» склонны ссылаться на социологов и социальных философов.

В результате складывается любопытная ситуация, когда представители различных отраслей социального знания используют интуитивно понимаемый социокультурный подход, но не несут дисциплинарную ответственность за его обоснование и экспликацию. Данный подход де-факто является общим для многих социальных наук, а де-юре находится вне дисциплинарной компетенции каждой из них. Возникает резонный вопрос: какая область социального знания является источником социокультурного подхода?

Как представляется, искомая область находится вне гуманитарных наук и вне наук вообще, поскольку конкретные науки используют социокультурный подход как готовый методологический продукт для решения специфических предметных задач. На роль такой области, на наш взгляд, может претендовать только философия, поскольку именно в ее компетенции находятся вопросы определения соотношения общества и культуры. Решая эти вопросы, философия развивает в своей структуре социальную философию и философию культуры. Соответственно, в ее компетенцию входит модельная фиксация взаимосвязи социального и культурного как философских конструктов.

Мы исходим из того, что философия есть суверенный способ духовно-практического освоения мира, отличающийся от религии, науки, искусства и т.п. Если бы философия рассматривалась с позиций «концепции автономии» – под верховенством науки и как одна из частных наук (пусть даже как «наука наук»), – то в объяснении трансляции социокультурного подхода из философии в общественные науки возникло бы множество трудностей.

Не останавливаясь на них, подчеркнем, что в немногих обзорах попыток концептуализации социокультурного подхода указывается на активную роль философов в его разработке. Именно философы в 1990-е годы предприняли попытки эксплицитно зафиксировать основания социокультурного подхода и его содержание. Наличие ряда таких концепций является, на наш взгляд, во-первых, признанием исторической необходимости разработки социокультурного подхода, его неслучайности, а, во-вторых, признаком того, что разнообразие философских направлений проявилось и в соответствующем разнообразии концепций.

Таким образом, если идентифицировать социокультурный подход по критерию дисциплинарной «точки роста», то его истоки следует усматривать в философии. Тем самым получает объяснение как факт присутствия определения социокультурного подхода в «Новой философской энциклопедии», так и отсутствия каких-либо его определений в энциклопедиях и словарях различных общественных наук.

Отсюда можно сделать вывод об общенаучном и метанаучном статусе социокультурного подхода. Этот подход применяется в самых разных науках (вплоть до использования социокультурных методов лечения психиатрических заболеваний). Вместе с тем он не разрабатывается ни одной из специальных наук. Этот подход принимается науками как данность, как готовый методологический продукт.

По критерию представленности в энциклопедиях, а также по критерию дисциплинарной «точки роста» социокультурный подход следует идентифицировать как продукт философско-методологической деятельности. Конкретные науки используют философский метод для решения специфических предметных задач. Будучи философским по происхождению, социокультурный подход способен функционировать в качестве метанаучного и общенаучного подхода.

В случае с социокультурным подходом мы сталкиваемся с ситуацией, в чем-то сходной, а в чем-то отличающейся от ситуации распространения в науке системного подхода. Последний традиционно разрабатывался философами (достаточно напомнить «Трактат о системах» Э.Б. де Кондильяка). Но после запальчивой критики «систем» немецкой классической философии системный подход уходит в тень, точнее погружается в основание философского мышления. Будучи вновь популяризован Л. Берталанфи, он с воодушевлением был воспринят научным сообществом, но в последние десятилетия интерес к нему снова угас.

Говоря о социокультурном подходе, мы вновь можем констатировать его широкое распространение. Но в отличие от системного подхода, ни в философии, ни в науке не наблюдалось явления, подобного «системофобии». Возможно, это объясняется отсутствием ярких манифестаций социокультурного подхода в философской мысли.

Возникает парадоксальная ситуация: социокультурный подход активно используется, но его классических определений или общепризнанных образцов реализации в философии не существует. А те его версии, которые появились в 1990-е годы, едва ли стали методологическим стандартом. Такая ситуация возможна тогда, когда суть подобного явления выражается в слабо эксплицированных интуициях.

Итак, чтобы выявить философскую природу социокультурного подхода, необходимо обнаружить конкретные философские основания, реализация которых воспринимается как его теоретико-методологическая база.

Думается, наибольшее эвристическое значение имеет соотнесение социокультурного подхода с онтологией отдельного. Занимаясь традиционно всеобщим, классическая философия не уделяла достаточного внимания познанию отдельного. В неклассической философии проблематика отдельного актуализировалась в категориях тела, экзистенции, другого, события, ситуации, границы и т.п. Но в целом, онтология отдельного пока не стала объектом систематической разработки (в отличие от онтологий классической философии, систематизировавших парные диалектические категории и объединявших их в определенной последовательности в гнезде понятий).

Особое значение онтология отдельного имеет не только для гуманитарных наук, но и для технических и естественных наук. Так, теории корабля или теории Земли, безусловно, имеют онтологический статус теорий отдельного объекта. По-видимому, в технических и естественных науках имеются аналоги социокультурного подхода. Соответственно, можно предполагать возможность разработки общей методологии познания отдельного, независимо от области его локализации.

Данный уровень методологии относится, на наш взгляд, к прикладному разделу философского знания. Необходимость познания отдельного неразрывно связана с потребностью фиксации специфики конкретных эмпирических объектов. Эта специфика фиксируется эмпирически, но именно теми концептуальными средствами, которые способны решить эту задачу. Всеобщие категории философии спо-

собны отобразить общность познаваемых объектов. А для учета особенностей и единичности в их единстве с общим и всеобщим должен разрабатываться специфический понятийный аппарат. Это возможно в рамках онтологий отдельного и отдельных объектов, составляющих теоретический уровень прикладной философии, включающей философию природы, философию истории, философию любви, философию права, философию науки и т.п.

Практически все философские учения приходят к необходимости категориального описания отдельных объектов. Как следствие, неизбежны различные версии как социокультурного подхода, так и подходов аналогичного статуса в экзистенциализме, персонализме и других философских направлениях, акцентирующих значимость единичного и отдельного. На наш взгляд, речь может идти не об одной единственной репрезентации социокультурной парадигмы, а о серии таких репрезентаций, включающих, например, интегралистскую репрезентацию, предложенную П.А. Сорокиным.

На основании вышеизложенного базисной дисциплиной для экспликации и репрезентации социокультурного подхода мы считаем социальную философию. Основополагающей задачей здесь является снятие метафизического противопоставления «социальное – культурное».

В современной социальной философии термин «социальное» используется по меньшей мере в трех значениях. В самом широком смысле социальное понимается как межиндивидуальное, т.е. взаимодействие любых индивидов (тел, объектов). В более узком значении социальное отождествляется с общественным, противопоставляемым природному. В данном значении термин социальное используется в названии такой философской дисциплины как социальная философия. Кроме того, в отечественной социальной философии распространено восходящее к К. Марксу представление о социальном как отдельной сфере общественной жизни, противопоставляемой материально-производственной, духовной и политической сферам.

Полагая данный способ структурирования общественной жизни неудачным, мы рассматриваем понятие социального как синоним общественного, а точнее – как термин, используемый для обозначения теоретического конструкта, фиксирующего в идеализированном виде идентичность общества как единства идеального и материального. Такое понимание социального адекватно самопониманию соци-

альной философии, которая не ограничивает свой объект исключительно «социальной сферой» общественной жизни.

На основании того, что социальное определяется как единство материального и идеального, общество в любом его измерении, (в т.ч. и культура) не может рассматриваться как исключительно идеальное или материальное образование. Поэтому в теоретическом плане культурное не следует редуцировать к идеальному, как это часто делается, а в эмпирическом плане необходимо учитывать, что культура существует прежде всего в практической форме.

В целом, мы полагаем, что в теоретико-модельном плане социальное и культурное соотносятся не как два рядоположенных компонента общественной жизни, а как теоретические конструкты, последовательно фиксирующие идентичность общества на различных ступенях восхождения от абстрактного к конкретному. Если конструкт «социальное» фиксирует идентичность общества в его инаковости по отношению к природной среде, то конструкт «культурное» фиксирует идентичность общества как отдельного социального организма в его инаковости по отношению к другим социальным организмам.

Поскольку теоретически обоснованное описание отдельных обществ в их культурной специфике осуществляется на основе общего понимания социального и входит в компетенцию прикладной социальной философии, то социокультурный подход следует рассматривать как методологему прикладной философии, обеспечивающую переход к эмпирической конкретизации социально-философских представлений и предназначенную для познания и разработки регулятивов развития отдельных объектов общества на основе обеспечения единства общего и особенного, т.е. как социокультурных объектов.

Уточнив эпистемологический статус социокультурного подхода, укажем на некоторые вопросы, требующие дальнейшего изучения. Во-первых, необходимо прояснить соотношение категорий социокультурного подхода и категорий философии истории и философии культуры. Во-вторых, следует оценить возможности реализации социокультурного подхода в точных, естественных и технических науках. В-третьих, представляет интерес исследование категориальной техники перехода различных философских учений от описания всеобщего к познанию отдельного в его конкретно-эмпирической специфике.

В предложенной социально-философской интерпретации социокультурный подход реализует свою методологическую функцию по

отношению ко всему социальному знанию. В связи с этим возникает вопрос о собственном содержании социокультурного подхода. Думается, для раскрытия этого содержания полезны наблюдения П.А. Сорокина, сформулированные в его обзоре «Социокультурная динамика и эволюционизм»⁵⁹.

Проследивая то, как менялись степень и характер внимания представителей общественных наук к социокультурным явлениям, Сорокин отметил ряд тенденций, которые, на наш взгляд, фундируют основы социокультурного подхода.

Во-первых, отмечает он, все больший интерес стал проявляться к социокультурным процессам. К ним он относит взаимодействие, изоляцию и мобильность, контакт и диффузию, изобретение и имитацию, адаптацию и конфликт, дифференциацию, интеграцию и дезинтеграцию, организацию и дезорганизацию, конверсию, миграция и др.

Понятие «процесс», как представляется, относится к онтологии отдельного. Процесс есть совокупность моментов движения, включающего в себя предпосылки, условия и результаты, опосредствования и этапы, множество подпроцессов. Это отдельное завершенное целое, взаимосвязанное с предшествующими и последующими, сопутствующими и параллельными процессами.

Поэтому понятие социокультурного процесса мы предлагаем считать одним из базисных в социокультурном подходе. Но вызывает возражение перечень процессов, относимых П.А. Сорокиным к социокультурным процессам.

В его интерпретации любой тип изменения оказывается социокультурным. Думается, столь расширительное понимание социокультурных процессов не отражает методологического предназначения социокультурного подхода. Любой социокультурный процесс должен выделяться и определяться не в абстрактно-общей социальности, а в его культурной специфичности. А основополагающие социокультурные процессы – это процессы социокультурного развития отдельных социальных организмов, культур, цивилизаций.

Таким образом, как социокультурный процесс (или подпроцесс) должно быть представлено развитие общества (и отдельных обществ) как целого. Примером так выделяемого социокультурного процесса

⁵⁹ Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль. – М.: Изд-во МГУ, 1996.

является европейский процесс, с входящими в его систему Болонским процессом, Люксембургским процессом и пр. Именно в этом ракурсе социокультурный подход рассматривает действительность как совокупность взаимосвязанных локальных социокультурных процессов.

Во-вторых, по оценке П.А. Сорокина, социокультурные процессы стали изучаться с учетом ритмов, флуктуаций, осцилляций, циклов и их периодичности. Примечательно, что труды А.С. Ахиезера высоко оцениваются как раз за выделение ритмов и циклов российской истории.

Думается, объективный анализ ритмической организации социокультурных процессов является неотъемлемой составляющей социокультурного подхода. Но, учитывая, что социокультурная система должна быть гармоничным единством, важно фиксировать социокультурный процесс как ритм, развивающийся по законам гармонии. Поэтому для описания социокультурных ритмов большую ценность представляют музыкальные метафоры (например: «европейский концерт», «евразийская симфония»).

Возможно, что любой социокультурный процесс должен быть зафиксирован как ритм, имеющий конкретную музыкальную форму организации. Пространственная организация социокультурных процессов может отображаться в архитектурно-ландшафтных метафорах (например, «европейский дом»).

В-третьих, П.А. Сорокин обращает внимание на тщательное изучение постоянных сил (факторов) социокультурных изменений и социокультурных переменных. К таким постоянным факторам исследователи обычно относили климат, солнечные пятна, расу, инстинкты и пр. К социокультурным переменным относили плотность и численность населения, изобретательность, религию и пр. П.А. Сорокин положительной тенденцией считает как детализацию факторов, так и больший интерес к социокультурным переменным. Статистическая проверка множества гипотетических зависимостей между разнообразными факторами позволила, на его взгляд, уточнить многие представления о детерминации отдельных социальных явлений.

Следует сказать, что фиксация социокультурных переменных как инструмента функционального анализа имеет математический смысл при двух условиях: во-первых, необходимо выделение социокультурных постоянных (констант), а во-вторых, следует установить

и в математической форме выразить закон, связывающий социокультурные переменные.

В рамках социокультурного подхода нет смысла выделять потенциально бесконечное количество тривиально известных постоянных факторов. Важен не набор таких факторов, а их весомость. Для статистической оценки значимости конкретных факторов детерминации изучаемого социокультурного процесса достаточно применить факторный анализ.

Но исключительное значение имеет определение социокультурных констант как конкретных математических форм (например: культурно значимые числа, геометрические фигуры и пр.) организации социокультурных процессов. Для социокультурного подхода выделение констант не менее важно, чем выделение математических и физических констант соответствующими научными дисциплинами.

В свою очередь, из бесчисленного множества социокультурных переменных важно отобрать функционально значимые, органично включенные в закономерно протекающие социокультурные процессы. Социокультурные переменные должен связывать имманентный социокультурному процессу внутренний закон, который обеспечивает его устойчивость в изменяющихся условиях окружающей среды.

На наш взгляд, выделенные П.А. Сорокиным тенденции развития «социокультурных» исследований выражают существенные методологические интенции социокультурного подхода. Это, во-первых, фиксация действительности как социокультурного процесса, во-вторых, определение форм пространственно-временной организации социокультурных процессов, в-третьих, выявление социокультурных переменных и социокультурных констант законов, регулирующих конкретные социокультурные процессы. Напомним также, что, по П.А. Сорокину, социокультурный подход необходимо фиксирует объект как гармоничное единство, что требует учета художественно-эстетических моделей организации социальной деятельности.

В рамках социокультурного подхода конструируемая картина общества выступает предпосылкой и средством построения картины взаимодействия культур. Обобщая идеи П.А. Сорокиной и других исследователей, а также исходя из социально-философской определенности социокультурного подхода, можно сформулировать следующие его основополагающие принципы:

– рассмотрение отдельного общества как локального динамично-социокультурного процесса, включенного во всемирно-исторический процесс;

– описание отдельного общества в его обусловленности антропогеографическим разнообразием и межкультурными взаимодействиями;

– анализ общества как исторически сформировавшегося ансамбля культур;

– выявление социокультурных констант, переменных и законов, регулирующих развитие общества;

– художественно-эстетическая идентификация уникальных форм пространственно-временной организации локальных социокультурных процессов (например, образ европейского процесса как «европейского концерта»).

Таким образом, можно заключить, что в силу своего социально-философского статуса социокультурный подход реализуется не столько в описании частных взаимосвязей отдельных элементов общества и культуры, сколько в панорамном отображении изучаемых явлений в контексте глобального культурного разнообразия.

В свою очередь в парадигме социокультурного подхода отдельное общество отображается в его индивидуальности и личной неповторимости, формируемых в результате разнообразных межкультурных взаимодействий. Представляется оригинальной попытка составления социокультурных портретов регионов, предпринятая под руководством Н. И. Лапина. Индивидуальность социального организма может быть, например, репрезентирована как архетипическими персонажами («китайский дракон», «русский медведь», «галльский петух» и др.), так и символическими фигурами («Марианна», «Дядя Сэм»). Подобная персонализация социальных организмов в социокультурном подходе является существенной, так как позволяет дать характеристику и составить портрет модальной личности как основания ситуационного прогноза поведения как общества в целом, так и отдельных категорий населения, входящих в его состав.

Видимо, прежде всего, данными объяснительными возможностями социокультурный подход интуитивно привлекает многих обществоведов. Предложенная экспликация социокультурного подхо-

да позволяет понять истоки и смысл социокультурного движения и расширить его методологические возможности при решении актуальных общественных проблем.

Эвристические возможности социокультурного подхода (на примере анализа этнонациональной политики и этнокультурного неотрадиционализма)

Проиллюстрируем такие возможности на примере анализа весьма актуальной в современном мире практической и научной проблемы, связанной с национальным вопросом и этнонациональной политикой, а также проблемы этнокультурного неотрадиционализма.

Усиливающаяся межэтническая напряженность и участвовавшие в различных регионах мира массовые беспорядки на этнической почве иллюстрируют ряд важных проблем, связанных с теорией и практикой этнонациональной политики в современном мире. Главными из них являются: в теоретическом плане – проблема ограниченной эффективности как концепции нации-государства, так и концепции нации-культуры, в практическом плане – кризис государствообразующих наций и вытекающий из него кризис миграционной политики.

В этих условиях чрезвычайно важной представляется задача осмысления концептуальных основ такой политики и поиска тех методологических подходов, которые могут оказаться наиболее эффективными при ее практической реализации. Как представляется, неопределенность методологических подходов была одной из главных причин слабости в осуществлении национальной политики во многих странах в последнее время.

В дискуссиях о конкретных вопросах и мерах национальной политики зачастую в тени остаются именно ее мировоззренческо-методологические основания. В общем плане понятно, что многообразие мировоззренческих позиций с необходимостью определяет множественность подходов к решению национального вопроса. Но в сфере реальной политики эти позиции не всегда выявлены, что затрудняет последовательное проведение национальной политики и ее координацию с политикой, проводимой в других сферах общественной жизни.

В мировой практике выработаны две полярные модели национальной политики – ассимиляторство и мультикультурализм. Между ними можно выделить ряд других промежуточных моделей, как-то апартеид, метекизм и пр. Не рассматривая вопрос о политической эффективности реализации этих моделей в конкретно-исторических условиях, обратим внимание на способ репрезентации социальности, который используется при дифференциации этих моделей.

Ассимиляторство и мультикультурализм представляются как модели политики, конституирующие целостность общества на базе одной или нескольких национальных (этнических) культур. Если мультикультурализм ориентирует на ассоциацию и взаимодействие культур в составе государства относительно автономных этнических культур, то ассимиляторство представляет собой монокультурализм, т.е. выражает ориентацию на монокультуру.

Ассимиляторство («болгаризация», «итальянизация», «мадьяризация», «норвегизация» и др.) есть процесс растворения национальных меньшинств в доминирующей национальной общности. Конечный результат данной политики, направленный на преодоление провинциальных и этнических различий, в своем пределе должен соответствовать принципу «одно государство – одна нация». Но процесс национально-культурной ассимиляции никогда не может быть завершенным уже в силу сохраняющихся провинциальных различий и постоянно привносимого посредством миграции дополнительного этнически разнообразного материала.

Поэтому любое государство, даже реализующее модель нации-государства, признает мультикультурализм как исходную историческую данность, преодолеваемую или культивируемую в государственной национальной политике. Доминанта государства, стоящего над нацией и конструирующего ее, объективно формирует ситуацию нетождественности, различия и даже дуализма культур – культуры разнообразных государственных структур и культуры нации.

В системе нации-государства интериоризированный конфликт культур находит выражение в ограничении развития одних этнокультур и подъеме других этнокультур. Дисгармонизация традиционно сложившегося этнокультурного баланса вызывает эмиграцию. А это, в свою очередь, ведет к упадку и кризису нации, что вынуждает национальное государство стимулировать трудовую иммиграцию. В результате культурное разнообразие национального госу-

дарства возрастает, а государственная национальная политика сдвигается по направлению к мультикультурализму.

Любопытно, что мультикультурализм является практическим следствием реализации модели национального государства. Кроме отмеченного фактора кризиса нации, объясняемого известной экологической закономерностью неустойчивости монокультурного сообщества, важное значение имеет проводимая государством политика гражданской нации. Включаясь на равных в сообщество граждан, трудовые и политические иммигранты, члены их семей получают необходимую социальную поддержку, а тем самым и возможность сохранения собственной этнокультуры на основе использования ресурсов коренной нации. Социальная поддержка принимаемых мигрантов является официальным признанием представляемых ими этнокультур, которые интегрируются в государство-нацию.

В каком же статусе мигранты интегрируются в принимающий социум? Исторически каждая этнокультура возникает в системе порождающего ландшафта, который она поддерживает и культивирует, используя его ресурсы. Смена местообитания в результате миграции ведет к необходимости укоренения этнокультуры в принимающем социуме, в его культурном освоении. И в этом освоении в качестве ресурсов осваиваются не столько местный ландшафт, сколько местные этнокультуры и объединяющее их национальное государство.

Статус «гостей» позволяет мигрантам оставаться социально пассивными в принимающем социуме, но вместе с тем занимать доминирующее положение по отношению к «хозяевам». Механизмы действия института гостеприимства таковы, что «гости» вправе легитимно даже разорить «хозяев». Обычно до этого предела «гостевание» не доходит, но важно то, что принимаемая этнокультура, пусть временно, занимает центральное положение в «доме народов», меняя привычный распорядок жизни. Поэтому массовые беспорядки на этнической почве в западных государствах выражают происходящую смену, реконфигурацию порядков.

Эти проблемы в определенной степени испытывает и Россия, в связи с чем возникает вопрос, каким ориентирам необходимо следовать при реализации государственной национальной политики. События на Манежной площади Москвы 11 декабря 2010 г. обнажили нерешенность национального вопроса в России и несовершенство существующей государственной национальной политики, определив повышенное внимание высших органов власти к данным проблемам

в последующий период. Концентрированное выражение они нашли в опубликованной в «Независимой газете» 23 января 2012 г. статье тогда председателя Правительства и кандидата в президенты Российской Федерации В.В. Путина «Россия – национальный вопрос». Данная статья имела важное значение для последующих шагов органов власти в сфере государственной национальной политики. В скором времени была разработана и утверждена указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации (далее – Стратегия), которая определила систему современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации данной политики. Но следует учитывать, что государственная национальная политика реализуется в условиях многонационального (полиэтнического) государства, в котором важную роль играют этносоциальные процессы и межнациональные (межэтнические) отношения.

Важно отметить, что хотя Стратегия признает факты многонациональности и наличие межнациональных отношений, она не рассматривает народы Российской Федерации в качестве активно действующих субъектов государственной национальной политики. В отличие от Стратегии, отмененная ею Концепция государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года (далее – Концепция) исходила из признания значимости народов России и развития их субъектности по двум основным направлениям: совершенствование федеративных отношений и национально-культурное самоопределение народов России в организационной форме национально-культурных автономий. Теперь же акцент делается на сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов России, консолидации этих народов в составе российской нации.

Данные положения Стратегии, как представляется, нивелируют роль различных народов России до статуса объектов государственной национальной политики. Кажется не случайным, что в качестве первого основного принципа государственной национальной политики Российской Федерации предложено считать государственную целостность, национальную безопасность Российской Федерации, единство системы государственной власти. Напомним, что в Концепции первым принципом было обозначено равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и об-

ществственным объединением. В принятой Стратегии этот принцип сохранен, но не как первый, а третий по значимости. Таким образом, в Стратегии по сравнению с Концепцией осуществлен определенный пересмотр принципов государственной национальной политики.

Государственническая ориентация Стратегии и установка на формирование российской нации выражают, очевидно, дух модели нации-государства. Но в данном отношении, т.е. в отношении используемого теоретического базиса, Стратегия противоречива. Целевая установка на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России выражает дух модели нации-культуры. Принятие данной установки ориентирует на перспективу возрастающего этнокультурного многообразия, что представляется достаточно актуальным и вероятным в силу действия глобальных и трансграничных факторов повышения интенсивности миграционных процессов. Неявно предполагается усиление многонациональности Российской Федерации: если Концепция указывала, что в России проживает более 100 народов, то Стратегия насчитывает уже 193 национальности. Поскольку каждая национальность является носителем определенной национальной культуры, то прогнозируемый рост этнокультурного многообразия создает угрозу для консолидации российской нации. Перманентно осуществляемая гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений будет нарушаться дисгармонией, возникающей вследствие развития этнокультурного многообразия.

Миграция этнокультур, известная с древности как переселение народов, в настоящее время не имеет тотального характера и обогащает этнокультурную мозаику. Она ведет к реструктуризации межэтнических сообществ, реанимируя и модифицируя национальный вопрос. В условиях Российской Федерации действие миграционного фактора осложняется внутренними миграциями этнокультур, изменяющими баланс межэтнических отношений в регионах. Россия является федеративным государством с национально-территориальным делением, многие регионы обладают определенной этнокультурной спецификой, определяющей характерную для них социокультурную динамику межэтнических сообществ. В связи с этим актуальным является анализ регионального опыта реализации государственной национальной политики.

Обсуждение национальной политики на основе представления о множестве культур, составляющих общество, объективно ориенти-

рует на социокультурный подход, который, как отмечалось, даже в своей терминологии утверждает единство общества и культуры. Примечательно, что термин «мультикультурализм» неявно подразумевает вполне определенную концепцию культуры – как локального этносоциального организма, находящегося во взаимодействии с другими подобными организмами. Тем самым в результате социально-практического отбора из дискурса исключаются конкурирующие концепции культуры – как духовности, совокупности символов, ценностей и т.д. Рассмотрим далее возможности социокультурного подхода при его реализации в национальной политике, в частности в процессе регулирования межэтнических отношений.

Каким же образом социокультурный подход может быть использован при осмыслении современной национальной политики? Опишем три ситуации, которые иллюстрируют его потенциал.

Проведенное нами в начале 2000-х годов изучение этноконфессиональных процессов в региональном сообществе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, показало ярко выраженную социальную ориентацию национальной политики. В этом округе сформировалось региональное межэтническое сообщество, в котором позиции органов власти и позиция населения совпадает в главном – в признании ценности сохранения и развития территориальной общности как таковой на основе обеспечения материального благосостояния населения.

Эта ситуация иллюстрирует практическую значимость приоритета социальности, выраженного в социокультурном подходе. Ансамбль культур существует и развивается только в органической целостности общества, вследствие чего сохранение общества и социальная ориентация деятельности его субъектов является необходимым условием сохранения и развития национальной идентичности отдельных культур.

Органы государственной власти и управления в округе ориентируются не только на решение социальных проблем, но и на формирование гражданского общества. Признание целостности общества основной ценностью выражает социальную ориентацию государственного управления. По сравнению с ценностью общества ценностями второго порядка являются ценности национальной (этнической) общности и землячества.

Социальная ориентация государственного управления этносоциальными процессами означает, что взаимодействие государства с эт-

нокультурными сообществами опосредуется такой базовой ценностью как общество. Государственное управление ориентирует деятельность этносоциальных субъектов и представляющих их национально-культурных организаций на укрепление общества – на социальное служение. Социальная ориентация государственного регулирования национальных отношений выражается в систематической практике заключения различных соглашений с национальными объединениями граждан округа по социальному служению и выполнению социальных заказов. Администрация округа стремится проводить политику невмешательства, равного отношения ко всем официально зарегистрированным национально-культурным объединениям, но при этом оказывает значительную поддержку их социально значимой деятельности в целях воспитания чувства любви и патриотизма по отношению к малой родине – Югорской земле.

Опыт реализации окружной национальной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре показывает, что социальная ориентация и выбор ценности общества как единого целого дифференцирует непосредственное отношение «нация – государство» и опосредует их таким объектом (и субъектом) как общество. В результате возникает опосредованное отношение «национальные общности – общество – государство». Опосредованность крайних субъектов этих отношений обществом ограничивает их деятельность, с одной стороны, но и высвобождает их ресурсы для собственного развития и самоопределения. Национально-культурная деятельность становится частным делом, но различными способами доказывающим свою общественную значимость. Принадлежность к обществу объективно ставит национальные общности и государство в такое положение, что социальная ориентация является условием их собственного становления.

В условиях многонациональной территориальной общности социальная ориентация оказалась объективно необходимой для сохранения и дальнейшего развития государства, национальных групп, региона. Каждая из сторон в складывающейся этносоциальной ситуации стремится продемонстрировать социально-практическую значимость собственной идентичности. Национальные и государственно-административные субкультуры сосуществуют, взаимодействуют, конкурируют в составе межэтнического общества, которое практически превращается в социокультурное целое. При сознательно проводимой социальной ориентации своей деятельности взаимодействуют

щие стороны в национальных отношениях так или иначе практически реализуют социокультурный подход, т. е. соотносят свою культуру с культурами других этносов, корпораций и общественных организаций, государственных и муниципальных структур. Социокультурный подход становится требованием регионального межэтнического сообщества: он вытекает из практики общежития и находит выражение в социально ориентированном синтезе культур.

Опыт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры интересен в том отношении, что он релевантен реализации социокультурного подхода в регулировании межэтнических отношений. Ансамбль этнокультур существует и развивается только в органической целостности регионального межэтнического сообщества, вследствие чего сохранение этого сообщества и социальная ориентация деятельности его субъектов является необходимым условием сохранения и развития отдельных составляющих его этнокультур.

В связи с этим важно подчеркнуть, что объединительную функцию выполняет не только сообщество, но и культура. Региональное сообщество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры развивается благодаря развитию, прежде всего, культуры недропользования. Разумеется, эта культура не первична и сосуществует как с обеспечивающими и сопутствующими культурами, так и с более ранними культурами лесо- и водопользования коренного населения. Но хозяйственная культура недропользования является базовой для регионального сообщества, что нацеливает региональную национальную политику, в частности, на обеспечение общественной безопасности в интересах устойчивого развития нефтепромышленного комплекса. Именно поэтому можно говорить о том, что объединяет не только сообщество, но и культура, которой члены сообщества обязаны своим благополучием.

Вторую ситуацию, раскрывающую эвристический потенциал социокультурного подхода в национальной политике, проиллюстрируем на примере одного из локальных социокультурных процессов – Ямальского процесса.

Под Ямальским процессом мы понимаем процесс взаимосвязанного развития интерэтнического сообщества коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа и – на этой основе – регионального межэтнического сообщества в целом. В исторически обозримой ретроспективе Ямальский процесс был инициирован появлением на территории региона самодийского населения и по-

глошением автохтонного оседлого населения охотников и морских зверобоев. Базисная модель Ямальского процесса – миграционный натиск и последующая инкорпорация местного населения – в дальнейшем была воспроизведена в рамках экспансии обских угров. Благодаря поддержке российской администрации политическое доминирование хантов сохранялось вплоть до начала XX века, но переход ненцев к крупнотабунному оленеводству изменил этносоциальный баланс. Соперничество ненцев и ханты создало предпосылки для матримониальной интеграции, культурного обмена – освоению хантами оленеводства и передачи ненцам ценностей угорской культуры. Таким образом, самодийско-угорский конфликт трансформировался в рефлексивные отношения сотрудничества.

Этносоциальное противоречие между ненцами и ханты получило развитие в производных, вторичных внутрирегиональных и межрегиональных противоречиях. Поэтому оно может быть использовано в качестве источника и движущей силы развития Ямальского процесса в целом. Рефлексивное управление этносоциальными противоречиями предполагает целенаправленное стимулирование одного из этносоциальных субъектов, позитивная динамика которого («национальный подъем») в рамках механизма этносоциальной рефлексии выступает предпосылкой полагания и развития другого субъекта. В настоящее время перспективной представляется возможность оказания содействия в развитии этносоциальной субъектности северных ханты, повышение уровня их организованности и сознательности. Подъем этносоциального статуса северных ханты станет импульсом для позитивной этносоциальной динамики ненцев и других этнических групп, входящих в состав Ямальского сообщества.

Таким образом, исторически сложившиеся межэтнические отношения, рассматриваемые в процессе своего развития, могут стать объектом прогнозирования и управленческого воздействия на основе социокультурного подхода. Поскольку развитие межэтнических отношений во многих регионах обладает исторически сложившейся конкретной спецификой, то локальные этносоциальные процессы воспроизводят и разрешают в своем развитии базисные для регионального межэтнического сообщества этносоциальные противоречия. Применительно к Южной Сибири можно говорить, на наш взгляд, об Алтайском процессе, в настоящее время направляемом Международным координационным советом «Наш общий дом – Алтай». Несомненно, могут быть выделены и стать объектом регу-

лирования Саянский процесс, Байкальский процесс и другие подобные процессы, в рамках которых на протяжении столетий развиваются и разрешаются специфичные для региональных сообществ межэтнические противоречия.

Итак, с точки зрения социокультурного подхода отдельный социум является ансамблем этнокультур. Это представление позволяет оценить ограниченность доминирующих подходов к социокультурной динамике социума. Политика гражданской нации переоценивает интегрирующий потенциал доминирующей этнокультуры. Политика мультикультурализма недооценивает значимость целостности социального организма, «сонастроенности» входящих в него этнокультур. Между тем важно представлять социокультурную динамику межэтнического сообщества, прогнозируя тектонические подвижки в нем и их отдаленные социокультурные последствия. Тогда аккультурация отдельных этнокультур, как например, немецкой крестьянской культуры в екатерининскую эпоху, может быть управляемой и органичной для динамично развивающегося социума.

Остановимся теперь на возможностях социокультурного подхода для анализа проблемы и политики этнокультурного неотрадиционализма. Существующая информационно-семиотическая интерпретация этнокультурного неотрадиционализма определяет его как ревитализацию культурных символов, традиций, ритуалов⁶⁰.

Как представляется, такая интерпретация этнокультурного неотрадиционализма проблемна в ряде моментов:

Во-первых, этнокультурный неотрадиционализм рассматривается как частная форма этнического неотрадиционализма, существующая наряду с неотрадиционализмом этнополитическим, этноэкономическим, этноконфессиональным, этнопедагогическим и др. Данный способ выделения этнокультурного неотрадиционализма подразумевает исключение культурных явлений из политики, экономики, религии и пр., что расходится с устоявшимися положениями культурологии и истории культуры, выделяющими и описывающими политическую, экономическую, религиозную и пр. виды культур.

Во-вторых, в связи с констатацией того факта, что этнокультурный неотрадиционализм присутствует в сознании народа в основном как символическая ценность, с сожалением указывается на неполноту

⁶⁰ Анжиганова Л. В. Этнический неотрадиционализм в условиях социокультурных трансформаций // Мир науки, культуры образования. – 2012. – № 6. – С. 439.

и фрагментарность реставрации этнокультурного наследия, поверхностный, усредненный и обедненный характер его освоения, не раскрывающий его сакральное ядро⁶¹.

Но если культура понимается как символическая составляющая человеческой деятельности, то этнокультурный неотрадиционализм неизбежно должен существовать не более чем в символической форме. Поскольку символ есть фрагмент целого или знак иного, то этнокультурное наследие неизбежно будет реставрироваться «символически» (как знак знака), но не в полном историческом объеме, что практически и невозможно в силу исторической варибельности этого наследия, его значительного объема и прагматической нецелесообразности его тотальной актуализации.

Эти проблемные моменты необходимо обусловлены использованием информационно-семиотической концепции культуры. Как было показано ранее, мы полагаем более правильным и основываемся на понимании культуры не как отдельной сферы общества или мира символов, а как определенного измерения отдельного социального организма, т.е. общества в его конкретном бытии. В рамках социокультурного подхода этнокультурный неотрадиционализм интерпретируется как духовно-практическое движение, актуализирующее потенциал традиционной культуры этноса на всех ее уровнях – от культурного ландшафта и хозяйственно-бытовой культуры до политико-правовой и духовной культуры.

Феномен этнокультурного неотрадиционализма возникает вследствие кризиса практики жесткого следования традициям конкретной этнической культуры. В составе этнокультуры этнос занимает подчиненное место, поскольку культура – здесь мы следуем евразийской точке зрения – представляет собой месторазвитие, т.е. взаимообусловленное развитие этноса и ландшафта. Конкретный ландшафт своими особенными природно-климатическими условиями определяет формирование этнической общности. В свою очередь этническая общность преобразует ландшафт, – и это устойчивое взаимодействие этноса и ландшафта в их специфике и взаимной адаптации составляет культуру.

Поэтому важное место в этнокультурном неотрадиционализме занимает культивирование ландшафта – местообитания коренного

⁶¹ Анжиганова Л. В. Этнокультурный неотрадиционализм как ресурс развития региона: проблемы и противоречия // Новые исследования Тувы. 2011. № 2-3.

этноса. Наиболее известным примером ориентации на культурный ландшафт как основание этнокультурного неотрадиционализма является сионизм – политическое движение за возвращение еврейского народа на историческую родину и образование еврейского государства. Символом сионистского движения стала священная гора Сион. С точки зрения социокультурной интерпретации этнокультурного неотрадиционализма важен тот исторический факт, что до конца XIX в. сионизм развивался как практическая деятельность, направленная на создание еврейских сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль.

Другим примером этнокультурного неотрадиционализма, возникшего на основе социокультурного движения за охрану священных природных территорий, является интерэтнический культ Алтая. Правда, он не столь тесно увязан с этнополитическими движениями коренных народов данного региона, но эти народы, тем не менее, рассматривают сохранение Алтая как важнейшее условие поддержания своей идентичности.

На примере сионизма и культа Алтая и Югры можно видеть, что этнический неотрадиционализм соотносится не только с этносом, но и с сакральным ландшафтом. Этнический неотрадиционализм необходимо является этнокультурным неотрадиционализмом, поскольку предполагает воспроизводство культуры в ее целостности – от этноса до этнокультурного ландшафта.

Кроме того, одной из ключевых проблем этнокультурного неотрадиционализма является воспроизводство традиционной культуры в ее исторической полноте и разнообразии. Как отмечает Е.Н. Николаева, современный русский неотрадиционализм актуализирует диахронически различные культурные пласты – от славянского язычества до предреволюционной России⁶². Возможность актуализации традиций исторически различных эпох с точки зрения социокультурного подхода определяется многоукладностью социального организма, сосуществованием в его структуре субкультур прошлого.

Актуализация русской традиции генерирует спектр вариаций неотрадиции, каждая из которых осуществляет свободную интерпретацию «русской темы». Неотрадиция инициируется веером знаковых

⁶² Николаева Е. Н. Неотрадиционализм в российской культуре рубежа XX–XXI веков // Медиакultura новой России: методология, технологии, практики. – М.; Екатеринбург: Академ. проект, 2007. – С. 234.

творений, проблематизирующих ортодоксальную культуру и обозначающих варианты ее обновления. В данных творениях не задается новый канон, который требуется воспроизвести; они представляют собой образцы пересмотра ортодоксальной традиции по тем или иным параметрам, что выступает вдохновляющим стимулом для выявления ее скрытых возможностей и дальнейшего их использования в освоении социокультурных ресурсов. В результате традиция не только обновляется, но и мультиплицируется и диверсифицируется, что позволяет ей расширить свой ареал.

По отношению к различным вариациям неотрадиции необходимо отметить, что ни одна из них не воспроизводит традицию аутентично, в чистом виде. Это определяется как тем, что традиция необходимо актуализируется средствами современной культуры, так и тем, что данная актуализация направлена на удовлетворение потребностей современности. Так, в эстетическом плане неорусский стиль – наиболее влиятельное неотрадиционалистское течение в русском искусстве конца XIX – начала XX в. – характеризовался, в частности, эклектичностью, обобщенностью, подчеркнутостью и усилением отдельных элементов, стилизацией и «модерновостью».

В целом нельзя согласиться с тем, что этнокультурный неотрадиционализм упрощает и обедняет этнокультурное наследие. Такой взгляд неизбежно возникает в рамках информационно-семиотической интерпретации феномена этнокультурного неотрадиционализма. Социокультурный подход в его социально-философской интерпретации, наоборот, позволяет видеть этнокультурный неотрадиционализм как социокультурное движение, которое позволяет открыть живую традицию в культурно-историческом разнообразии, обобщить и интегрировать ее, выразить ее существенную специфику в вариациях, актуальных для современности.

Завершая анализ места и роли социокультурной парадигмы в социальном знании, отметим, прежде всего, что ее популярность объясняется широкими методологическими возможностями, обеспечиваемыми практически неисчерпаемой структуриацией общества и культуры на компоненты различного уровня. Поэтому в самом общем представлении социокультурная парадигма понимается как установка на многофакторный, комплексный анализ различных явлений общественной жизни. Именно в этом смысле принято выделять эти явления как социокультурные феномены, а также говорить о социокультурном контексте тех или иных процессов.

Панорамность социокультурной парадигмы формирует стихийную установку на полидисциплинарность ее интерпретации. В этом случае предполагается, что социокультурная парадигма интегрирует методологические ресурсы всех или части отраслей социального знания, особенно для проведения исследований в междисциплинарных областях. Наряду с этим оформились и параллельно развиваются устойчивые исследовательские сообщества, придерживающиеся той или иной интерпретации социокультурного подхода. Таким образом, сегодня социокультурная парадигма – зонтичный термин для целой линейки репрезентаций социокультурного подхода, которые имеют различное концептуальное содержание.

Еще раз подчеркнем, что своей известностью социокультурный подход обязан творчеству П.А. Сорокина, а слабая освоенность социокультурного подхода социологами и высокая активность философов в его экспликации являются признаками социально-философского статуса этого подхода. Характеризуя социокультурный подход как методологему прикладной социальной философии, мы считаем неисчерпанными возможности генерирования репрезентаций социокультурной парадигмы с позиций всех тех философских направлений, которые оперируют понятиями «общество» и «культура» и ориентированы на реализацию своих учений в практической социально-философской деятельности.

Литература

- Анжиганова Л.В.* Этнокультурный неотрадиционализм как ресурс развития региона: проблемы и противоречия // Новые исследования Тувы. – 2011. – № 2–3. – С. 95–96.
- Анжиганова Л.В.* Этнический неотрадиционализм в условиях социокультурных трансформаций // Мир науки, культуры образования. – 2012. – № 6. – С. 438–440.
- Ахиезер А.С.* Культура и социальные отношения // Перестройка общественных отношений и противоречия в культуре. – М.: ИФАН, 1989.
- Ахиезер А.С.* Методология социокультурного исследования переходных процессов (на материалах России): Дис. ... в виде науч. докл. – М., 1997.
- Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). – Т. 1: От прошлого к будущему. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. – 804 с.

- Ахизер А.С.* Россия: критика исторического опыта. (Социокультурный словарь). От прошлого к будущему. – Т. II. – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1998. – 600 с.
- Ахизер А.С.* Философские основы социокультурной теории и методологии // Вопросы философии. – 2000. – № 9. – С. 29–45.
- Белякова Ю.Л.* Социокультурный подход: этапы формирования и основные императивы // Государственное управление. Электронный вестник. – 2011. – Вып. 29. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/29/Belyakova.pdf>.
- Генисаретский О.И.* Опыт методологического конструирования общественных систем // Моделирование социальных процессов. – М.: Наука, 1970. – С. 48–64.
- Джеффрис В.* Интегрализм П.А. Сорокина: новая общественная наука и реконструкция человечества // Социологические исследования. – 1999. – № 11. – С. 13–17.
- Ельникова Г.А.* Социокультурная парадигма социологического исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа [http:// конференция.com.ua/pages/view/705](http://конференция.com.ua/pages/view/705) (Дата обращения: 12.08.2013.).
- Ерасов Б.С.* Социальная культурология. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 591 с.
- Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С.* Возвращение Европы. Статья четвертая. В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 6. – С. 3–14.
- Ионин Л.Г.* Основания социокультурного анализа. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т., 1995. – 151 с.
- Кирдина С.Г.* Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России // Социологические исследования. – 2002. – № 12. – С. 23–32.
- Косарева Л.М.* Социокультурный генезис науки Нового времени (философский аспект проблемы). – М.: Наука, 1989. – 160 с.
- Котылев А.Ю.* Понятие «социокультурный» в терминологическом словаре П.А. Сорокина // Наследие. – Сыктывкар. 2012. – № 2. – С. 45–50.
- Кравец А.С.* Социокультурная ниша науки. – Воронеж: Б.м.и., 1990. – 20 с.
- Кругова Т.Г., Фофанов В.П.* «Созвездие знаний» как феномен культуры: к разработке методологии гуманитарных исследования // Социокультурные исследования. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. госу ун-та, – 1997. – С. 225–244.
- Латин Н.И.* Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры // Социологические исследования. – 2000. – № 7. – С. 3–12.
- Латин Н.И.* От социокультурного – к антропосоциетальному подходу // II Всероссийская научная конференция Сорокинские чтения-2005. Будущее России: стратегии развития. 14–15 декабря 2005 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lib.socio.msu.ru> (Дата обращения: 05.02.2011 г).

- Латин Н.И., Беляева Л.А.* Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация – 2010). – М.: ИФ РАН, 2010. – С. 135.
- Латин Н.И.* Социокультурная трансформация России: либерализация versus традиционализация // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – № 3. – С. 32–39.
- Латин Н.И.* Отношения общественные // Новая философская энциклопедия: В 4 т. – М., 2010. – Т. 3. – С. 177–178.
- Мамчур Е.А.* Проблемы социокультурной детерминации научного познания. – М.: Наука, 1987. – 125 с.
- Нечаев В.Я.* Социокультурная парадигма в социологии образования // Социология образования. – М.: Центр социологии РАО, 1993. – Ч. I. – С. 19–27.
- Николаев В.Г.* Социокультурная система // Культурология. XX век. Энциклопедия. – Т. 2. – СПб.: Российская политическая энциклопедия, 1998. – С. 547–548.
- Николаева Е.Н.* Неотрадиционализм в российской культуре рубежа XX–XXI веков // Медиакультура новой России: методология, технологии, практики. – М.; Екатеринбург: Академ. проект, 2007. – С. 230–238.
- Орлова Э.А.* Методологические основания социокультурного исследования // Вопросы социальной теории. – 2008. – Вып. 1. – С. 290–305.
- Попков Ю.В., Тюгашев Е.А.* Социокультурное движение в гуманитарном сообществе и социокультурный подход // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: философия. – 2012. – Т. 10. – Вып. 3. – С. 58–63.
- Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Сост. и общ. ред. Н.И.Лапина и Л.А.Беляевой.* – М.: Издательство Academia, 2009. – 807 с.
- Резник Ю.М.* Социокультурный подход как методология исследования // Вопросы социальной теории. – 2008. – Вып. 1. – С. 353–380.
- Сапов В.В.* «Магический кристалл» социологии // Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – М.: Астрель, 2006. – С. 3–18.
- Сорокин П.А.* Символы в общественной жизни. – Рига: Наука и жизнь, 1913. – 48 с.
- Сорокин П.А.* Моя философия – интегрализм // Социологические исследования. – 1992. – № 10. – С. 35–38.
- Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – 543 с.
- Сорокин П.А.* Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – С. 372–392.
- Сорокин П.А.* Социальная и культурная динамика. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с.
- Социокультурный контекст науки / ред. Е.А. Мамчур.* – М.: Институт философии РАН, 1998. – 221 с.

- Социокультурный* портрет региона. Типовая программа и методика / Под ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. – М.: ИФ РАН, 2006. – С. 275.
- Степин В.С.* Естествознание как социокультурный феномен // Ценностные аспекты естествознания. – Обнинск: Центр. Бюро методологических семинаров АН СССР, 1973. – С. 23–25.
- Сычева Л.С.* Волновая революция в гуманитарных науках // Проблема способа бытия объектов исследования в гуманитарных и естественных науках. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2001. – С. 179–199.
- Темницкий А.Л.* Социокультурное в условиях сложного общества: от нерасчлененного понятия к дуальным оппозициям // Вестник МГИМО Университета. – 2011. – № 4. – С. 180–188.
- Флиер А.А.* Современная культурология: объект, предмет, структура // Общественные науки и современность. – 1997. – № 2. – С. 124–145.
- Фофанов В.П.* Методологическое значение социокультурного подхода в разработке новой концепции советского общества // Современные интерпретации социокультурных процессов. – Кемерово: КГИИК, 1994. – С. 3–25.
- Черныш Н., Ровенчак О.* Социокультурный подход в социогуманитарных науках: обмен смыслами // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 92–103.
- Черныш Н., Ровенчак О.* Основные понятия и положения социокультурного подхода и специфика применения их в социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 37–53.
- Южаков С.Н.* Социологические этюды. – М.: Астрель, 2008. – 1056 с.
- Яковец Ю.* Школа русского циклизма: истоки, этапы развития, перспективы Доклад на XI междисциплинарной дискуссии. – М.: МФК, 1998. – 79 с.
- Sorokin P.A.* Mutual convergence of the United States and the USSR to the mixed sociocultural type // International journal of comparative sociology. – 1960. – № 1. – P. 143–176.
- Kozulin A.* Sociocultural paradigm // Lessons from the history of antireductionist empirical psychology. – New Brunswick, London: Transaction Publishers, 2008. – P. 9–28.
- Lantolf J.P.* Introducing sociocultural theory // Sociocultural theory and second language learning. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – P. 1–26.
- Sociocultural studies of mind* // Eds. J. Wertsch, P. Rio, A. Alvarez. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995. – 252 p.
- The Cambridge handbook of sociocultural psychology* / Eds. J. Valsiner, A. Rosa. – Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2007. – 729 p.
- The sociocultural turn in psychology: The contextual emergence of mind and self* / Eds. Kirschner S., Martin J. – Columbia University Press, 2010. – 298 p.
- Wertsch J.V.* Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. – 169 p.

Глава 4

НАУКА, РАЦИОНАЛИЗМ И КУЛЬТУРА: СХОЖДЕНИЕ ПАРАДИГМ

Зрелые и незрелые науки М. Фуко: встреча научных и социальных парадигм

Один из ведущих философов постмодернизма Мишель Фуко говорил в свое время о «зрелых» и «незрелых» науках, без всякой аксиологической составляющей, или же с какой-либо оценочной позиции. Убеждение, что «зрелые» науки вроде физики, считаются многими представителями научного истеблишмента более предпочтительными для анализа рациональной мысли, отвергается им, в значительной степени в пользу наук гуманитарных. Он отмечал, что, быть может, подлинной парадигмой науки является, скажем география, или любая дескриптивная дисциплина, а физика является скорее исключением. Однако в пользу математизированной физики свидетельствует, что само понятие рационального мышления воплощено в математическом дискурсе.

В свое время Бертран Рассел заметил, что любой философ должен быть озабочен вопросом, который поставил Кант – «Как возможна чистая математика?» На это откликнулся американский философ науки Ян Хакинг, заметив в свою очередь, что Рассел преувеличивал – весьма небольшое число философов раздумывает над этим вопросом¹. Ясно, что Хакинг имел в виду прежде всего тех, кто занимается социальными науками, для которых математика является чем-то очень далеким и вряд ли имеющим отношение к тому, что называется настоящей философией. Удаленность эта может быть измерена удаленностью парадигм социального знания и знания математического. Нет смысла перечислять особенности этих двух групп парадигм, потому что на интуитивном уровне специфику каждой из них

¹ *Hacking I. What Mathematics Has Done to Some and Only Some Philosophers // Mathematics and Necessity / Ed. Smiley T. – Oxford University Press, 2000. – P. 83–138.*

понятна любому профессионалу, да и не только ему. Между тем, при более пристальном взгляде можно найти некоторое сходство, и даже некоторые параллели. Другое дело, что это занятие не очень благодарное, поскольку сведущие в математике вряд ли интересуются социальными парадигмами, а знатоки последних вряд ли имеют достаточное знание математики. Но фиксация подобного положения дел не может скрыть того обстоятельства, что взаимопроникновение социальных и естественнонаучных аспектов знания является реальным фактом. (Вот уже и Российский фонд фундаментальных исследований – РФФИ – требует от экспертов при оценке заявок гуманитарного профиля учитывать, в какой степени в предполагаемых исследованиях используются естественнонаучные методы)². Однако описание этого процесса затруднено чрезвычайно популярными объяснениями в той и другой областях. Другими словами, редкие исследователи, которые рискуют описывать взаимосвязь парадигм социального знания и математического знания, обычно ограничиваются вещами просто банальными, доступными просто образованным людям, суть которых сводится к указанию на некоторые удивительные факты или же монизму определенного толка – о единстве мира и пр.

Однако существует куда как более глубокая связь между науками точными, в том числе математикой, и остальным, что называется социальным знанием. Следует сразу заметить, что речь не идет об одностороннем движении – что социальные науки много чего могут позаимствовать у математики – но и о том, что сама математика чревата философскими проблемами. Хотя этот последний тезис может вызвать недоумение у тех же математиков, но то обстоятельство, что многие споры в математическом сообществе носили характер «религиозных войн», вряд ли можно оспорить. Здесь имеется в виду, конечно, не религиозная проблематика, а страстность и напряжение, которые свойственны обычно философским и теологическим спорам. Хотя внешний характер деятельности математического сообщества вряд ли может быть признан существенным фактором, следует отметить, что сама суть парадигм математического знания в существенной степени сходна с парадигмами социального знания.

В России существует довольно распространенное убеждение в среде ученых – не выходить за пределы собственной области. Это означает на практике, что редко какой математик отважится на от-

² Это требование относится к сентябрю 2013 г.

кровения в области философии. Между тем, представители великих немецких математических школ³ – Дирихле, Дедекиннд, Риман, Гильберт проявляли значительный интерес или по крайней мере полную компетентность в философских вопросах. Быть может, объяснение этому любопытному факту можно найти в том, что математика при делении университетов на факультеты была отнесена, в силу, наверное, своей специфики, к философскому факультету, и не удивительно, что немецкие математики превосходно разбирались в философии. Справедливости ради нужно отметить и то, что философия эта была добротной, насколько философия вообще может быть добротной. Так, у Гильберта, величайшего математика XX века можно найти апелляцию к кантианским понятиям интуиции и знака⁴. Так что сама по себе математика не оторвана от философии, что хорошо видно в творчестве создателя теории множеств Г. Кантора, который идею бесконечности в ее математической трактовке, им же и разработанной, связывал с философскими и теологическими вопросами. Когда же началась эпоха исследований по основаниям математики, философы оказались непременными участниками споров, баталий, принадлежа различным подходам к пониманию природы математики.

То обстоятельство, что впоследствии математическое сообщество стало более сухо относиться к вмешательству философии в дела математические, объясняется многим факторами, в том числе, стремлением обеспечить автономию математики как самодостаточной дисциплины. Именно такой линии придерживался при создании метаматематики Д. Гильберт, полагая, что разговор о математике – мета-разговор – должен состоять не в философских комментариях, а в собственном обсуждении проблем математики, не выходя за пределы математики. Однако большее воздействие на процесс охлаждения отношений между математикой и философией с эпистемологической точки зрения оказала некоторая усталость в попытках нахождения общепринятых оснований математики. Математики вдруг поняли, что никакая философская установка не вправе ограничивать свободу математического творчества, свободу, о которой говорил еще Р. Дедекиннд.

Тем не менее, довольно внезапно некоторые философы стали обнаруживать поразительные связи между концепциями математики

³ Речь идет о Берлинской и Геттингенгетской школах.

⁴ *Tselishchev V. Mathematical Intuition and Hilbert's Minimal Philosophy // 23 World Philosophical Congress. – Athens, 2013.*

и постмодернистскими идеями⁵. Если эти параллели хоть в какой-то степени обоснованы, это означает, что математика и постмодерн в философии движутся параллельно в одном направлении, или являются частью одного и того же культурного явления. Вообще-то говоря, речь идет не просто о культуре, а о сходстве парадигм социального знания (в лице философии постмодернизма – а что может быть «социальнее» этой философии) и парадигм математического знания. Такая аналогия, или же такое сближение, заслуживают самого пристального внимания.

Сочинения таких философов как Деррида, Фуко, Делез в основном апеллируют к знанию гуманитарному, но при этом общая канва структурализма предполагает апелляцию и к математике. Некоторые исследователи даже предполагают, что программа обоснования математики Бурбаки имеет прямое сходство со структурализмом Леви-Стросса. Правда, такое отождествление может быть достаточно произвольным, основанным на совсем уж косвенных факторах. Если продолжать такую тенденцию, то удачная метафора может быть использована для удобной классификации. Действительно, в знаменитом пассаже, в котором структура математики уподобляется большому городу, через метафору города «...можно лучше понять внутреннюю жизнь математики, понять то, что создает ее единство и вносит в нее разнообразие, понять этот большой город, чьи предместья не перестают разрастаться несколько хаотическим образом на окружающем его пространстве, в то время как центр периодически перестраивается, следуя каждый раз все более и более ясному плану и стремясь к все более и более величественному расположению, в то время как старые кварталы с их лабиринтом переулков сносятся для того чтобы проложить к окраине улицы все более прямые, все более широкие, все более удобные»⁶. Естественно, что прообразом города-метафоры является Париж, как утверждает видный историк науки Питер Галисон. С его точки зрения Бурбаки выступает как архитектор Хаусманн, который в середине XIX в. радикально перестроил пригороды Парижа⁷.

⁵ См., например: *Tasic V. Mathematics and the Roots of Postmodern Thought.* – Oxford Univ. Press, 2001.

⁶ *Бурбаки Н.* Архитектура математики. – М.: Знание, 1971. – С. 15–16.

⁷ *Galison P. Structure of Crystal, Bucket of Dust // Circle Disturbed / Ed. Doxiadis A., Mazur B.* – Princeton Univ. Press, 2012. – P. 207–284.

Но как бы то ни было, метафоры или же аналогии, или какие-либо другие приемы устанавливают определенное сходство математики и постмодернистского дискурса. Как показывает предыдущий пример, такое сходство может быть крайне косвенным или отдаленным, но пример другого постмодернистского философа А. Бадью говорит о намерении прямо использовать математику для утверждения философских тезисов. Определенного рода схождения парадигм социального знания и парадигм науки тут просто не избежать. Быть может, само утверждение о расхождении этих типов парадигм оказывается иллюзорным, поскольку знание математическое в значительной степени увязано с понятием рационального мышления, которое присуще сообществу людей, и в этом смысле является знанием социальным. Такой вывод находится в полном согласии с историцистским видением науки Т. Куном⁸. Рассмотрим тезис о том, что рациональное мышление математика детерминруется социальными обстоятельствами, метафизическими гипотезами, догадками о природе когнитивных процессов, всем тем, что называется дискурсом.

Действительно, термин «парадигма социального знания» является в значительной степени расплывчатым. Но трудно отрицать, что он имеет прямое отношение к некоторым наиболее существенным характеристикам знания вообще. В свою очередь, «знанию вообще» присущи характеристики, известные уже давно, то теряющие свою значимость, то приобретающие ее с еще большей интенсивностью. Известно, что по-настоящему серьезная философская проблема никогда не сходит с арены окончательно. Будучи решена, по общему мнению, или же забыта на некоторое время, она обретает новую жизнь, зачастую в других одеждах. Типичным примером является проблема рациональности, которая занимает важнейшее место в научном дискурсе. Действительно, математика является парадигмой рациональности, а любое знание, претендующее на достоверность, в качестве одной из своих добродетелей обязательно числит рациональность. Так если математика есть образец рациональности, а последняя признана добродетелью, наверняка имеется глубинная связь парадигм математики и парадигм социального знания. Иррационализм есть прямой вызов такому порядку вещей, потому что он пытается подорвать базисные положения порядка рационализма, примериваясь к гораздо более высоким целям. В этом смысле интересно некото-

⁸ Кун Т. Структура научных революций. – М., 1993.

рое разочарование Ф. Ницше, выраженное в прекрасной афористической форме:

Мы хотим не верить в Бога, а все еще верим в грамматику.

В какой степени истинно, что математика есть олицетворение рациональности, которой должно следовать все наше мышление? Случайность то или нет, но два великих инициатора рационализма, Р. Декарт и Г. Лейбниц, были и величайшими математиками. Обычно этот факт случайностью не называют. Правда, можно сказать, что XVII в., когда творили эти мыслители, вообще был веком философии, которая царила буквально везде, и творение Ньютона называлось «Математические начала натуральной философии». Но не все столь ярко отстаивали рационализм. Более того, рационализму Декарта и Лейбница противостояли эмпиристы, которые настаивали на важности ощущений и опыта. Математика в этом споре занимала двойственное положение. С одной стороны, именно математика была источником веры в отчетливые идеи, столь важные для автора *Cogito ergo sum*. С другой стороны, математика применялась на практике, и коль скоро математика была творением чистого разума, *ratio* в чистом виде, как могут иметь место такие приложения? Попытки объяснить математику эмпирическим опытом казались тривиальными (даже в поздней версии Дж.С. Милля), но более общая проблема оставалась: как возможны приложения математики, или, с противоположной позиции – как возможна чистая математика.

Сам Декарт имел смутное ощущение, несмотря на весть свой рационализм, что знание не состоит в чистом размышлении, поскольку на каком-то этапе это размышление должно иметь контакт с ощущениями. «Предустановленная гармония» Лейбница имела слишком теологический оттенок, чтобы дать серьезное решение проблемы применения математики. Декарт в качестве объяснения предположил загадочный в то время «картезианский круг», который в наше время считается просто тривиальностью. Мы имеем теорию, основанную на наблюдениях, а эти наблюдения являются обоснованием теории. В этом круге нет подлинного основания, столь важного для рационализма.

Вообще то такой «круг» является ныне повсеместной научной практикой. С эпистемологической точки зрения, он даже получил определенное обоснование в «рефлексивном равновесии» Дж.Ролза⁹.

⁹ Ролз Дж. Теория справедливости. – М., 2010.

Если в традиционной версии теория «подстраивается» к фактам наблюдения, то Ролз настаивает на взаимном приспособлении. К стати говоря, «приспособление» фактов к теории трудно воспринимается для наук точных, но для социальных наук оно подходит идеально. В точных науках оно может иметь место при привлечении концепции теоретически нагруженных терминов, и тогда «картезианский круг» получает довольно полное объяснение. Но во времена Декарта и Ньютона между мышлением и опытом была пропасть, и для ее преодоления им приходилось прибегать к метафизическим гипотезам, которые отнюдь не относятся к рациональному мышлению.

Исходный вопрос о том, как возможна чистая математика, может решаться либо помещением математики в область чистого разума, или же эмпирическим обоснованием ее. Если математика есть продукт чистого разума, она обладает некоторыми характеристиками, присущими чисто логике, в частности, необходимостью. Именно эту характеристику мышления оспаривал Д. Юм, полагая математику некоторого рода «фикцией». Как известно, номинализм в философии математики склонен к эмпирическому обоснованию математики, и современный номинализм принимает «фикционалистскую» точку зрения на природу математических истин и объектов. Фикции с этой точки зрения есть продукт разума, имеющий целью восполнить пробел между эмпирической действительностью и способностью мышления создавать структуры, которые применимы для описания этого опыта. Уже, правда, Кант говорит не об описании, а о конституировании его с помощью почти мистической способности к интуиции. Вообще, с мистическими концепциями «играет» уже Декарт, оставляя необъясненными многие положения своей рационалистической философии. Так что интуиция Канта не является таким уж отступлением от практики.

Теологические и метафизические корни философии Декарта отчетливо просматриваются в его концепции математики. С его точки зрения, математика является божественным изобретением, и только благодаря божественному решению, $2 + 2 = 4$, а не $2 + 2 = 5$. Божественная воля превосходит то, что мы называем рациональностью. Так, Бог мог создать пятиугольный квадрат, тем самым нарушая законы логики, то есть, творя противоречивый объект. В противоположность ему, Лейбниц полагал, что даже всемогущий Бог не может нарушить законов логики. «Правильность» математических законов объясняется у Декарта благостностью Бога.

Злонамеренный дьявол Манихеев мог бы обманывать нас, но не Христианский Бог. Но хотя Он и не обманывает нас, он не гарантирует истинность математики. Дело в том, что математика, являясь воплощением разума, сталкивается с проблемой обоснования самого рационального мышления.

Действительно, можно ли найти обоснование самого рационального мышления, скажем, конечного обоснования логики? Р. Нозик обсуждает случай, когда человек не хочет принять, скажем, принцип *modus ponens*. Встает вопрос, как заставить его это сделать, если любые аргументы при этом будут опираться на тот же принцип, или другие логические принципы¹⁰. Нозик заключает, что, похоже, единственным средством убеждения в данном случае будут лагеря по перевоспитанию в период Культурной революции в Китае. Другими словами, вряд ли математика, если она основана на логике, может иметь обоснование, выходящее за ее пределы. Это соответствует убеждению Декарта, что сама по себе разум не имеет вне себя стандартов, которым должен удовлетворять.

В настоящее время на это можно было бы ответить, что исследователи в области когнитивной психологии или эволюционной психологии могут просветить нас в том, почему наше мышление имеет именно такой характер, скажем, почему эволюционно оправданно мыслить рационально. Однако в этом направлении слишком мало данных, чтобы можно было говорить о прояснении природы норм в мышлении. Другое дело, что преследование норм в науке, в том числе в математике, конечно же имеет место. Но это уже совсем другой разговор, имеющий отношение к социологическим особенностям функционирования научных сообществ.

Но что же на самом деле представляет наше мышление в своей наиболее отчетливой форме, в форме математического рассуждения? Есть два крайних взгляда на этот процесс. Один из них приписывает главную роль интуиции, а второй – комбинаторным операциям. Эти два взгляда были отчетливо выражены почти одновременно. Математическое мышление выражается прежде всего в доказательстве, которое, повторим, может быть результатом озарения, либо последовательностью элементарных шагов. Последняя точка зрения принадлежит Лейбницу, который рассматривал доказательство как комбинаторику.

¹⁰ *Nozick R. Philosophical Explanations. – N.Y., 1981.*

В настоящее время доказательство определяется как последовательность утверждений, каждое из которых есть либо аксиома, либо следует из предыдущих применением правил вывода. В этом смысле доказательство превращается в манипулирование символами. Лейбницем предложена замечательная метафора философского спора, согласно которой в споре как таковом участников следует заменить на «бухгалтеров», которые просто произведут расчеты. Ясно, что при этом исчезает эмоциональная составляющая философской, да и любой другой аргументации. Доказательство в комбинаторном виде можно уподобить анестезированию живого дискурса. В определенном смысле, такая процедура предназначалась для любых дискуссий, включая то, что мы сейчас называем социальным знанием. Таким образом, Лейбниц предложил новую парадигму мышления, которая охватывает с помощью идеи универсального языка всевозможные дискурсы.

Вычисление, согласно Лейбницу, должно заменить нам мышление. Но при этом встает вопрос, что такое вычисление. В частности, математическое доказательство как вычисление требует от последнего соблюдения некоторых условий, а именно, что концепция доказательства должна быть рекурсивной. Рекурсивное мышление опирается на идею повторяющейся вычислительной операции. А само по себе простое вычисление базируется на простых правилах, которые представлены в нашем опыте вербально. Мы знаем, что $5 + 7 = 12$ просто потому, что привыкли к выполнению подобных правил. Больше того, мы даже знаем, если выйти за пределы простых эмпирических условий, каковы должны быть результаты вычислений, если мы будем следовать правилам. Представим себе, что я делаю сложное с психологической точки зрения вычисление, опираясь в явном виде не на правила, а на последовательный пересчет, скажем, складываю две кучи камешков, каждая из которых пре предварительном пересчете содержала 2000 камешков. Прямой пересчет общей кучи даст нам, как оказалось, 3999 штук. Второй пересчет дает нам 4003 штуки. Третий пересчет даст 4001. Такой результат не является неожиданным, поскольку пересчет является эмпирической процедурой, которой свойственны ошибки. Просто способ выяснения подлинного числа камешков состоит в выявлении среднего арифметического, которое оказывается очевидно числом дробным. Но этого не может быть, говорим мы, потому что мы складываем целые камешки, и дробям появиться просто неоткуда. Но откуда мы знаем этот факт?

Только обращением к некоторому общему арифметическому правилу, согласно которому складывание целых чисел не может дать дробный результат.

Таким образом, нам надо различать эмпирические утверждения, которые носят опытный характер и подвержены возможности ошибок, и арифметические утверждения, которые носят необходимый характер. Вычисление как часть арифметики обладает т.н. математической определенностью, что означает исключение возможности ошибок. Такое обстоятельство объясняется тем, что каждый шаг в вычислении проверяем. Доказательство как цепь вычислений, стало быть, обладает той же самой определенностью, поскольку проверка его легко (в принципе) осуществляется проверкой всех вычислений, в него входящих. Такая комбинаторная точка зрения изгоняет интуицию из доказательства. Комбинаторная точка зрения на математические доказательства оказалась через три столетия чрезвычайно плодотворной, дав начало целой серии парадигм знания, важнейшей из которых является роль компьютеров в получении знания.

Таким образом, на повестке дня стояла проблема соотношения разума и опыта. Фактически дело обстояло с необходимостью выработки новой парадигмы европейской мысли. Творцом парадигмы но долгое время стал И. Кант. Как уже упоминалось выше, частью этой парадигмы стала новая философия математики. В определенной степени ее можно рассматривать как компромисс между эмпиризмом и рационализмом, и как неудовлетворенность скептицизмом Юма, с одной стороны, и мистицизмом Декарта, с другой. Суть предложенный Канта состояла в следующем: концепции без опыт пусты, а сам по себе опыт без концепций не может считаться знанием. Поиск таких концепций и их связи с опытом привел Канта к полному изменению структуры понимания, или же, по другому, к радикально иной парадигме знания, в том числе, социального.

Канта можно понимать догматически, оправдывая любой его ход мысли. Эта распространенная стратегия приводит к обнаружению у Канта много из того, что на самом деле противоречит духу его философии. В этой связи можно вспомнить критику систему категорий Канта его противником А. Шопенгауэром, который посчитал саму систему результатом страсти Канта к симметрии, заставившую придать системе излишнюю совершенства.

В центр своей философии Кант поставил индивидуальное сознание. Кант говорил о своей новой парадигме знания как о коперни-

канской революции, но имея в виду субъективизм Канта, можно понять язвительное замечание Рассела, что на самом деле это была птолемеевская контрреволюция¹¹. Объекты внешнего мира, доступ к которым был всегда проблемой для эмпиризма и рационализма, для Канта были объектами сознания индивида, то есть, моего сознания. Отсюда следует его знаменитая концепция вещи-в-себе.

Один из основных вкладов Канта в новую парадигму знания является понимание того, что все наше знание имеет в качестве условия своего существования нечто, не относящееся к логике, точнее, какие-то экстралогические составляющие. На самом деле, очень многие люди утверждали и утверждают наличие нелогических элементов в нашем сознании и мышлении, называя это по-разному, от термина «интуиция» до всякого рода мистических способностей человека. Кант был первым, кто нашел для таинственной интуиции подходящее ей место в структуре рационального познания. Речь идет о том, что управляет формой всего возможного опыта и мышления. Такая форма задается априорной интуицией пространства и времени, и, не имея такой интуиции, человек не мог бы отличить себя от других вещей.

Относительная гармония между наукой и философией, высший этап которой мы находим у Гегеля («философия как царица наук»), продолжалась недолго. Конфликт между философией и наукой стал усугубляться по мере того, как развивались эмпирические науки. Ганс Пейджелс выразился весьма резко о соотношении трех «участников» интеллектуального поля, сравнивая время Канта и нынешнее время: Если ранее философия была служанкой теологии (и о душе мыслила благородно), то ныне она является шлюхой науки¹². Но как оказалось, в крушении прежней парадигмы знания сыграло свою роль не только развитие эмпирических наук, но и чистой математики. Это обстоятельство играет важную роль, поскольку именно на математику, в частности, геометрию, Кант полагался в своей концепции априорной интуиции.

Как известно, Кант считал математику синтетической априори. Другими словами, наше знание геометрических истин опиралось на нашу априорную интуицию пространства. Мы именно так воспринимаем пространство, и другого способа быть не может. Пространство

¹¹ Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск, 2007.

¹² Pagels H. The Dreams of Reason. – N.Y., 1988.

Канта было евклидовым. Рассел иронически замечал, что такая точка зрения могла родиться в плоской местности Восточной Пруссии, и вряд ли могла иметь место, если бы Кант жил в горах¹³. Действительно, априорная интуиция пространства Канта была интуицией евклидова пространства.

Известна история возникновения неевклидовой геометрии. Обнаружение альтернативных интерпретаций геометрических концепций стала причиной уязвимости кантианской философии. Таким образом, Кант ошибался в том, что пространство было формой нашей интуиции. Такая ошибка Канта резко изменила соотношение философии и науки, приводя к возникновению новой парадигмы знания. Наука подправила Канта, хотя до этих пор философия пыталась подправлять науку. Следует отметить, что критика Канта была тройной. Математика подправила аргументы Канта о природе математических утверждений. Тем самым подверглась критике «общая установка» Канта в философии. Но в экспериментальной области произошли серьезные изменения во взглядах на восприятие человеком пространственных отношений. В частности, Г. Фон Гельмгольц показал, что пространственная ориентация человека является приобретенной, но никак не врожденной. Далее, последующие многочисленные опыты в области когнитивной психологии показали, что визуальное пространство человека никак не является евклидовым. Наконец, современная космология в своих версиях весьма далека от кантианских представлениях о пространстве и времени.

Безусловно, различение евклидова и неевклидова пространства требует тщательного внимания с точки зрения того, какая геометрия является «правильной». Конвенционализм Пуанкаре как значимая философская позиция утверждает равноправность обеих геометрий для описания мира. С точки зрения эмпирических проверок того, каково реальное пространство, результат таких проверок не даст никаких преимуществ ни той, ни другой¹⁴. Мы можем сформулировать нечто вроде кантовской антиномии: пространство является и евклидовым и неевклидовым. Сам Кант разрешил бы такую антиномию, посчитав пространство вещь-в-себе, которая может быть евклидовым и неевклидовым. Любая из этих версий, положенная в качестве гипотезы, будет проекцией наших знаний, но не знанием подлинно-

¹³ Рассел Б. История западной философии.

¹⁴ См.: Карнан Р. Философские проблемы физики. – М., 1966.

го состояния дел. Это означает, что разум не может быть верховным арбитром в применении к вещам-в-себе, а также к концепциям, которые не могут быть объектами нашего опыта, в частности, воображаемые конструкции, фиктивные объекты. Очевидна необходимость в трансцендентальных посылах как необходимых предпосылках знания.

Рационализм состоит в избавлении от иллюзий. Смена парадигм есть результат такого процесса избавления. Этот процесс можно обобщить и на более ранние этапы становления цивилизации, когда речь идет о демистификации природы, поскольку на смену фикциям воображения идут рационально обоснованные конструкции, или же плохо обоснованные конструкции заменяются на более обоснованные. Не следует думать, что речь идет о «видимых» фикциях. Например, часто говорят, что коперниканская революция выразилась в замене видимого движения Солнца невидимым вращением вокруг него Земли. На самом деле, конструкция Птолемея была заменена конструкцией Коперника, и не только из соображений несовпадения эмпирических данных, а в силу разного эпистемического статуса обоснования конструкций.

Когда скоро разум превосходит опыт через трансцендентальные концепции, он приходит к определенным «трансцендентальным иллюзиям». Это кантовский термин, и сама по себе рационализация означает, что такие иллюзии являются необходимым условием возможности познания. Другими словами, разум может творить свои иллюзии и фикции, без которых невозможно получение знания. За это надо платить противоречиями и неясностями, антиномиями и тупиками.

Надо понимать, что критика кантовского понимания пространства является лишь одним из примеров того, как шло избавление от «фикций» с процессом смены парадигм приобретения знания. Очищение знания от фикций в качестве предела имело полную его рационализацию. Такая рационализация представляет собой обоюдоострый процесс, поскольку объяснение или обоснование может идти на разных уровнях, даже применительно к фикциям. Так, фантазмагорический мир Иеронима Босха, понимание которого давно утеряно, имел довольно четкую семиотическую интерпретацию, скажем, в лице приобретателя его картин испанским королем Филиппом Вторым. То было объяснение символики, и, судя по некоторым намекам, довольно детальное, так что то, что раскрывается нашему

изумленному взору, было для современников Босха четким, хотя и сложным, текстом.

Конфликт разума или рациональности с чувством или интуицией, является одной из движущих сил истории Нового Времени. Само признание Кантом необходимости фикцией разума приводит к разным интерпретациям его философии. Ведущую роль в реализации этой тенденции играет культурное направление в Европе, тесно связанное с Немецким идеализмом. Немецкий романтизм берет у Канта необходимость в иллюзиях, доводя эту точку зрения до крайности. Доминирующей в Немецком Романтизме была эстетическая составляющая. Рассел кратко характеризует ее таким примером. «Тигр опасен, но он прекрасен.» Присущая немецкому национализму риторика «крови и почвы» сочеталась с превознесением эстетического начала, нашедшего определенное завершение в «Нибелунгах» Р. Вагнера.

Демифологизация Средневековья устранила из дискурса вещи, которые имеют эстетический статус. Аксиология парадигм не занимает большого места в философских исследованиях, но надо признать, что в разрушении мифологии рационализацией первой страдает эстетическая составляющая. Но поскольку разум не исчерпывает наш эстетический опыт, его осмысление наполняется вещами, которые прямо противоположны рационализму, а именно, метафорами, фикциями, аллегориями. Мечтательность, свойственная немецкому Романтизму, поощряет неясность, смешение чувств и идей, реабилитирует прошлое, возвращаясь к мифологизированной вселенной. В известном смысле, Немецкий Романтизм радикализировал упор Канта на важность воображения, сделав его ничем неограниченным в поисках не только вдохновения, но и химер.

В это же время рациональная наука ищет объяснения всех явлений, стремительно расширяя себе пространство за счет совершенства не только идей, но и технологии. Естественно, она встречает сопротивление в лице представителей той же немецкой философии, в которой настороженное отношение к науке перенесено на технологию. Философия М. Хайдеггера служит тому прекрасным примером.

Между тем, на формирование новой парадигмы знания существенным образом влияла математика. Со времени возникновения неевклидовой геометрии она далеко ушла в конструировании фикций – многообразий, странных функций, «монстров», которые уже не подходили и к рациональному видению того, как наука описывает мир. Все большее расхождение математических концепций и сущностей

от наглядности материального мира формирует убеждение логических позитивистов, согласно которому эксперимент и математическое описание становятся скорее «параллельными» друг другу, а не частью одного описания. «Правила соответствия» Г. Райхенбаха разводят в разные стороны проблемы описания реального мира и применяемой для его описания математического аппарата¹⁵. Больше того, такое поведение математики объясняется ими «тавтологичностью» математических истин, которые более не несут никакой информации о мире.

Естественным выходом из такой ситуации была трактовка математической активности как манипуляции символами, а сама математика при этом рассматривалась как замкнутая на себя наука, не имеющая отношения к реальности. Другими словами, это было возвращение к идее Лейбница о комбинаторной природе математического мышления. Это была очень важная идея, технологические последствия которой начинают проявляться только сейчас, с впечатляющим подъемом компьютерной техники. В ее рамках лежит направление, связанное с конструированием формальных языков, позволяющих извлекать значение языковых терминов чисто механическим методом. Торжество автоматов в парадигме знания не является достоянием нынешнего века. Еще XVIII век показал изобретательность механиков, конструировавших тонкие часовые механизмы и даже шахматные автоматы. Интересная трактовка этого феномена прослежена в постмодернистском духе в романе «Дневник Ламприера» Л. Норфолка¹⁶.

Не следует думать, что идея автоматизированного мышления позволит легче понять структуру человеческого мышления. То, как «мыслит» компьютер, не имеет практически никакого отношения к тому, как на самом деле мыслит человек. Доказанные с помощью компьютера теоремы зачастую включают такую комбинаторную сложность, которая непостижима для человека.

Математические тексты могут рассматриваться двояко. С одной стороны, это некоторая цепь логических заключений, которые делают доступным мысль математика любому другому компетентному читателю. С другой стороны, воздействие текста состоит в запуске ментального процесса, который приводит в благоприятных случаях

¹⁵ *Рейхенбах Г.* Философия пространства и времени. – М., 1985.

¹⁶ *Норфолк Л.* Словарь Ламприера. – М., 1991.

к озарению, или эффекту «ага!»). Первый способ прочтения ближе к механическому подходу, к автоматизации мышления, тогда как второй – к творческому порыву и вдохновению. Естественно, такое разделение восприятия математического текста является отчасти искусственным, поскольку на практике присутствует и тот и другой, требуя «герменевтических» усилий математика. Более того, в значительной степени это зависит также от принятого способа преподнесения материала пишущим. По этому поводу есть язвительное замечание, что математические статьи производят такое впечатление, что авторы их приложили все усилия к тому, чтобы читатель не догадался, что они написаны человеком.

Но помимо стиля написания и восприятия математического материала существует более глубокое разделение в понимании сути математики как таковой. Если математика рассматривается как продукт человеческого духа, как часть культуры, тогда ей присущи многие дихотомии, бытующие при такого рода глобальных рассмотрениях. Родившийся в XVIII веке Романтизм в европейской культуре занимает особое место. Культ романтического героя, вдохновленный Дж.Г. Байроном, и его философская ипостась в сочинениях Ж.-Ж. Руссо, явились исходным толчком к окончательному оформлению этого движения в немецкой культуре XIX века, многое из которого было заимствовано Фридрихом Ницше. В более широком контексте весьма интересная характеристика Романтизма дана Б. Расселом:

«Причины того, что это мировоззрение обладает притягательной силой, лежат очень глубоко в природе человека и условиях его существования. Из чувства самосохранения человек стал стадным существом, но инстинктивно он остается в очень большой степени одиночкой; следовательно, необходимы религия и мораль, чтобы подкрепить этот инстинкт. Но привычка воздерживаться от удовольствий в настоящем ради преимуществ в будущем утомительна, и когда возбуждаются страсти, трудно держать себя в благоразумных рамках общественного поведения. Те, кто в такие минуты отбрасывает их, приобретают новую энергию и ощущение силы от прекращения внутреннего конфликта, и хотя в конце концов они могут попасть в беду, они наслаждаются чувством божественной экзальтации, которое хотя известно великим мистикам, никогда не может быть испытано теми, чье поведение не выходит за рамки прозаической добродетели. Индивидуалистическая сторона их природы утверждает себя, но, если сохраняется интеллект, это утверждение должно облекать

себя в миф. Мистик пребывает наедине с Богом и, созерцая бесконечное, чувствует себя свободным от обязанностей по отношению к своему ближнему»¹⁷.

Романтики полагали постижение даже обыденных истин творческим актом, реализация которого проявляет индивидуальность человека. Стремление к логике считалось ими проявлением бездушного автоматизма, который препятствует раскрытию подлинно свободной души. Логика есть омертвление текста, за которым может стоять поначалу невидимое, раскрываемое только усилиями искусного интерпретатора содержание. В этом смысле логика ассоциируется с механическим процессом, в то время как поиск возможных интерпретаций с творчеством и артистизмом. Логика принадлежит обыденности, в то время как воображение и интуиция – к полету мысли, освобождения от оков этой обыденности.

Этот разлом между логикой и романтическим воображением глубоко проник в структуру математического творчества. Он является отражением еще более глубинного разлома в человеческой психике, одна сторона которой стремится к рационализму, а другая – к мистике и поиску тайн человеческого бытия. Рационализм Декарта с существенной степенью связан с его *Cogito*, которое суть мышление, рефлексия. Критики рационализма указывали на то обстоятельство, что существование может быть связано с совсем другими процессами, которые не менее существенны для человеческого существа. Самопознание души отнюдь не исчерпывается лицезрением в «картезианском театре», на сцене которого человек распознает свои чувства и мысли. С точки зрения романтиков в процессе поисков внутреннего Я на самом деле остается много непознанного, и само по себе рациональное является лишь явлением, а не действительностью Я. В данном контексте почтенное философское противопоставление явления и действительности объясняется романтиками ограничениями, опутывающими разум. Мышление может проявляться только в языке, быть выразимым, зависеть от материальных условий существования «тела». Между тем, именно невыразимое является сущностью романтизма в той же степени, в какой оно является опорой мистицизма. Постижение значения символов является частью разлома, о котором говорилось выше. Четкое и недвусмысленное значение терминов, которое присуще идеальному языку, не привлекает мистиков; им по-

¹⁷ *Рассел Б.* История западной философии. – Новосибирск, 2003. – С. 801–802.

требен восторг и даже эйфория в попытках уловить тайный смысл сообщений, заложенных в текстах. В качестве иллюстрации такого положения дел можно привести историю с розенкрейцеровскими диаграммами и таинственными надписями к ним, которые поразили Европу XVII века¹⁸.

Принижение роли разума сопровождается возрастанием роли интуиции, концепцией жизненной силы, приматом живого опыта над размышлением. Нерасчленённый поток жизни, апелляция к бессознательному, иррационализм во всех его проявлениях, сопровождает романтизм, который олицетворяет собой «восстание против разума». Это восстание представляет интерес в данном исследовании в двух аспектах. Во-первых, это аргументированная защита романтизма в философском плане, крайне успешное обращение скорее к риторике, чем к аргументации. Фридрих Ницше и Анри Бергсон представляют две крайности этого движения. Во-вторых, удивительные аналогии математической культуры на грани XIX и XX вв. с этими идеями, несмотря на кажущуюся полную противоположность точных символических систем математики и образных метафор упомянутых выше философов.

На определенном этапе сопоставления этих двух феноменов европейской культуры – рационализма и иррационализма, или же логики и мистицизма, выигрывает образное мышление. Логик всегда ограничен в своих средствах, апеллируя к аргументации и твердым фактам, в то время как цветистые образы и завлекающие метафоры более привлекательны. Сухой разбор нелепиц иррационализма вряд ли кого интересует, в то время как насмешки над сухой наукой и ее чудаковатыми представителями становятся нормой у публики. Романтизм гораздо более свободен в выборе метафор и литературных приемов, которые производят сильнейшее впечатление на культурные и образованные слои населения Европы. Знаменитый французский философ, лауреат Нобелевской премии по литературе Анри Бергсон захватывает воображение своих читателей концепцией «творческой эволюции», которая торжествует в умах французских генералов – лозунг «Элан виталь» (Жизненный порыв) – олицетворение стратегии французской армии в предстоящей Первой мировой войне. Бернард Шоу на определенное время воодушевлен идеей твор-

¹⁸ Холл М. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. – М.: Астрель, 2004.

ческой эволюции, посвятив по крайней мере, две пьесы этой теме – «Человек и сверхчеловек» и «Назад к Мафусаилу». Противостояние рационализма и иррационализма не является лобовым, и иногда принимает, как подобает в подлинной истории, иронические формы. Например, многое из философии Бергсона находит скоро место в органицизме – философском учении об эволюции – бывшего соавтора Рассела по фундаментальному труду «Принципы математики» А.Н. Уайтхеда. Его книга «Процесс и реальность», крайне непонятная и трудная, является данью логика неясным истинам Бергсона.

Формализм Гильберта и постмодернистская концепция языка

Формализм Гильберта является одним из источников аналитической философии, и памятуя хорошо известное противостояние континентальной и аналитической философии, трудно представить, в какой степени философия математики Гильберта может быть связана с идеями континентальных философов. Сама постановка вопроса, правда, не так уж абсурдна, потому что Гильберт в существенной степени для обоснования своей позиции использовал философию Канта. Аналитическая философия возникла как реакция на философию Канта, по крайней мере, философия математики Фреге и Рассела была антикантовской. Но если Гильберт апеллировал к Канту, то получающаяся в результате парадоксальная ситуация говорит о возможности некоторого рода диалектической интерпретации философии математики Гильберта в континентальном духе.

Некоторые исследователи, например В. Ташич¹⁹, полагают, что такого рода интерпретацию можно найти у французского философа науки Жана Кавайе (Cavailles)²⁰. Этот философ был не типичен для французской философии, поскольку был настроен против интуитионизма и экзистенциализма, которые были доминирующими течениями. Его внимание было обращено на методологию науки. Сходство между Гильбертом и Кавайе состоит в том, что метаматематика занимала у обоих центральное место в их философских программах.

¹⁹ *Tasic V. Mathematics and the Roots of Postmodern Thought.* – Oxford Univ. Press, 2001.

²⁰ *Cavailles J. Complete works of philosophy of sciences.* – Paris: Hermann, 1994.

Правда, точной постановке вопроса Гильбертом о замене расплывчатого понятия истины доказательством у Кавайе принимает вид тезиса, что истина состоит в самом метаматематическом методе.

Однако философский фон позиций Гильберта и Кавайе различался значительно. Если первый ориентировался на Канта, то второй – на Гегеля. Для философа первой половины XX в. ориентация на Гегеля выглядит несколько странно, но такая ориентация находится часто у философов и более позднего периода, скорее в латентном виде, например у И. Лакатоса. Таким образом, для понимания соотношения философии Гильберта и Кавайе требуется понять, каким образом соотносятся Гегель и Кант, хотя бы в самых общих чертах.

Для Гегеля наиболее значительным понятием является развитие, история мирового духа. Далее, дуализм трансцендентального и эмпирического Канта был заменен диалектическим синтезом. Если считать трансформацию философии Канта в философию Гегеля в рамках классической немецкой философии некоей операцией над категориями, то можно считать, что нечто аналогичное было сделано Кавайе с философией математики Гильберта. В определенном смысле Кавайе стремится к холистической картине науки, в рамках которой в целом мы воспринимаем идею математической или логической истины. Для Гильберта одним из основных понятий является доказательство посредством апелляции к пониманию математики, которое является прерогативой субъекта. Для Кавайе понимание индивидом тех же математических истин не является результатом когнитивного акта постижения индивидом. Истинность утверждения обретается в результате «концептуального становления», которое является безличным, или же деперсонифицированным, в стиле гегелевского процесса развертывания Духа. Это первая из упомянутых операций над категориями. Другая операция состоит в отказе от кумулятивной концепции развития науки, и введение исторических измерений в само понятие истины как метода проб и ошибок. В этом отношении Кавайе наиболее близок опять-таки Лакатос, показавшему в «Доказательствах и опровержениях» возможность историчистской интерпретации поиска истин в математике²¹.

Но если историчистская иллюстрация Лакатоса была только иллюстрацией, хотя и очень остроумной, то более последовательным в историчизме был, конечно, Мишель Фуко. Последний является яр-

²¹ Лакатос И. Доказательства и опровержения. – М., 1964.

ким представителем континентальной философии, но как показали некоторые исследователи, существует значимая историческая преемственность между Кавайе и Фуко. В частности, Ташич упоминает, что промежуточным звеном между ними был французский историк Жорж Кегилем (Canguilhem), учитель Фуко и поклонник Кавайе, лично знавший его и написавший о нем книгу. Но поскольку Кавайе был тем самым философом, который осуществлял операции над философией Гильберта, следует предположить, что философия Фуко что-то унаследовала от философии Гильберта. Фуко является одним из главных представителей постмодернизма, и стало быть, этот вопрос переформулируется следующим образом: какого соотношения формализма и постмодернизма, и могут ли они вообще сопоставляться?

Мост между ними выстраивается через понятие «идеального элемента» Гильберта²². Финитизм предполагает, что «реальными элементами» являются концепции, имеющие дело с элементарными когнитивными операциями, то есть, с конечными операциями. К идеальным элементам относятся те концепции, которые являются артефактами системы. Идея Гильберта состояла в том, что значение и референт имеют реальные элементы, в то время как идеальные элементы являются бессмысленными вне контекста системы. Тем не менее, идеальные элементы нужны для функционирования знаковой системы.

Идеальные объекты Гильберта устранимы в пользу «реальных», понимание которых тесно связано с пониманием концепции знака как квазиконкретного объекта²³. Однако классическое разделение Гильберта на реальные и идеальные объекты можно понимать и по-другому. Такое понимание будет расходиться с намерениями самого Гильберта, но это будет как раз той самой «гегелизацией» Гильберта, о которой говорилось выше. Идеальными объектами можно считать математические объекты, которые не отвечают интуиции на определенном этапе развития. Впоследствии они становятся реальными в том смысле, что математическое сообщество привыкает к ним, и они обретают тот же статус, что и реальные объекты. Таким образом, это превращение становится скорее вопросом социологии, нежели методологии. Типичным примером такого превращения является корень из минус единицы, этимология названия которого «мнимое»

²² Гильберт Д. Основания геометрии. – М., 1948.

²³ Parsons Ch. Mathematical Thoughts and Its Objects. – Cambridge Univ. Press, 2008.

число говорит о его первоначальном идеальном статусе, в самостоятельный математический объект который с полным правом можно назвать сейчас реальным объектом. Больше того, комплексные числа являются в этом смысле даже более реальными, чем некоторые другие математические объекты, поскольку математический аппарат квантовой механики основан именно на использовании комплексных чисел²⁴. Имея в виду, что квантовая механика является самым фундаментальным описанием природы, реальность комплексных чисел приобретает даже расширительное значение.

Получается, что дихотомия «идеальное – реальное» является вопросом, решение которого зависит от дихотомии «индивидуальное – общественное», понимая под общественным математическое сообщество. Если для отдельного математика математический объект представляется идеальным, то для сообщества он представляется вполне реальным в том смысле, что такое понимание становится безличным. Часто это обстоятельство выражается термином «идеальный математик», под которым понимается ничем не ограниченная возможность математической компетенции, превышающей физические возможности реального математика. На этом этапе «гегелизации» Гильберта принимается спорная точка зрения, согласно которой его идеология сходна с позицией «идеального математика» в том отношении, что он в своем знаменитом эпистемологическом оптимизме «Мы будем знать, мы должны знать» опирается на понимание объектов математического исследования именно математическим сообществом, а не отдельным индивидом. Эта точка зрения действительно является спорной, поскольку здесь используется несколько смыслов термина «идеальный объект». Именно такое смешение дает повод отнести финитизм Гильберта скорее к гегелевской философии, нежели к кантианской.

Идеальный объект обретает статус реального в результате ассимиляции его сообществом и потому становится безличным. Его появление не есть результат озарения индивида, а есть социальный акт принятия сообществом. Именно в этом смысле он не имеет «автора». Создание математических объектов принадлежит не отдельным личностям, а самой науке в целом, ее методу, который реализуется исторически через развертывание множества практик. Математические идеализации есть необходимый продукт математического метода.

²⁴ Пенроуз Р. Новый ум короля. – М., 2000.

В таком нестандартном понимании формализма Гильберта рождается постмодернистская апелляция к формализму.

Такой поворот в интерпретациях математики и метаматематики типичен для постмодернизма и его предшественников. Очень часто формальные результаты толкуются весьма произвольно. Типичный случай – понятие истины. Интерпретация теоремы Тарского о том, что развитая формальная систем не может сформулировать понятие собственной истинности, используется для провозглашения более общего тезиса, согласно которому язык требует своего расширения для включения в него собственной недостаточности. Это обобщение неверно по нескольким основаниям. Во-первых, речь идет не о языке вообще, а об иерархии языков, частью которых является метаязык. Во-вторых, есть многие формальные системы, в которых теорема Тарского не является справедливой, например, дружественно-независимая логика Хинтикки²⁵. Наконец, в постмодернистских интерпретациях не делается различия между языком формализованным и языком естественным, что весьма важно в подобных интерпретациях.

Здесь полностью смещается собственно тематика, связанная с априорным статусом математических истин, от чисто эпистемологического аспекта к историцистскому аспекту. Упор на то, что знание индивида не тождественно знанию сообщества, приобретает гегельянский оттенок развертывания духа, теперь уже в одеяниях «концептуального становления». Историцизм Гегеля становится главной составляющей в понимании процесса формирования математического познания. Развитие математики в историческом ракурсе делает вопрос о статусе математических утверждений более широким, чем постановка вопроса о том, как априорные истины математики постигаются как таковые индивидом.

Апелляция к бесконечному развертыванию математики во времени, тем не менее, не позволяет делать заключения о том, что математика, несмотря на непрерывное изменение, не имеет некой сердцевины, статус которой не зависит от временного параметра. Другими словами, вопрос о том, является ли математика априорной, не закрывается соображениями о развитии математики. Историцистская критика концепции математики как системы априорных истин опирается либо на неверную интерпретацию формальных ре-

²⁵ *Hintikka J. The Principles of Mathematics Revisited.* – Oxford Univ. Press, 2004.

зультатов, либо на желание сменить методологию науки на гегелевскую философию развития.

Таков извилистый путь, предложенный постмодернистами – от разделения Гильбертом идеальных и реальных элементов в математике к тезису, что обоснование математических истин не является прерогативой отдельных людей. Статус математических истин заключается в самом математическом методе в его историческом развитии, и не определяется вневременными критериями. Но тогда категория «истина» оказывается относительной, и выходит за пределы индивидуального понимания. Кавайе, несмотря на значительные отклонения от логического эмпиризма в отношении понятия истины и знания, тем не менее, остается в рамках того, что называется «сайентизмом», ориентируясь на научные теории. Как и в других проявлениях постмодернистской философии, от этого вполне приемлемого базиса совершается «прыжок» в сторону уже не очень, если не сказать больше, обоснованных обобщений. Такой прыжок в частности совершил Мишель Фуко в своей «Археологии знания», в которой была провозглашено верховенство научной практики над узким пониманием того, что представляет собой научная истина²⁶. Здесь им используется признаваемый всеми факт, когда результаты некоторого этапа в познании признаются истинными только постфактум, в контексте более позднего знания. Зачастую некоторые находки ученых не входят в систему как истинные утверждения, и служат они чисто прагматическим целям. Таких примеров множество. Например, из истории становления квантовой механики известно, что формула Бальмера для спектра водорода была просто формулой описания опытов, без всякого объяснения, и только в модели атома Бора она нашла объяснение. Даже психологически отказ признать ее релевантность к объяснительной модели атома засвидетельствован в истории²⁷. В математике такие прагматические обстоятельства также играют существенную роль. Так, дельта-функция Дирака не могла рассматриваться как обоснованная в системе математического знания до «реабилитации» ее в теории обобщенных функций²⁸. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда некоторый фрагмент того, что позднее

²⁶ Фуко М. Археология знания. – СПб., 2004.

²⁷ Barrow J., Tipler F. Anthropic Cosmological Principle. – Oxford Univ. Press, 1988.

²⁸ Coşyvan M. The Indispensability of Mathematics. – Oxford Univ. Press, 2001. –

признается знанием, не обладает таким статусом в момент своего возникновения. В определенном смысле это парадокс, особенно в случае кумулятивного знания, такого как математика. Этот парадокс разрешается М. Фуко понятием практики, или более широко, научного дискурса. С точки зрения Фуко, наука отнюдь не сводится к собственно научным текстам, не меньшую роль играют финансовые обстоятельства, социологические оценки научных направлений как перспективных или бесперспективных, сплетни жен профессоров и т.д.²⁹ . Такого рода практики находятся в рамках языковой практики, которая и включает упомянутые выше «посторонние» факторы. Здесь мы сталкиваемся с очередным парадоксом. С одной стороны, имеется язык математики, а с другой – более широкое понятие математического дискурса. Возникает вопрос, чем лучше второй язык первого? Если будут найдены аргументы в пользу утвердительного ответа на этот вопрос, тогда постмодернистские концепции имеют серьезное основание.

Важным свойством практик, или дискурсов, является непрерывная их смена. В значительной степени это представление перекликается с понятием парадигм Т. Куна. Р. Рорти отмечает три концепции, которые близки друг другу – эпистемы Фуко, словари (Рорти) и парадигмы Куна³⁰ . Какие либо закономерности в смене эпистем обнаружить трудно, и в этом смысле такие смены могут считаться совершенно случайными. Но в этом случае история науки, или же отдельной дисциплины теряет и без того трудно устанавливаемый порядок. Единственный выход состоит в том, чтобы отказаться от концепции случайных изменений, и обнаружить некоторый порядок. Так, его можно найти в консервативности людей, системах образования, политических обстоятельствах и пр. Но анализ таких факторов является в высшей степени затрудненным, и вряд ли можно уложить его в строгие научные рамки. Скорее, такие рассуждения апеллируют к нестрогим методам вроде диалектических структур, или предвзятых точек зрения относительно человеческой природы. Что касается Фуко, то он ищет более строгие обоснования своей позиции. Конечно же, искомый порядок зиждется в самой природе эпистемы, которая является той средой, в которую погружена научная практика. Она не может быть сведена к языку, но она находит в нем свое выражение.

²⁹ *Hacking I.* Michel Foucault's Immature Science // *Nous*. – 1979. – V. 13.

³⁰ *Рорти Р.* Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997.

Именно в этом заключается «логоцентризм» постмодернизма – прибегая к знаменитому клише М. Хайдеггера, можно сказать, что язык науки есть дом научного Бытия.

Именно на этом этапе возникает новое направление в понимании научных практик. Язык науки в широком смысле представляет собой дискретную формальную структуру. Если все человеческое поведение так или иначе выражается в языке, тогда вполне возможно изучение человеческого знания с самой строгой точки зрения, с математической точностью. Но дело не только в собственно научном знании, поскольку язык непрерывно создает собственные артефакты, которые претендуют на реальное существование. Анализ языка позволяет обнажить характер этих фикций, которые пронизывают все знание, и такое понимание роли языка приводит к ныне знаменитой концепции «социального конструирования». Необходимый для этого формализм заимствуется, хотя и неявно, из формализма Гильберта, с его упором на роль знаков – «В начале был знак!»

Подобная автономия языка, или же практик, не позволяет проследить вклад отдельных людей в дискурс, и все истории с приписываемым авторством, являются такими же фиктивными нарративами. Однако противопоставить что-либо упорядочивающей роли такого нарратива в рациональной манере невозможно, и поэтому «смерть автора» сталкивается со следующим затруднением. Если без автора вся история науки представляет собой этакий «первичный бульон», то для самой идеи такого беспорядка нужно представлять наличие всех возможных текстов, и беспорядок будет обнаружен уже в результате некоторых посторонних соображений, скажем, идеологического или социального порядка.

Беспорядок, о котором идет речь, заключается в самой природе несоизмеримых эпистем. Эти эпистемы сменяют друг друга, представляя «дискретную последовательность исторических конфигураций», последовательность, в которой не усматривается никакой непрерывности. Их можно уподобить археологическим слоям, откуда и берется название труда Фуко. Внимание к упорядоченным знаковым системам со стороны Фуко проявляется в том, что он различает «зрелые» и «незрелые» науки³¹. К первым относятся физика и все, что может быть связано с математикой как представлением соответствующего знания. Ко вторым относятся дескриптивные науки типа

³¹ Фуко М. Порядок вещей. – М., 1976.

географии, биологии (в ее традиционном виде), и гуманитарные науки. Сама классификация говорит о предпочтениях Фуко, его стремлении к более строгому языку, в пределе – формализму как игре в символы.

Проблема состоит в том, есть ли что либо за знаками, нечто такое, что наделено смыслом, который выходит за пределы языка. Как известно, постмодернизм неоднороден, и одно из значительных расхождений между М. Фуко и М. Хайдеггером состоит в то, что Фуко отрицал это изначально интуитивно данное. Для него язык не является домом Бытия. В определенном смысле он, вслед за Витгенштейном, мог бы считать язык тюрьмой, выход из которой невозможен. Но, как и для Витгенштейна, для него это ложная тюрьма, поскольку лишение знаков значения есть обретение свободы³². Признание фонового изначально мышления, предшествующего языку как системе символов, означает признание непрерывности в мышлении, преемственности значений и смыслов, в то время как язык как знаковая система подразумевает дискретность, интуитивное восприятие отдельных знаков. Далее, такая дискретность подразумевает дихотомии логических категорий, сетку категорий, которые подавляют чистую интуицию непрерывности мышления. Отсюда недалеко до критики постмодернистами рационализма как крайней формы такого омертвления изначально непрерывности, в пользу математически оформленного видения внешнего мира, или репрезентации при противопоставлении субъекта и объекта. Поиски Мишелем Фуко формальных структур языка являются следствием подражания формализму как философии математики, хоть и неверно понятого им. На самом деле формализм не утверждает того, что математика является игрой в бессмысленные символы. Недавние работы показывают, что формализм Гильберта преследовал цель демонстрации автономии математики, которая не выходя за свои собственные рамки готова показать свои наиболее характерные особенности знаковой системы³³. Гильберту не требовалось выходить за пределы языка в поисках некоторого трансцендентального значения, за исключением лишь интуитивного понимания элементарных структур мышления и интуиции знаков. Но и здесь эти структуры и интуиции были минимальными в том смысле,

³² *Pearce D. False Prison. – Cambridge Univ. Press, 1987.*

³³ *Tselishchev V. Mathematical Intuition and Hilbert's "Minimal Philosophy" // Proceedings of XIII World Philosophical Congress. – Athens, 2013.*

что от них лишь требовалось понимание математического размышления. В этом смысле Гильберт был сторонником «минимальной философии», то есть, он был против привлечения для обоснования математики метафизических вопросов о соотношении языка и мира. Так что следование гильбертовскому формализму должно влечь отказ от метафизики языка и отказ от утверждения его в качестве конституирующей и нормативной деятельности. Но именно это является одной из существенных сторон логоцентризма. Это означает, что при заимствовании постмодернистами математической методологии нужно тщательнее учитывать особенности тех практик, о которых так много говорится в их работах.

«Идеологическим» противником Гильберта был Л. Брауэр, основатель современной школы интуиционизма в философии математики. Его появление на европейской арене философской мысли было практически неизбежным. Мысль постмодернизма занимает проблемы отсутствия непрерывности и различия. Непрерывность устрашает тех, кто входит в новый век, традиционность считается одним из самых худших зол, унаследование старых парадигм внушает страх и отвращение. Австралийский философ Виктор Стоув довольно детально аргументировал, что вся философия Карла Поппера мотивирована боязнью викторианства³⁴. Однако характер отторжения старого является настолько сложным, что стремление выделить какой-то один процесс, какую-то одну характеристику, наталкивается на очевидные контрпримеры даже в вопросах, которые не требуют проникновения в тонкости математического мышления.

Л.Э. Брауэр был радикалом в самом решительном из смыслов этого слова, затеяв революцию в математике, или, как выразился Д. Гильберт, контрреволюцию. Он был блестящим математиком с сильными философскими интересами и эксцентричным образом жизни. Его интеллектуальная жизнь была посвящена четырем областям, связь между которыми характеризует эпоху переходных ценностей: это мистицизм, топология, интуиционизм и философия языка. Безусловно, эти области были увязаны у Брауэра в единый комплекс идей, – действительно, его философски-религиозные убеждения были напрямую связаны с интуиционизмом. Его мировоззрение было проникнуто мистическим видением единства мира. В осмыслении соци-

³⁴ *Stove V. Popper and After: Four Modern Irrationalists.* – N.Y., Pergamon Press, 1982.

альных проблем, как это часто бывает у мистиков, он не находил для себя приемлемой позиции практических политиков, равным образом дистанцируясь как от социализма, так и от буржуазных взглядов.

Математика является рациональным предприятием, и хотя многие прозрения в ней являются результатом мистических процессов созревания идей, ей свойственны стандарты, которые апеллируют к публичности. Ведь само понятие доказательства есть опровержение иногда вынужденного солипсизма математика, будучи обращением к общепризнанным стандартам математического мышления. Это обстоятельство некоторое время было препятствием для солипсизма по душевному настрою Брауэра, и у него были серьезные сомнения, становится ли ему математиком, поскольку математика представлялась ему искушением воли, отвлечением от истинного пути мистика. И хотя он стал математиком, все, что связано с современной цивилизацией – наука, язык, технология – рассматривались им как негативные силы. Все эти взгляды изложены им в книге «Жизнь, искусство и мистицизм».

Брауэр придерживался радикальных взглядов относительно роли языка, полагая его орудием социального доминирования, не способного к роли средства реальной коммуникации. Следует отметить, что для него язык ассоциировался в первую очередь с языком как средством рационального мышления, которое было сродни логике. Здесь его точка зрения была четкой, хотя и не легко понимаемой: он полагал, что математика предшествует всякой логике или даже языку. Эта позиция становится более понятной, если учесть, что к 1920 г. сложились три направления в основаниях математики. Первое из них – логицизм – полагал основанием математики именно логику. Формализм Гильберта, при всех его тонкостях, отводил математике и логике равные роли. И только интуиционизм Брауэра ставил математику вперед перед логикой или языком. Тем самым, для Брауэра аксиоматические системы или классическая логика не могли быть подлинными основаниями математики.

В философии его отличал непомерный пессимизм шпенглеровского толка, который резко контрастировал с оптимизмом Гильберта. В то время как Гильберт провозгласил свое гордое «Мы можем знать! Мы будем знать!», Брауэр полагал, что не все математические проблемы могут быть решены в принципе. Затеянная им реформа математики касалась, прежде всего, созданию «конструктивной теории множеств», которая означала полную ревизию классического анализа,

отказ от традиционных методов математического рассуждения, и призывала практически к возведению нового здания математики. Религиозный характер такого рода предложений не является полной метафорой, – в романе Т. Пинчона «Против дня» «битвам» математических школ отводится роль религиозных войн³⁵. Ярость, с которой Брауэр обрушился на классическую математику, говорит скорее о религиозной нетерпимости и одержимости, чем о теоретическом споре о природе математического мышления. Забегая вперед, удивительным обстоятельством является то, что столь непримиримые к рациональному обсуждению в рамках языка логики идеи, стали объектом формализации А. Гейтингом. Означает ли это, что религиозно-мистическая инспирация и тон Брауэра были излишними, или, по крайней мере, не являлись существенными для собственно интуиционизма?

Реакция Брауэра на современную математику, точнее, на ее «передовую» часть, теорию множеств, заключалась в довольно четком тезисе о неприятии конструкций Кантора. Брауэр принимает счетные бесконечные числа, но отказывается принять концепцию тотальности всех таких чисел. Как известно, возражения многих математиков того времени были вызваны произвольностью канторовского «скачка» ко «второму числовому классу». И наиболее радикальным неприятием такого рода была реакция Брауэра. Обычно такого рода вопросы связаны с парадоксами теории множеств, но у Брауэра была более жесткая установка в отношении неправильности самой классической математики, независимо от парадоксов.

Дело в том, что для «прыжка» ко второму числовому классу требуется убеждение в независимом существовании таких математических сущностей, убеждении в их объективности. Как известно, такая позиция получила с легкой руки П. Бернайса название «платонизма в математике». Это название быстро прижилось, потому что отвечало тем философским идеям, которые сопутствовали Кантору, да и не только ему, в объединении усилий математики и философии. Это только сейчас такая связь кажется скорее «блажью» некоторых математиков, а в то время философия была просто неотъемлемой частью новаций в математике. Именно философия Брауэра лежала в основании его критики теории позиции Кантора. В отличие от последнего, он полагал, что математика является ментальной конструкцией, и все

³⁵ *Pynchon T. Against the Day. – N.Y., 2007.*

разговоры о существовании независимой от человеческого ума математической реальности являются иллюзией.

То обстоятельство, что интуиционистский анализ оказался слишком запутанным и «посторонним» для классической математики, не остановило мистический порыв Брауэра, настроение которого в этом отношении выражено им в афоризме «сферы истины менее прозрачны, чем сферы иллюзии». Личность самого Брауэра полностью соответствовала его «романтическому» образу героя-одиночки, бунтаря, штурмующего небо и павшего ангела. Он был бескомпромиссным человеком, нервной личностью, с антидемократическими наклонностями, презиравшим интеллект как проявление рациональности. В интеллектуальном отношении он был продуктом немецкого мистического мышления, видными представителями которого были Мастер Экхарт Яков Беме, и конечно же, вслед за Шопенгауэром, важным источником его взглядов была Бхагава Гита. В своем творчестве он ощущал присутствие высших сил, которые он ассоциировал с Богом, посвятив себя выполнению тех задач, которые на него возложил Бог.

Но не следует представлять Брауэра угрюмым религиозным фанатиком, этаким затворником, чуждавшимся мирских удовольствий. Известно, что несмотря на спартанский образ жизни, он находил удовольствие в общении с художниками, вегетарианцами, и другими необычными людьми, и несмотря на теоретические взгляды о тлетворном влиянии женщин на карму души, был известен сексуальной свободой. И при всем этом он полагал, что главная цель жизни состоит в отрицании всего в целях достижения высшего совершенства, а именно, достижения «ничто».

Противоречивость Брауэра проявилась в конфликте его философии обретения этого «ничто» и земных искушений. Несмотря на свой философский квиетизм, Брауэр стал участником многих ссор и конфликтов, которые сопровождали всю его жизнь. Посмотрите на его портреты. Там изображен человек, готовый к столкновениям, спорам, жесткий и бескомпромиссный! Иногда портреты дают неплохое представление о суги человека.

Что Брауэр внес в философию математики, что могло роднить его представления с постмодернистскими взглядами? Прежде всего, это понимание концепции континуума, которое занимает столь важное место не только в математике, но и во всей философии природы. Как известно, понятие континуума в немецкой философии,

начиная с Канта, трактуется как априорная интуиция. Известно также, что такой взгляд был тесно связан с убеждением Канта в единственности геометрии, а именно, евклидовой геометрии. Эта геометрия получила статус описания реального пространства. Однако для Брауэра такой статус геометрии был связан с практическим ее применением. В этом смысле евклидова геометрия не была интуитивным постижением, а была результатом соглашений по поводу практического удобства.

У Канта трактовка пространства и времени осуществляется симметрично, и именно эта симметрия не устраивает Брауэра. Прежде всего, он полагает время первозданной интуицией, ни к чему не сводимой. Но научная трактовка времени как одного из измерений, наряду с тремя пространственными измерениями, искажает природу времени. Эта параллель пространства и времени является фундаментальной ошибкой, поскольку мы переносим конструирование пространства на конструирование в сознании времени. В пространстве мы имеем «точки», составляющие континуум, и аналогично, мы полагаем «моменты» времени как элементы временного континуума. Но время как внутреннее переживание фундаментально отлично от физического времени. Именно во внутреннем пространстве разворачивается творческое Я индивида.

Эти мысли относительно специфики понятия времени были довольно распространенными в то время. Чемпионом этого направления был, конечно, А. Бергсон. Его упор на инстинкт в противоположность интеллекту, полностью созвучен антиинтеллектуализму Брауэра. Не случайно, оба выбирают для своей иррационалистической философии именно понятие время. Это обусловлено тем, что геометрия ассоциировалась с пространством, а арифметика – со временем, через понятие счета. Для Бергсона время представляет непрерывный поток, и дабы отличить его от физического времени, он вводит термин «длительность» (*duration*). Отличие физического времени от подлинного потока состоит в том, что первое циклично, в то время как второе есть тот самый поток, в который «нельзя войти дважды». Цикличное время есть средство его измерения, а подлинный поток не поддается измерению. Именно в таком потоке существует подлинное Я, которое нельзя понять с помощью разума, языка или каких-либо измерений.

Наука и парадигмы социального знания: метафоры, нарративы и мифотворчество

В философской литературе традиционно противопоставляются точные науки и социальное знание. Это противопоставление имеет много вариантов. Например, анализ Дж. Муром так называемой «натуралистической ошибки»³⁶ претендует на то, чтобы показать несводимость этических концепций к естественнонаучным. Или же, неприятие Хайдеггером науки в своем видении сути человеческого бытия принимает радикальную форму, представляя еще одну грань иррационализма³⁷. В основе отвержения любой формы метафизики логическими позитивистами лежало свойственное методам науки представление о том, что любое утверждение должно быть либо верифицировано, либо фальсифицировано. В более общем плане, противостояние аналитической философии и континентальной философии, если не учитывать всякого рода оттенков, в конечном счете, обусловлено ориентацией первой на научное мировоззрение, и отставанием второй автономности социального знания. Показательно, что этот конфликт науки и социального знания выходит за пределы собственно философских дискуссий. Пожалуй, самое знаменитое обсуждение его можно найти у Ч. Сноу в его обсуждении «двух культур»³⁸. Технологическая культура противопоставляется культуре гуманитарной, и в этом противопоставлении Сноу видит огромную угрозу западной цивилизации. Хотя книга Сноу была написана в конце 1950-х годов, основной тезис ее до сих пор весьма актуален. В культуру гуманитарную входит не только «строго» социальное знание, но и беллетристика, искусство, кино, и все, что не может квалифицироваться как знание точное. Такое расширенное понимание социального знания уже давно обсуждается и в философии. Так, Р. Рорти говорит о трех типах философов: философ как ученый, философ как социальный реформатор, и философ как поэт³⁹. Социальное знание при данной классификации включает в себя выражение установок человека в от-

³⁶ Мур Дж. Принципы этики. – М., 1984.

³⁷ Хайдеггер М. Наука и осмысление // www.gumer.info/bogoslov_buks/philos/heidegg.php

³⁸ Сноу Ч. Две культуры и научная революция // Портреты и размышления. – М., 1985.

³⁹ Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997.

ношении мира и социума в самой свободной форме, не ограниченной никакими рамками рациональности или методологии. Столь свободное толкование социального знания может оказаться слишком произвольным, чтобы оно могло быть предметом философского обсуждения. Однако на это можно возразить, что во многих случаях мы не можем отделить «поэзию» в широком понимании этого слова от собственно строгой философии. Если взять, например, Ф. Рабле и И.В. Гете или Л. Толстого, то вряд ли их творчество можно отнести строго по «литературной линии». Если иметь в виду саму философию, то известно, что многие философские идеи стали известны не столько в силу аргументации, сколько за счет прекрасной художественной формы. Пример Ф. Ницше можно усилить Ж.-П. Сартром с его «Тошнотой» и «Мухами», А. Камю с его «Чумой» и «Посторонним». Другими словами, социальное знание как таковое должно толковаться в расширительном смысле всей гуманитарной культуры.

При этом мы являемся свидетелями рождения новой парадигмы социального знания, в рамках которой это расширительное толкование становится определяющим в спецификации природы этого знания. Беллетристика становится полноправной составной частью социального знания в том смысле, что мы полностью осознаем ее влияние на формирование важных аспектов понимания человеком своего места в мире. Даже если мы не придерживаемся сильного тезиса Ж. Деррида, согласно которому философия есть беллетристика, влияние «письма» на философию весьма ощутимо.

В данном случае мы делаем упор на признание методологических принципов включения художественной литературы в социальное знание. Вообще-то, влияние ее на формирование, скажем, этических парадигм, известно давно. Например, как указывает А. Макинтайр, Джейн Остин в своих романах оказала огромное влияние на формирование концепции добродетели⁴⁰. Но признавая важность беллетристики, мы должны выделить какие-то аспекты, позволяющие ей полноправно считаться социальным знанием. Больше того, эти принципы не должны обособлять социальное знание от научного еще в большей степени, чем это имеет место в настоящее время. Цель данного раздела состоит в том, чтобы указать на такого рода аспекты, которые могли бы служить сближению гуманитарного и социального знания.

⁴⁰ *Макинтайр А.* После добродетели. – М., 2000.

Сближение возможно, прежде всего, на пути получении такого представления научного знания, которое бы имело много общего с социальным знанием. Известно, что само научное знание тесно связано с такими лингвистическими приемами как метафора. Значительная часть научной «мудрости» передается с помощью метафорических приемов, роль которых столь же привычна, сколь и загадочна. Отметим, что имеется множество теорий о природе метафоры, которые мы даже не будем упоминать здесь, поскольку соответствующие споры по поводу нее не мешают интенсивному использованию самих метафор. Ясно, что метафоры, помимо множества функций, выполняют еще и роль моста между научным и обыденным дискурсом, позволяя рассматривать фрагменты научного знания в качестве знания социального. Здесь мы хотим усилить этот тезис, утверждая, что важным феноменом в развитии знания является метафоры научного знания в беллетристике. Для демонстрации этого тезиса нам нужно убедиться в том, что беллетристика представляет во многих случаях именно то, что называется социальным знанием, а также дать убедительные примеры применения метафор для представления научного знания в беллетристике.

Кроме метафоры важное место в конструировании социального знания имеют концепции нарратива. Согласно общепринятому определению, нарратив есть исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с определенной позиции фиксирующая процессуальность самоосуществления как способ бытия повествовательного текста, идея субъективной привнесенности смысла через задание финала. Такого рода история может быть произвольной, вымышленной, соответствующей в определенной мере фактам, полностью документальной, но в сопоставлении с любой описываемой «реальностью» нарратив имеет важное отличие. Реальность, какой бы она ни была, разворачивается «линейно», она не знает своего будущего и последствий того, что свершается в ней. Отсюда мы имеем незавершенность определенного рода, которая отсутствует в нарративе. В нем имеется начало, середина и конец, что означает введение в нарратив аксиологических составляющих.

Наука может рассматриваться как процесс, как некоторого рода специфическая деятельность, вроде той, которую описал Б. Латур⁴¹.

⁴¹ Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. – 2002. – № 5–6 (35). – С. 211–242.

Идеи Латура вполне совместимы с нарративным видением той же науки, поскольку наука, с его точки зрения, это борьба за конструирование и создание реальности. Здесь не стоит входить в детали относительно самой идеи социального конструирования, следует лишь отметить, что по сути нарратив о науке и есть определенного рода социальное конструирование. Одним из неизбежных побочных продуктов такого рода конструирования является мифология, теперь уже современная, но с прежними функциями «создания стереотипизированных культурных образцов, клише и лозунгов о социальной реальности и научном знании, которые структурно оформляют интересующий опыт повседневной жизни»⁴².

Все три упоминавшиеся концепции – метафора, нарратив и миф – играют важнейшую роль в сближении науки с социальным знанием, поскольку оба вида знания – научное и социальное – интенсивно используют эти концепции. Наиболее естественным видом дискурса с использованием этих приемов является беллетристика, и данная статья представляет case-study некоторых литературных образцов, выбор которых сделан в соответствии со свойственными этому методу избирательностью и направленностью.

Сплав трех этих концепций приводит к новому пониманию природы науки и мира ученых, что и является, по сути своей, содержанием социального знания. Рассмотрим, например, очень важный вопрос об ответственности ученого перед обществом. Драматическим эпизодом в истории науки является участие Вернера Гейзенберга в атомном проекте в нацистской Германии. Один из эпизодов его деятельности той поры до сих пор вызывает жгучий интерес историков и писателей. В 1941 г. он посетил в оккупированном Копенгагене своего учителя Н. Бора. Между ними состоялся разговор, который сейчас интерпретируется и как попытка получить от Бора какую-то информацию об атомных работах у союзников, и как попытка предупредить Бора о ведущихся работах в Германии, или же как попытка вовлечь в этот проект Бора. Хотя документалисты по большей части обходили до поры до времени этот вопрос стороной в силу отсутствия каких-либо свидетельств о деталях разговора, с точки зрения этики он представляет огромный интерес: какие мотивы могут подтолкнуть мыслителей высочайшего уровня обслу-

⁴² Воеводина Л.Н. Мифотворчество как феномен современной культуры // www.dissercat.com/content/mifotvorchestvo...

живать тоталитарный режим? Единственный выход из ситуации вынужденного молчания состоит в воссоздании нарратива по поводу этого печального эпизода. Такой нарратив нашел воплощение в известной пьесе Майкла Фрейна «Копенгаген»⁴³. Пьеса спровоцировала значительное число публикаций по поводу целей визита и содержания разговора, но ее роль гораздо больше. Характеры в пьесе – это призраки умерших великих ученых, которые обсуждают ситуацию в стиле, не присущем реалистическому изложению. Пьеса воплощает в себе основные принципы сплава метафоры, нарратива и мифотворчества, принципы, которые Август Стринберг сформулировал так: «все возможно и все вероятно. Время и пространство не существуют. Работая с реальными событиями как фоном, воображение вытягивает нить мысли и тклет из нее новые структуры». Мир существует «внутри голов» представляемых в пьесе лиц. Это субъективный мир, выхватывающий события и манипулирующий ими, разрывающий ткань истории, сопоставляющий их. Характеры в пьесе отягощены виной в отношении атомной бомбы, они заперты в этом вымышленном мире, обреченные вечно размышлять над тем, как бы мог измениться мир. Мы можем понять этические проблемы, которые волнуют протагонистов пьесы, с точки зрения нарратива, представленного М. Фрейном, гораздо лучше, чем документальные туманные свидетельства, заимствованные даже у реальных участников драмы.

Нарративу свойственна определенная автономия, поскольку несмотря на содержащиеся в нем исторические факты, повествование направлено на реализацию определенной цели. Для социального познания, которое в данном случае выступает в роли истории науки, это обстоятельство является благом, памятуя постоянно ведущиеся споры вокруг интерпретации исторических фактов. Знаменитый язвительный афоризм говорит, что история как наука никогда не может предсказать прошлого. Значительное число неявных предпосылок при таких интерпретациях так и остается неявными, в то время как нарратив делает эти предпосылки явными изначально. В этом смысле, социальное познание становится более определенным, будучи встроением в определенную логику вопросов и ответов. Действительно, разрабатываемая Я, Хинтиккой и его учениками логика вопросов и ответов реализует аристотелевскую идею, что всякий вопрос со-

⁴³ *Frayn M. Copenhagen. – L., 1998.*

держит неявную предпосылку, которая включает в себя ответ⁴⁴. Конечно, нарратив Фрейна подавляет в определенной степени научную и политическую реалии описываемого события, поскольку текст подобного рода есть проникновение воображения в человеческий опыт, которое является важным для представляемой истории и не требует исторической достоверности. В «Поэтике» Аристотель замечает, что поэзия ближе к истине, чем история⁴⁵. Это замечание созвучно представленным в пьесе Фрейна предпосылкам, что вымысел, основанный на выбранных эпизодах, настаивает на невозможности восстановить историческую истину в силу слишком многих возможностей.

Если рассматривать данный эпизод в истории науки с точки зрения пьесы, то здесь мы имеем яркий случай новой парадигмы социального, в данном случае, исторического знания, представленной нарративом. Говорящие призраки умерших ученых есть условность, принятая в беллетристике, условность, помещающая протагонистов в некую мифологическую среду. Мифологизм здесь двойного рода. Во-первых, вокруг протагонистов существует много околонуточных мифов; такая же мифология, распространяемая через учебники, научно-популярные книги, фильмы и пр. существует вокруг большого числа упоминаемых в пьесе ученых. Нарратив облекается в мифологическую форму, разрушая одни мифы и создавая другие. То, что это является проявлением новых парадигм социального знания, осознается особенно хорошо, если представить себе такого же рода еще, увы, не написанный мифологический нарратив о моральных проблемах, окружающих создание атомного оружия в СССР. К тому же в пьесе вводится блестящая метафора неопределенности, реализующаяся в сопоставлении неопределенности замысла Гейзенберга и его же знаменитого принципа неопределенности в физике.

Во-вторых, сам нарратив настолько нагружен моральными дилеммами, что не может рассматриваться в отрыве от более общего фона ответственности ученых перед обществом и человечеством. Герои пьесы, фигурируя в мифе, требуют более широкого мифологического фона, и как это часто бывает, такой фон создан другим писателем о тех же самых героях. Речь идет о книге Х. Вольпи «В поисках

⁴⁴ Hintikka Ja., Halonen I. Semantics and Pragmatics for Why-questions // Journal of Philosophy. – 1995. – V. XCII, No. 12. – P. 636–657.

⁴⁵ Аристотель. Поэтика // Соч. Т. 4. – М., 1983.

Клингзора», фабула которой заключается в поисках в послевоенной Европе тайного научного советника Гитлера. Среди подозреваемых находится и Гейзенберг. В книге описана встреча Н. Бора и В. Гейзенберга, полная недомолвок и скрытых смыслов. Для понимания огромной сложности моральных проблем, которые встают перед участниками встречи, автор вводит мифологический фон произведения В. фон Эшенбаха «Парсифаль», на основе которого Р. Вагнер создает свою знаменитую оперу «Парсифаль». Два антагониста – добродетельный Амфортас и злонамеренный Клингзор – воплощают равновесие добра и зла, которое должен нарушить Парсифаль. Клингзор в романе – это кличка тайного советника Гитлера, и его поиски американским лейтенантом, отправленным на эту миссию, созвучны странствиям Парсифаля. Мифологический фон позволяет оттенить моральную сторону конфликта добра и зла, Бора и Гейзенберга, хотя нет никакого прямого соответствия между ними и мифологическими героями.

Мифологический фон вполне естественен для описания научных поисков. Вот как описывается одна из попыток достичь немецкими учеными цепной реакции: «Так и есть, это Чаша Грааля, приз, которого Гейзенберг добивался столько лет, итог его жизненных исканий. Как же он не догадался раньше! Ну, конечно, этот огромный реактор, уран, тяжелая вода – божественный эликсир, который сделает его мудрее, сильнее, талантливее. Посреди Атомкеллера, атомной кельи-землянки, ему вот-вот будет вручена награда, предмет мечтаний с детских лет. Еще со времени его участия в молодежном движении в качестве Pfadfinder (следопыт) он жаждал овладеть этим символом, достичь этой цели, поставленной себе самим, истинным странствующим рыцарем. И Гейзенберг чувствует себя немного героем, чем-то сродни своему детскому кумиру, тому юноше, что одолел Клингзора и заслужил благословение Создателя»⁴⁶. Моральные дилеммы Гейзенберга преодолевает через отождествление с мифическими героями. Такое отождествление позволяет перенести моральные проблемы в область неопределенности, незавершенности. Парсифаль в определенной степени отвечает значению карты номер 1 Главной арканы – «Дурак», перед которым открыто множество путей. Действительно, Парсифаль – это «чистый простец, прозревший через сочувствие и раскаяние». До прозрения у Гейзенберга из романа еще, очевидно,

⁴⁶ *Вольти Х.* В поисках Клингзора. – М.: Транзиткнига, 2006.

долгий путь, и удобнее находиться в роли простеца. Такова, видимо, идея Х. Вольпи, воплощенная в нарративе с мифологическим фоном. Беллетристика такого рода дает нам не только повествование об этике в науке, но также и понимание, которое существенно затруднено в противном случае в силу многих причин, среди которых тайное нежелание обнажать темные стороны науки, противоречить сложившимся стереотипам и мифам, и желание следовать устойчивым парадигмам исторического исследования. Между тем, смена таких парадигм нарративом с мифологическим содержанием представляет собой перспективный путь подлинного социального знания. Конечно, новые парадигмы подрывают некоторые социальные институты, такие как наука, помещая деятельность ученых и их личности в контекст возможных миров, размывая кажущийся детерминизм классической академической жизни.

Накал моральных страстей ослабевает, когда наука облачается в метафорические одежды игры с Природой или Богом, потому что в игре есть только один закон – победить, даже и в согласии с правилами игры. Другими словами, в игре нет морали, есть только правила. Вот свидетельство еще одного персонажа романа Вольпи, а именно, не менее знаменитого ученого Э. Шредингера. «Наука есть игра, но игра не шуточная, ею играют хорошо заточенными ножиками... Если, к примеру, аккуратно разрезать картинку на тысячу кусочков и перемешать, то получится головоломка. Чтобы решить ее, надо снова сложить из кусочков картинку. В науке головоломку задает не кто иной, как Господь Бог. Он придумал и саму игру, и ее правила, которые к тому же ты никогда не узнаешь полностью. Тебе представляется угадать, определить на свой страх недостающую часть правил. Научный эксперимент – как острый клинок из закаленного металла. Либо ты с его помощью победишь духов тьмы и невежества, либо он тебя самого поразит и покроет позором. Результат зависит от того, насколько истинных правил игры, навечно установленных Господом, больше ложных, порожденных твоей неспособностью познать истину; и если данное соотношение превысит некий предел, головоломка будет решена. Похоже, в этом и состоит весь азарт игры: ты пытаешься прорвать воображаемую границу между собой и Господом, границу, которой, возможно, и не существует вовсе»⁴⁷.

⁴⁷ Там же. – С. 6.

Признанным «чемпионом по внедрению науки» в беллетристику считается Томас Пинчон. Именно он использует в своих романах научные понятия, конструируя сложные и в высшей степени интересные метафоры, позволяющие объединять научное знание с множеством других дискурсов. Его самый известный роман «Радуга тяготения» представляет собой, среди прочего, поразительный набор метафор в самых различных областях науки⁴⁸. Это бихевиоризм Павлова, ракетная техника, теорема Геделя, энтропия, вероятность, теория организации Макса Вебера, и пр., смешанных с метафорами литературного толка – прозрения Э.-М. Рильке в отношении Жизни и Смерти в его Дуинских Элегиях, киргизский эпос, история ранней немецкой кинематографии, комиксы и пр. Все эти метафоры разворачиваются на фоне величайшей исторической метафоры – Зоны, прообразом которой является территория Германии летом 1945 г. Поскольку комментарии к этому роману, представляющему компендиум метафорического творчества в отношении современной науки, стали настоящей индустрией критической литературы в странах, в данной работе мы остановимся на другом его, относительно недавнем, романе «Против дня» (который ждет перевода)⁴⁹.

История науки часто излагается в полном отрыве от других дискурсов. Особенно этим страдают переломные периоды, или же, периоды смены парадигм. Крупнейший сдвиг в научном мировоззрении произошел на рубеже XIX и XX веков, с рождением новой физики, с развитием новых технологий в области химии, электричества, воздухоплавания. Мир менялся стремительно, оставляя за собой веру в невиданные возможности науки в будущем. Этот оптимизм нашел свое выражение в творчестве Жюль Верна. На теневой стороне этой веры оставались мистические концепции спиритизма и теософии, Шамбалы и четвертого измерения. Описание полной связи научных феноменов и открытий с повседневностью попросту невозможно, но оно может быть восполнено метафорами и нарративами с мифологическим фоном. Именно описание возможных миров, каждый из которых часто слишком похож на мир реальный, позволяет через метафоры получить большее понимание, чем оно возможно при попытке получить «реальное» описание. Фактически, вокруг каждого научно-открытия складывается целый пласт мифологических и метафори-

⁴⁸ Пинчон Т. Радуга тяготения. – М., 2012.

⁴⁹ Pynchon Th. Against the Day. – N.Y., 2006.

ческих структур. Наиболее богатый спектр таких структур на пороге XX в. представил Пинчон, полностью меня бытующие представления об изоляции науки от повседневного дискурса. Последний приобретает мифологические особенности, позволяющие расширить социальное знание за счет использования концепции «возможных миров», или альтернативного развития событий.

Герои романа Пинчона конструируют социальную реальность сотканную из мифологических и метафорических интерпретаций научных открытий, увязывающих последние с системой вер, предрассудков, убеждений и обыденных представлений. В начале XX в. опыт Майкельсона – Морли явился важным событием в истории вопроса о существовании эфира. Для физиков это было подтверждением физической теории, но как представляет это Пинчон, никакой научный вопрос не является изолированным от повседневного дискурса. Пинчон изображает настоящую научную лихорадку приверженцев взгляда о существовании Эфира, таких «эферистов», которые образуют подлинные секты. «Эфир всегда был религиозным вопросом. Некоторые не верят в него, некоторые верят, и никто не может убедить друг друга, на этот момент это вопрос веры. Лорд Сэйлсбери говорит, что это только существительное, образованное от глагола «быть волнистым», сэр Оливер Лодж определяет его как «непрерывную субстанцию, заполняющую все пространство, которая может колебать свет... разделять положительное и отрицательное электричество, и так далее, этакий длинный перечень, почти как Кредо Апостолов. Он определенно зависит от веры в волновую природу света – если бы свет состоял из частиц, он мог бы распространяться сквозь пустое пространство, и эфиру не нужно было бы переносить его. И в самом деле, в людях, преданных идее Эфира, можно заметить склонность к упору на непрерывность, в противоположность дискретности».

«Рассмотрим противоположный взгляд», сказал О.Д. Чандрасекар... который мало что говорил, но когда говорил, никто не мог понять, что он имеет в виду, «что этот нулевой результат может легко рассматриваться как доказательство существования Эфира. Ничего здесь нет, и все же свет распространяется. Отсутствие несущего свет медиума есть пустота, которую моя религия называет akasa, которая лежит в основе всего, что мы можем вообразить «существующим». «Что меня беспокоит, сказал Розвел наконец, что Эфир окажется чем-то вроде Бога. Если мы можем объяснить все, что хотим, без него, тогда зачем придерживаться веры в него?»

Пинчон часто обращается к относительно неизвестным конфликтам в науке. Этот конфликт связан с главными темами книги, а именно, трениями между старым и новым возникающим миром, способностью воспринимать и описывать мир в более чем трех измерениях. Речь идет о борьбе между сторонками использования в физике кватернионов и векторного анализа. Эта борьба началась в 1890 г. и продолжалась четыре года; в полемике приняли участие двенадцать ученых, опубликовавших 36 статей в 8 журналах. В частности, уравнения Максвелла могли быть записаны как с использованием кватернионов, так и с использованием векторного анализа. После нескольких лет полемики победил векторный анализ, инициированный Дж. У. Гиббсом и О. Хевисайдом, и кватернионы ушли в историю. Этот небольшой эпизод из истории науки Пинчон встроил в конкретный момент воображаемой истории, создав метафору научного сообщества, тайного и гонимого. Побежденные приверженцы кватернионов устраивают ежегодно тайные встречи в одном из городов Европы. Кватернионисты представляют себя племенем математических мыслителей, которые обречены на ненужность и еретический образ победившими вектористами. «Мы теперь евреи от математики, скитающаяся диаспора», говорит один из участников такой встречи, и не случайно, научное сообщество в таком виде рассматривает свою судьбу в политических терминах: кватернионисты – это анархисты, а вектористы – это большевики и грубияны».

Пинчон использует технические детали, в данном случае, математические понятия для создания целой мифологии науки. Кватернион подобен комплексному числу; он имеет четыре компоненты, – одна скалярная величина и три вектора

$$q = w + ix + jy + kz.$$

Три компонента векторной части являются мнимыми числами, типа ib в комплексном числе $a + ib$, где i есть $\sqrt{-1}$, так что $i^2 = -1$.

То же самое справедливо для j и k в кватернионах, для которых есть знаменитое соотношение

$$i^2 + j^2 + k^2 = -1.$$

Взгляды кватернионистов на пространство и время было ограничено математическими формализмами, с которыми они работали.

Некоторые из них строили догадки, что скалярный член w в кватернионе может быть использован для представления времени, а три векторных члена – для описания 3-мерного пространства. Но этот взгляд отличался от того, который был развит в виде четырехмерного представления пространства-времени в частной теории относительности. Скалярная величина может иметь только два направления – вперед и назад, в то время как согласно теории относительности наблюдатель может вращаться под любым углом относительно временной оси пространства-времени.

Это чисто формальное обстоятельство превращается у Пинчона в вопрос о праве на пространство как среду обитания, делая научный, в высшей степени абстрактный, вопрос частью политики и человеческих устремлений. Один из героев книги говорит: «На самом деле, кватернионисты проиграли, потому что они извратили взгляды вектористов о намерениях Бога – что пространство должно быть простым, трехмерным и реальным, и если должен присутствовать четвертый член, мнимый, он должен быть приписан Времени. Но пришли кватерниористы, и прикончили это представление, определив оси пространства мнимыми, оставляя Время реальному члену, скалярному. Конечно же, вектористы объявили войну. Ничего, что они знали о времени, не позволяло ему быть таким простым, не могли они и позволить, чтобы пространство было описано невозможными числами, то самое земное пространство, за которое они боролись бесчисленными поколениями для того, чтобы проникнуть в него, оккупировать его и защищать».

Введение в дискуссию научных теорий и терминов приводит к мифологическому и метафорическому толкованию концепции времени и Эфира. Следующий ниже пассаж из книги прекрасно иллюстрирует, какие интересные метафоры можно сконструировать, опираясь на математические понятия. Описывается собрание некоей «Transnoctial Discussion Group»: «Время движется вдоль одной оси», заметил доктор Блоуп, «от прошлого к будущему» единственный поворот здесь возможен на 180 градусов. В терминах кватернионов, поворот на 90 градусов будет соответствовать дополнительной оси, чье единичей является $\sqrt{-1}$. А поворот на любой другой угол потребует в качестве единицы комплексного числа». И все же отображение, в котором прямая становится кривой – функция от комплексного переменного вроде $w = e^z$, где прямая линия на z -плоскости отображается в окружность на w -плоскости», говорит д-р Рао, «предполагает возможность

того, что линейное время становится круговым, таким образом достигая вечного возвращения столь же просто, или мне следует сказать комплексно, как... И как если бы уходящее время проявляло некоторую неясную фатальность, дискуссия перекинулась на предмет светоносного Эфира, обмен мнениями по которому – полагавшееся, как в спорах по Кватернионам, по большей части на веру, – часто не могла избежать некоторой горячности. «Чертовы идиоты!» вскричал д-р Блоуп, который принадлежал той Британской школе, которая возникла на волне Опыта Майкельсона – Морли, которая верила в некоторое тайное Действие в Природе, которое тайно замышляло предотвращение всех измерений скорости Земли через Эфир. Если такая скорость производила, как утверждает Фицджеральд, сокращение измерений в том же самом направлении, то ее невозможно измерить, потому что измерительное устройство так же сократится. «Это же ясно, что Нечто не хочет, чтобы мы знали ее!».

Современная история есть война между утопизмом и тоталитаризмом, контркультурой и гегемонизмом, анархизмом и корпоративизмом, природой и техникой, Эросом и стремлением к смерти, энтропией и порядком. Нарратив мифологического толка служит не только целям более глубокого понимания природы науки и научных открытий. Пожалуй, не менее важной является ситуация с пониманием места науки в современном мире. Компьютерный век очень быстро погрузил человечество в новую среду обитания, ломая привычные стереотипы поведения и коммуникации людей, вводя новые стандарты «грамматики» и массовой культуры. Этот процесс ломки общества находится в самом разгаре, и пока он не нашел адекватного отражения в социальном познании. Столкновение старых и новых парадигм коммуникации осмысливается скорее в беллетристике, чем в философских сочинениях. Прекрасным примером такого осмысления является роман Н. Стивенсона «Криптономикон»⁵⁰, в котором история зарождения компьютеров, перемежающаяся техническими деталями вроде принципа действия идеализированной математической Машины Тьюринга, смешивается с реалиями современного технологического мира. Следы посланий из прошлого Второй Мировой Войны служат метафорой морального будущего состояния нашего мира. Важность такого рода метафор состоит в том, что с помощью них люди пытаются осмыслить пути искупления прошлых прегреше-

⁵⁰ Стивенсон Н. Криптономикон. – М.: АСТ, 2004.

ний в век невиданного вторжения механизированных способов мышления и коммуникации, нивелирующих остроту моральных проблем.

Роль мифологического представления исторических событий в науке состоит в том, чтобы передать ощущение, что на рубеже веков произошел огромный технологический скачок. Этот прорыв был обеспечен смешанной комбинацией абстрактных математических спекуляций, капиталистической алчностью, борьбой глобальных геополитических сил, и явного мистицизма. Мы сейчас знаем, как это случилось, но если бы мы жили тогда, было бы невозможно отличить фантастические возможности от правдоподобных. Передать это ощущение рациональным пересказом сухих фактов, как это делается в пересказе в учебниках, в принципе невозможно. Это можно сделать только через метафоры, обволакивающие научные понятия целым множеством предрассудков, аналогий, отсылок, психологических установок. Не пересказ, а именно, нарратив, может дать истинное представление о становлении человеческого духа.

Информационные парадигмы и онтология мира

Развитие систем представления знания, доступного для чтения и обработки компьютерными информационными системами, привело к заимствованию из философии термина «онтология». Неопределенность и многозначность термина, присущие ему в философии, передались еще в большей степени в исследованиях о принципах построения систем хранения, обработки и извлечения информации. Но в отличие от философских дискуссий по поводу содержания онтологии как таковой, в информатике такие дискуссии являются относительно редкими, и если они все-таки случаются, проходят на весьма громких тонах. Определений понятия «онтология» дано множество, и никакого консенсуса в этом отношении не наблюдается. Это сопряжено со многими обстоятельствами, некоторые из которых будут освещены в данной статье; не последнюю роль в наличии такого разнообразия играет быстрое развитие информационных систем. Знаменитое пионерское определение онтологии как спецификации концептуализации Грубера считается некоторыми исследователями напоминанием о «романтической» стадии исследований, когда соответствующие проблемы казались достаточно простыми. Действительно,

296

спецификация концептуализации означает конкретный способ членения внешнего мира на составляющие – вещи, действия, состояния и пр. Такое членение часто определяется грамматикой естественного языка, или же категориальными системами, которых достаточно много представлено в философии. Неясности, присущие как естественному языку, так и философским системам, привели к использованию искусственных языков, в рамках которых были определены критерии онтологических допущений⁵¹. Для формализаций первого порядка широко известным критерием такого рода является так называемый критерий Куайна «Быть значит быть значением связанной переменной»⁵². Точная трактовка понятия онтологии в этом духе привела к рождению так называемой формальной онтологии, которую, впрочем, не следует путать с формальной онтологией Гуссерля⁵³. Зачастую при обсуждении понятия онтологии в информационных системах формальная онтология считается частью конструирования онтологии уже в чисто техническом понимании.

Однако быстрое развитие информационных систем потребовало более практических решений в отношении того, что может быть положено в основу классификации в системах хранения и извлечения данных, и широкое использование языков программирования, приспособленных к решению конкретных задач, привело к значительному размыванию понятия «спецификации концептуализации» до такой степени, что сообщество конструкторов информационных систем столкнулось с вавилонским столпотворением подходов к понятию онтологии. Такая разобщенность явно является отягчающим обстоятельством для дальнейшего развития информационных систем даже внутри определенной области исследования.

Прежде всего, отсутствует осязаемая упорядоченность в терминологии. Далее, используются различные системы формальной онтологии, соотношение между которыми не исследовано. Формальные онтологии, определяющие свойства и отношения объектов, зачастую имеют весьма различную аксиоматику и выводные структуры. Вследствие этого используются различные принципы таксономии, в кото-

⁵¹ См.: *Целищев В.В.* Логическая истина и эмпиризм. – М., URSS, 2010.

⁵² *Куайн У.* С логической точки зрения. – М.: Канон+, 2010.

⁵³ Следует отметить, что тем не менее многие исследователи полагают, что гуссерлевская формальная онтология может быть использована для создания онтологий высокого уровня.

рых терминологические единицы должны образовывать упорядоченные древовидные структуры.

Происхождение этих трудностей с методологической точки зрения легко опознать. Конструирование онтологий в информационных системах представляется типичным междисциплинарным исследованием с присущим ему многопрофильностью подходов. Ситуация усугубляется тем, что мы имеем дело с очень сложными системами хранения и извлечения данных. Сложность такого рода вынужденно является практически обусловленной. Скажем, в таких разных областях как авиастроение и биомедицинские исследования огромное число технологических единиц и процессов требует автоматической обработки информации, которая, в свою очередь возможна только на пути определенной унификации терминологии и классификации. В основу классификации кладется определенная онтология, представляющая собой теорию основных сущностей и их отношений. Например, в области биомедицинских исследований все более усложняющиеся формальные онтологии включают Gene Ontology (GO) с целью аннотации геной продукции из многих организмов. GO содержит такие иерархические отношения как «есть», «часть», «регулирует». Подобного рода усложнения, вызванные ростом исследований, могут привести к противоречиям внутри огромных систем. Кроме того, сама классификация не является единой даже в относительно узких областях исследования, и как правило, существует несколько более или менее употребительных классификаций.

Но, пожалуй, самой кардинальной трудностью тут является методологические различия. Логико-философские методы предусматривают определенную свободу в выдвижении гипотез и реализации аргументации. Математические исследования требуют строгости, и уверенности в непротиворечивости конструкций. Компьютерные исследования ориентированы на конструирование алгоритмов и программ применительно к конкретным задачам. Ясно, что это слишком широкое описание особенностей трех различных областей исследования не претендует на четкое разграничение используемых методов. Больше того, на практике они сильнейшим образом перекрываются: трудно отделить исследование логических методов построения классификации от математических методов установления непротиворечивости, а методы построения алгоритмов – от конструирования языков программирования. На практике при конструировании онтологий информационных систем привлекаются философы, математики, про-

граммисты, системотехники и пр. И тем не менее в изучении онтологий информационных систем явно прослеживаются несколько тенденций, идентификация которых обязана способам работы определенного научного сообщества. Используя терминологию Т. Куна, каждое сообщество работает в рамках собственной парадигмы⁵⁴. Разграничение подобного рода весьма относительно, потому что каждой из «добродетелей» соответствующих парадигм исследователями придается различный вес, и на практике трудно временами выделить, какая из парадигм превалирует. Видимо, это является общей особенностью всех междисциплинарных исследований. Однако при проведении таких исследований надо отдавать себе отчет в том, что в зависимости от поставленных целей при построении онтологии какая-то из парадигм имеет доминирующий характер.

Говоря о термине «парадигма», следует иметь в виду и его глобальный характер. В конечном счете, когда мы говорим о методах науки, на ум приходят два из них. Один опирается на дедукцию, отчасти наследуя схоластический стиль мышления, как на основной источник знания. Рационализм в европейской философии Нового Времени унаследован современной наукой в тех ее аспектах, которые прежде всего связаны с математикой. Метод, заложенный Декартом, Спинозой, Лейбницем, до сих пор является сильнейшим средством получения нового знания. В период натурализации науки и торжества экспериментальных исследований мощь дедуктивного метода вызывает удивление, эпитомизированное в знаменитом клише Э. Вигнера «непостижимая эффективность математики в естественных науках»⁵⁵.

Математические методы особенно важны для теории построения онтологий ввиду понимая последней как компьютерного представления знания. В ряде работ было показано, что математика по сути своей является представлением дедуктивного знания⁵⁶. Именно в этом пункте есть тесное взаимодействие математики и философии. Действительно, в спектре философских интерпретаций математики противоположными являются платонизм и номинализм. Если показать, что

⁵⁴ Здесь мы имеем в виду тот смысл термина «парадигма», который Т. Кун использовал во втором издании своей книги «Структура научных революций», где термин относится к деятельности сравнительно небольших научных сообществ.

⁵⁵ Вигнер Э. Непостижимая эффективность математики в естественных науках // Этюды о симметрии. – М., 1978.

⁵⁶ См.: Целищев В.В. Априорные структуры как представление знания (в печати).

математика является представлением знания с точки зрения обеих интерпретаций, тогда эта точка зрения будет вполне естественна для всех остальных интерпретаций. Показано, что в платонистской интерпретации математические структуры и есть то самое представление знания, то есть, кодификация эмпирического знания с помощью вычислимых операций. Эта точка зрения есть естественное продолжение знаменитого афоризма Галилея «Математика есть язык природы». В номиналистической интерпретации математики при допущении некоторых предположений (так называемые концепции фикционализма), математика выступает как вспомогательное репрезентативное средство, то есть, по сути является таким же представлением знания, которое принимается исходя из прагматических целей. Среди таких прагматических целей может быть отказ от понимания истин математики как объективных, и понимание их как метафор относительно фиктивных объектов. Необходимость в теории фиктивных объектов является крайней желательной для построения информационных онтологий.

Действительно, особенностью таких онтологий является конструирование артефактов, или «суррогатных» объектов. Если традиционно онтология понимается как наука о «сущем», то есть, наука о реально существующих объектах и процессах, технологическая практика требует введения в оборот «фиктивных» объектов, то есть, искусственных конструкций, которым нет аналога в «реальном мире». Этим самым в информационных онтологиях совершается радикальный отход от традиционного понимания «соответствия реальности». Введение фиктивных или гипотетических объектов является в науке обычным делом; скажем, так называемые теоретические конструкторы и есть по сути фиктивные объекты, реальность некоторых из которых подтверждается дальнейшим развитием исследований, некоторые остаются вспомогательными конструкциями, а некоторые не «выживают». Однако в информационных онтологиях вообще не ставится вопроса о соответствии реальности, и в этом смысле введение суррогатов служит лишь прагматическим целям решения конкретных задач. Однако в сложных онтологических конструкциях важно избежать глобальных противоречий, и можно сказать вслед за Б. Расселом, что тут требуется определенное «грубое чувство реальности». Более точно, при построении онтологий достаточно высокого уровня слишком большое число суррогатов затрудняет установление непротиворечивости и обозримости системы.

В этом отношении важный вклад в информационные онтологии ожидается от логико-философской теории фиктивных объектов, которая разрабатывается и для других целей.

Для математической парадигмы в информационных онтологиях свойственен упор на формальную непротиворечивость, которая необходима для дедуктивных операций, осуществляемых компьютерными средствами. Для дедуктивной обработки предпочтительна унифицирующая онтология, в которой фиксированы неоспоримые и твердо установленные знания. Больше того, эти знания должны быть знаниями в полном смысле этого слова, то есть, теории должны соответствовать реальности. Обращение к формальной онтологии в этом случае неизбежно, поскольку требуется определенная строгость, обеспечивающая средства осуществления дедуктивного вывода. Логика первого порядка и вычислительно прослеживаемые (tractable) подмножества логики считаются подходящими средствами осуществления вывода в строгих онтологиях.

Такой подход к онтологиям ассоциируется с тем, что можно назвать математической парадигмой в исследовании и конструировании онтологий в информационных технологиях. Эта парадигма исключает вероятностные подходы как в отношении анализируемых гипотез, так и в отношении структур вывода. В противном случае неопределенность резко усложняется, а достоверность результата уменьшается. В математической парадигме предпочтительны онтологии высшего уровня, поскольку именно такие онтологии содержат базисные категории, а именно, сущности, характеристики и процессы. В сообществах, работающих в других парадигмах, существует значительный скепсис в отношении полезности онтологий высокого уровня, и даже сомневаются в возможности существования таких онтологий. Тем не менее, есть интересные попытки конструирования таких онтологий. Приверженность математиков и философов онтологиям высшего уровня позволяет надеяться в жизнеспособности описанной выше парадигмы.

Другая парадигма восходит к натурализации науки, то есть, к возникновению экспериментальной науке Галилея и Ньютона. Здесь значительную роль играет смелость поисков и гипотез. Конечно, эклектика (по нынешним понятиям) в деятельности членов Королевского Общества является крайним примером спорадического поиска, но сама идеология свободы поиска привела к расцвету науки. Есть определенная аналогия между свободой в экспериментальных

происках и свободой в конструировании языков программирования и прикладных программ. Действительно, к настоящему времени существует около восьми сотен языков программирования, ориентированных на реализацию самых разных теоретических и прикладных проектов. При таком разнообразии вполне понятно изобилие онтологических конструкций, строящихся для конкретных целей. В рамках такого понимания онтологий для информационных систем вполне естественно смотрится известный афоризм «онтология есть просто артефакт софта». Ввиду этого, вторая парадигма может быть сформулирована следующим образом: онтология для информационных систем есть компьютерный артефакт. Если какая-то группа исследователей находит полезным конструирование весьма специфической онтологии, для нее не существует каких-то общих методологических рекомендаций или ограничений. Именно при таком подходе к понятию онтологии есть изобилие суррогатов или артефактов языков программирования и компьютерных программ. Главным критерием является полезность (более принятым термином ныне является термин *usability*). Здесь мы видим явное противоречие с математической парадигмой, отягощенной платонистской интерпретацией математики. В этой интерпретации мы ищем соответствия математических символов платонистской онтологии. В компьютерной парадигме «человеческие конструкции», призванные удовлетворить различные потребности в социальных и технических аспектах, более предпочтительны, чем конструкции, основанные на «абсолютной реальности».

Вряд ли возможно «лобовое» сопоставление двух парадигм в конструировании онтологий для информационных систем, поскольку в практике такого конструирования используются самые разнообразные методы. Сопоставление такое может основываться на достоинствах и недостатках каждой из парадигм. В частности, существует мнение, что математизированные онтологии вводят в заблуждение, претендуя на определенность в вопросах, где таковой невозможно достичь в принципе. Кроме того, использование математического аппарата, хотя и придает элегантность онтологическим конструкциям, делает это за счет различий, в которых нет необходимости, и обратно, не делает различий там, где это просто необходимо. Степень строгости должна определяться практическими потребностями. Присущая математическим конструкциям общность обеспечивает элегантность онтологиям высокого уровня. Однако

считается, что такая общность приводит к существенному отрыву от повседневной реальности.

Однако некоторые общие тенденции все-таки можно проследить. Сопоставление облегается тем, что две эти парадигмы можно усмотреть уже в области чисто компьютерных исследований, точнее в исследованиях искусственного интеллекта. Так, противостояние неформальных групп Neats и Scruffies полностью аналогично противостоянию рационалистов и эмпиристов, и более близкой аналогии, с математической и компьютерной парадигмами соответственно. Философы-рационалисты и Neats близки по идеологии к математическому подходу в онтологии, занимаясь поиском доказуемых решений – хотя логической непротиворечивости достаточно для того, чтобы удовлетворить многих математических онтологов. Экспериментальные философы и Scruffies близки к компьютерной парадигме: они полагаются на эвристику и метафору вероятности, нежели на определенность, утверждая, что совокупности полезных разнообразных методов вполне достаточно⁵⁷.

Терминология относится к «священной войне» в сообществе, занятом проблемами искусственного интеллекта (ИИ). «Neats» пытаются строить системы, которые «мыслят» в том стиле, который свойственен человеческому мышлению, в то время как «scruffies» не заботятся о том, в какой степени алгоритм такого процесса напоминает человеческое мышление. Естественно, первые ставят во главу угла логику, а вторые – более гибкие методы, свойственные эмпирическому познанию. Первые считают, что решения должны быть элегантными, ясными и доказуемыми, а вторые полагают, что мышление является слишком сложным процессом, чтобы его можно было охватить какой-то однородной формальной системой. О ситуации вокруг описанных методов исследования красноречиво говорит следующая полемика: «Большая часть знания, которое мы хотим запрограммировать, может быть и должна быть представлена в декларативной логике, точнее, в формальной логике. Ad hoc структурам тоже есть место, но большая их часть берется изнутри самой области» (N. Nilsson). Ему отвечают A. Petland и M. Fisher: «Никто не оспаривает того, что дедукция и формальная логика играют важную роль в ИИ исследова-

⁵⁷ *Rzhetsky A., Evans J. War of Ontology Worlds: Mathematics, Computer Code, or Esperanto? // PLoS Comput Biol. 2011 September; 7(9): e1002191. Published online 2011 September 29. doi: 10.1371/journal.pcbi.1002191*

ниях, однако, это явно не тот королевский путь, который предлагает Нилссон. У этого самозванца короля, хоть и не совсем голого, весьма скудный гардероб»⁵⁸.

В одном социологическом исследовании о специфике онтологий для информационных систем было выделено три направления с условными названиями: математика, компьютерный код и Эсперанто⁵⁹. Первые два направления соответствуют описанным выше парадигмам, а последнее – некоторому прагматическому компромиссу между ними. «Эсперанто» в области конструирования информационных технологий характеризуется там следующим образом: «Пусть расцветают сто цветов – таков лозунг данного направления. Пользователей следует поощрять в создании их собственных привычных для них онтологий, и эти онтологии должны оцениваться с точки зрения их полезности и эффективности в контексте специфических проблем». Этимология ярлыка для этого направления обязана его намеренной политике облегчения коммуникации между различными сообществами, для чего в принципе и был создан искусственный язык. По большому счету, «Эсперанто» можно считать третьей парадигмой информационных онтологий.

На этом пути, прежде всего, следует сделать так, чтобы сферы базисных концепций большинства онтологий пересекались. В противном случае трудно будет надеяться на передачу знаний на основе какой-то объединенной базы данных, поскольку взаимопроникновение концепций из одной онтологии в другую будет крайней затруднено. Компромисс между «математикой» и «компьютерным кодом» состоит в умеренном подходе к крайностям этих направлений. Так, считается, что крупномасштабная унификация онтологий попросту нереалистична. В этом отношении моно действительно констатировать, «спецификаций концепуализации» достаточно много, и каждая из них имеет в своей основе массу неопределенных и неявных посылок, зачастую философского толка, экспликация которых представляет собой непреодолимые трудности. Больше того, эти усилия были бы напрасны, поскольку возникновение новых практик, будь то социальные или технологические, постоянно создает новые онтологии, с новыми предпосылками и основаниями. Очевидно, что мы живем

⁵⁸ Цитируется по: *MacCorduck P. Machine Who Think. – Natick M.A.: A.K. Peters, Ltd., 2004. – P. 421–424.*

⁵⁹ *Rzhetsky A., Evans J. – Op. cit.*

в мире множества онтологий, и с точки зрения конструирования систем представления знания усилия следует направить на облегчение переходов от одной онтологии к другой. Эта проблема носит в философии название онтологической редукции, и достаточно хорошо изучена⁶⁰. В частности, концепция В. Куайна «онтологической относительности» играет на руку направлению «Эсперанто» в том отношении, что обосновывает возможность наличия множества онтологий, которые альтернативны друг другу. Это важное логико-философское положение очерчивает соотношение формальных онтологий и способы перехода от одной онтологии к другой. Интересно отметить, что в обсуждениях представителей различных направлений в конструировании информационных онтологий проблема онтологической редукции вообще не упоминается, хотя много внимания уделяется как раз возможности переходов между онтологиями.

При обсуждении взаимопересечения онтологий часто говорится о трудностях отображения терминов одной онтологии в термины другой. Но поиски таких способов гораздо проще попыток создания единой онтологии высшего уровня. Концепция онтологической относительности позволяет рассматривать взаимопереходы онтологий, их включение в более обширные онтологии через онтологическую редукцию, не обращаясь к понятию высшей онтологии. В определенном отношении наличие альтернативных онтологий несколько противоречит компьютерной парадигме, поскольку в рамках последней должно предусматриваться сосуществование онтологий. Однако биехевиористские аспекты онтологической относительности, обязанные принципу неопределенности радикального перевода, при компьютерной парадигме не принимаются во внимание.

Однако «Эсперанто» может выполнять скорее социологические цели концентрирования информации, которая разбросана по различным исследовательским группам. Мало того, что эти группы могут исповедовать различные парадигмы, но и в рамках одной парадигмы возможны разногласия по поводу терминологии, классификации и вообще по поводу онтологий. В частности, именно идеология «Эсперанто» является основой междисциплинарных исследований в области конструирования информационных технологий.

Столкновение трех парадигм неизбежно, поскольку каждая из них исповедует радикально отличную методологию. Так, унифици-

⁶⁰ *Целищев В.В.* Логическая истина и эмпиризм. – М., 2010.

рованный подход математической парадигмы противоречит практически хаотическим усилиям представителей компьютерной парадигмы. Эсперанто состоит в реалистических попыток нащупать «средний путь» между математической строгостью и практической осуществимостью при решении конкретных задач. В конечном счете, как и во всяком научном исследовании, следует найти компромисс между научной строгостью и возможностью практических приложений конструируемых онтологий. И наконец, не следует упускать из внимания, что эти исследования обязаны философии не только заимствованием самого термина «онтология», но и многим методам экспликации «спецификации концептуализации».

Бурное развитие информационных систем, в частности, успехи в создании обширных баз данных и извлечения информации, отягощено одним побочным обстоятельством, которое в существенной степени замедлит и затруднит дальнейший прогресс в этой области. Поскольку в большинстве случаев построение таких информационных систем связано с конкретными задачами в отдельных областях технологической практики, соответствующие структуры представления знания используют зачастую только им свойственные термины и концепции. Многочисленность задач такого рода привела к тому, что повсеместно признается как «вавилонское смешение языков», когда различные базы данных могут использовать одинаковые названия, которые, однако, имеют различные значения, а одно и то же значение терминов может быть выражено разными именами. Ясно, что при таком положении вещей возникают не только терминологические неясности, но концептуальные несовместимости, что не позволяет расширять средств представления знания и унифицировать ее.

Устранение такого рода несовместимостей при решении практических задач, например, объединения баз данных, является повседневным занятием, довольно трудоемким, и если не «сизифовым», то, в любом случае, латанием прорех. Идеальным вариантом при этом было бы создание общей таксономии терминов, которая бы лежала в основе всех баз данных. Для этой цели у философии был заимствован термин «онтология», понимаемый как словарь терминов, сформулированный в каноническом синтаксисе с общепринятыми определениями. В отличие от чисто философского понимания, «онтология» должна представлять собой формальную структуру с определениями и аксиомами. Такого рода онтология называется формальной

онтологией, которая имеет непосредственную связь с теорией построения информационных систем.

Однако в данном случае мы имеем дело не с простым заимствованием терминологии, а с более сложным феноменом. Дело в том, что методы конструирования онтологий в интересах информатики, включают не только идеи управления базами данных, но и философские концепции, в частности, логические концепции семантики. Больше того, центральная идея, лежащая в основе самой формальной онтологии, напрямую связана с важнейшей категорией философии, а именно, с концептуализацией, то есть, с методами «членения» или структурирования внешнего мира с помощью языка. В определенном смысле «базисная» постановка вопроса Т.Р. Грубером онтологии как «спецификации концептуализации»⁶¹ открывает большие возможности для философии при разработке формальной онтологии. Цель данной статьи состоит в представлении тех проблем построения формальных онтологий, которые могут решаться средствами философии.

Прежде всего, философская онтология обладает той степенью охвата, которую ставит перед собой формальная онтология, поскольку речь идет о поиске некоторого универсального языка как совместимого базиса терминов и концепций систем информационного поиска. Именно на этом пути возникает идея онтологии верхнего уровня, которая бы была предельно общей для всех систем. В практическом аспекте это представляется чрезвычайно трудным предприятием, поскольку требуется обобщение такого уровня, при котором бы терялась сама специфика исследуемой области. Тут можно провести аналогию с логикой, которая является настолько общей структурой человеческого мышления, что в ней нет места экзистенциальным утверждениям, то есть, онтологическим концепциям⁶² [Nagel, 1964]. Фактически, такое обобщение приводит к полной онтологической нейтральности, которая становится бесполезной при попытке дать трактовку самым разнообразным данным. Здесь мы имеем противоречивую ситуацию: с одной стороны, нам требуется предельное об-

⁶¹ Gruber T.R. Toward Principles for the Design of Ontology used for Knowledge Sharing // International Journal of Human and Computer Studies. – 1995. – V. 43 (5/6). – P. 907–928.

⁶² Nagel E. Logic without Ontology // The Philosophy of Mathematics / Ed. Benacerraf P., Putnam H. – N.Y., 1964.

общение, которое бы позволило вобрать в себя огромное разнообразие данных знания, а, с другой стороны, такое обобщение перестает «видеть» те онтологические черты мира, которые и важны для представления знания.

Это противоречие хорошо усматривается при рассмотрении «всеобъемлющих» онтологий философии, которые настолько общи, что вряд ли адекватны целям позитивного познания, и уж тем более, представления знания. Однако именно такие онтологические построения позволяют обосновать те шаги, которые в формальной онтологии делаются исходя из интуитивных практических потребностей. При этом следует указать, имеют ли эти интуитивные шаги какую-то связь с философскими представлениями об онтологии.

Для построения формальной онтологии требуется определенного рода свобода в трактовке того, что существует. Реализм в отношении онтологии означает, что существующим объявляется то, что соответствует «реальному положению дел». Грубый реализм физикалистского толка ограничивает онтологию миром физических тел. Платонизм уводит в сторону идеальных сущностей. Такие «крайние» онтологии вряд ли могут быть полезны в конструировании формальных онтологий, имеющих дело с самыми разнообразными объектами и концепциями современного знания и технологическими артефактами. Поэтому на первый план выходит такое понимание философской онтологии, которое бы позволяло бы сделать вопрос о существовании более «гибким», более приспособленным к потребностям успешного освоения мира, квинтэссенцией которого является технология. Другими словами, если мы ищем при конструировании формальной онтологии помощи от философской онтологии, мы должны обратиться к такому пониманию последней, при котором есть определенная концептуальная свобода в определении того, что существует.

Наиболее известным шагом в этом направлении является позиция Р. Карнапа, который разделил вопросы о существовании на «внешние» и «внутренние»⁶³. К первым относятся традиционные вопросы о том, что существует «вообще», безотносительно к нашим средствам познания этого «сущего». В лучшем случае разговор об этих средствах становится сам по себе предметом философских дискуссий. Типичным примером этого является платонизм как философ-

⁶³ Карнап Р. Эмпиризм, семантика, онтология // Значение и необходимость. – М., 1959.

ская теория о существовании идеальных объектов математики. Поскольку в сфере этих объектов нет места причинности, возникает вопрос, каким образом возможен эпистемический доступ к ним⁶⁴. Ко вторым относятся вопросы в рамках языкового «каркаса», который принимается по прагматическим соображениям. Вопрос о существовании чисел рассматривается при этом не в общем плане как вопрос о как платонистских объектах, а как вопрос о том, что допустимо в качестве существующего при принятии «каркаса» теории чисел. В рамках этого каркаса могут быть приняты различные критерии существования; скажем, если мы имеем дело с формальной теорией в виде каркаса, наиболее действенным является критерий Куайна «Быть значит быть значением связанной переменной».

При таком понимании онтологии разговор о «реальности» уступает место тому, что имеет место с точки зрения определенной концептуальной схемы. В качестве последней может, например, выступать логический язык. Естественно, что такой язык должен обладать определенными выразительными возможностями, требуемыми для решения многих задач представления знания. В значительном числе исследования по представлению знания таким языком был принят язык логики первого порядка (именно для этого языка применим критерий существования Куайна).

При переходе от чисто философской онтологии к формальной онтологии важное значение имеет концепция «внутреннего реализма» Х. Патнэма. При использовании в качестве «каркаса» логики первого порядка мы имеем так называемую «сколемизацию всего»⁶⁵, суть которой состоит в том, что мы в принципе не можем установить, ввиду наличия нестандартных интерпретаций, о чем говорит данная теория, использующая язык первого порядка. Но тогда теоретико-модельная семантика позволяет нам лишь дать модели реальности, а не представление о самой реальности. Принципиальный переход от онтологии «всего сущего» к моделям, которые в определенной степени обладают автономией, знаменует рождение нового понимания философской онтологии, которое гораздо ближе к формальной онтологии. Коль скоро язык является единственным средством определения того, что именно существует, вопрос о «соответствии» языка ми-

⁶⁴ Benacerraf P. *Mathematical Truth // The Philosophy of Mathematics / Ed. P. Benacerraf, H. Putnam. – N.Y. 2-nd ed. 1998a.*

⁶⁵ Целищев В.В. *Философия математики. – Новосибирск: Наука. 2002.*

ру отходит на задний план. Онтологическими сущностями могут быть языковые образования, которые служат определенным целям в теории или в системе вер. Эти языковые образования являются результатом концептуализации, которую вводит научная теория.

С одной стороны, мы имеем явный отход от философской онтологии, поскольку модели всегда лишь приближительны и зачастую конструируются *ad hoc*. Ограничение теориями приводит к возникновению в качестве онтологии артефактов, которые с философской точки зрения не могут претендовать на «подлинное» существование. Например, такова ситуация с идеальными объектами Д. Гильберта, где подлинным существованием обладают финитные структуры, в то время как бесконечные структуры являются идеализациями. С другой стороны, ограничение научными теориями имеет явное преимущество в том отношении, что наука едина, и при этом, явно или неявно, обращается к поискам единой «научной» онтологии. Квалификация теорий как научных здесь очень важна, поскольку при обращении к взглядам, которые альтернативны по методам по отношению к науке, мы встречаемся с огромным разнообразием онтологий. Достаточно упомянуть при этом онтологию психоанализа с его эмпирически не идентифицируемыми сущностями типа *Id*, *Ego* и *Superego*. Опять-таки, научные теории весьма близки другим онтологиям, например, физикалистской, что позволяет говорить в некоторых случаях о слиянии онтологий.

Еще более радикальный отход от философской онтологии к формальной онтологии состоит в признании того, что последняя имеет дело не с действительным миром, а с так называемыми «возможными мирами», которые представляют собой альтернативы действительному миру. Можно по-разному понимать природу этих возможных миров, но важной для формальных онтологий являются эпистемически возможные миры, которые по сути своей представляют описание спектра возможностей при исследовании действительного мира⁶⁶. При такого рода исследовании реальные объекты уступают место возможным объектам, статус которых варьируется от чистых возможностей до суррогатов, требуемых для информационных систем.

Наконец, при переходе от философской онтологии к формальной значительное упрощение происходит с понятием концептуализации.

⁶⁶ Целищев В.В. Философские проблемы семантики возможных миров. – М., 2010. – 200 с.

Традиционные системы категорий, которыми полна история философия, заменяется здесь довольно упрощенным представлением: согласно Т.Р. Груберу, «Концептуализация есть абстрактный, упрощенный взгляд на мир, который мы хотим представлять для некоторых целей. Каждая база знаний, познающий субъект обязан принять некоторую концептуализацию, явно или неявно»⁶⁷.

При такого рода переходе возникает вопрос, не утрачена ли при этом какая-либо связь с философской онтологией. Точнее, возникает вопрос, в какой степени корректны нововведения формальной онтологии с точки зрения философии. Скажем, каков статус артефактов в качестве онтологии? Могут ли они играть в формальной онтологии ту же роль, которую играли в философской онтологии «подлинные» объекты? Может ли философия вообще чему-то послужить в конструировании формальных онтологий? Ответ на эти вопросы важен для понимания соотношения философии и информационных технологий.

Прежде всего, встает вопрос о «реальности» онтологии, хотя сам по себе вопрос такого рода кажется абсурдным, потому что онтология и есть в самом определенном смысле представление реальности. Концептуализация связана с попыткой, хотя и ограниченного, эпистемического доступа к трансцендентной реальности. Используемые в такого рода концептуализациях системы категорий варьируются весьма значительно, как с точки зрения используемого языка, так и с точки зрения методологии философии. Расхождения философов в этом отношении заходят настолько далеко, что вряд ли возможно хоть какое-то сопоставление онтологий, скажем, Р. Ингардена, М. Хайдеггера или А.Н. Уайтхеда, с онтологией логического атомизма Рассела.

Для целей построения онтологии информационных систем следовало сузить само понятие онтологии до более или менее приемлемого уровня, на котором мог бы быть достигнут консенсус, что считать существующим. Поскольку построение систем хранения и извлечения информации идет весьма интенсивным образом, такой консенсус оказался трудно достижимым с точки зрения классического понимания онтологии. Требовался радикальный шаг, который заклю-

⁶⁷ Gruber T.R. Toward Principles for the Design of Ontology used for Knowledge Sharing // International Journal of Human and Computer Studies. – 1995. – V. 43 (5/6). – P. 907–928.

чался в понимании «реальности» как альтернативных возможных миров, определяемых самими информационными системами. В определенном смысле это похоже на принятие «внутреннего реализма» Х. Патнэма, но только с гораздо большей степенью свободы в понимании того, что признавать существующим. Место «реально» существующих объектов при этом занимают «суррогаты», обладающие набором свойств, которые распознаются информационными системами. Практически, речь идет о языковых образованиях, но в отличие от философского понимания онтологии, здесь используются гораздо более жесткие критерии существования, определяемые формальными языками программирования.

Возникает вопрос, в какой степени возможно проведение параллелизма между подобным пониманием онтологии информационных систем и исследованиями в области философии математики о природе онтологии математических объектов.

Понятие концептуализации в данном отношении выступает на первый план. В практических целях при построении информационных систем концептуализация имеет откровенно прикладной характер в том отношении, что она подчинена целям такой системы. С другой стороны, различные концептуализации должны как-то соотноситься между собой, во-первых, для целей возможной унификации онтологий, и во-вторых, учитывая невозможность полного произвола в конструировании онтологии. Другими словами, мы имеем дело с множеством возможных способов членения мира практического опыта на категории, которые кладутся в основу онтологии. С философской точки зрения интересна сама возможность перехода от одной онтологии к другой. Самой известной попыткой создания такой философской теории является концепция онтологической относительности В. Куайна⁶⁸. Эта концепция имеет несколько привлекательных сторон с точки зрения принципов построения информационных онтологий.

Во-первых, эта концепция опирается, по крайней мере, в некоторых случаях на четко определенные правила перехода от одной онтологии к другой. Наличие таких примеров является обнадеживающим обстоятельством в условиях очень расплывчатого понимания «спецификации концептуализации». Этот последний термин является, скорее, лозунгом, чем техническим приемом, и если в философии

⁶⁸ Quine W.V.O. *Ontological Relativity and Other Essays*. – N.Y., 1970.

есть примеры более точного понимания перехода от одной онтологии к другой, то концепция онтологической относительности может служить примером использования философии в вопросах обоснования информационных онтологий. В самом деле, классический пример перехода от онтологии теории чисел к онтологии множеств, использованный в работах В. Куайна и П. Бенацерафа⁶⁹, говорит о том, что существует четкая корреляция между объектами одной онтологии и объектами другой онтологии.

Во-вторых, каждая такая онтология использует свой способ спецификации концептуализации. Это очень важное положение, которое позволяет сблизить философское понимание онтологии с пониманием онтологии в информационных системах. Знаменитый пример с «гавагаи» В. Куайна иллюстрирует этот тезис⁷⁰. Система вер воображаемого примитивного человека может использовать такую спецификацию концептуализации, при которой указание с использованием термина «гавагаи» на кролика может означать (а) самого кролика в целом, (б) временной сегмент (видения) кролика, (в) неотъемлемую часть тела кролика. Ясно, что три таких понимания используют совершенно различные спецификации концептуализации, и отсюда, разные онтологии.

Спецификация (а) является результатом физикалистского взгляда на мир, согласно которому существуют физические тела, и соответствующая онтология является базисной. Категории физического тела в пространстве и «омертвлении» его из потока непрерывности, хотя он и кажется обычным с точки зрения наших обыденных представлений, являет собой довольно определенный шаг в отказе от онтологии вечного потока Гераклита. Это демонстрирует, что даже самая простая онтология (физикализма) является результатом довольно четкой процедуры спецификации концептуализации.

Далее, спецификация (б) является результатом весьма сложной спецификации концептуализации, в которой вещь может рассматриваться как серия временных ее состояний. Эта концепция затрагивает сложнейшую концепцию времени. Недавняя книга Дж. Барбура⁷¹ в этом отношении имеет значительный интерес, поскольку

⁶⁹ Benacerraf P. What Numbers Could not Be // The Philosophy of Mathematics / Ed. P. Benacerraf, H. Putnam. – N.Y., 2-nd ed. 1998b.

⁷⁰ Куайн У. Слово и объект. – М.: Логос, 2000.

⁷¹ Barbour J. The End of Time. – Oxford University Press, 1999.

«скачки» от одного временного состояния к другому, представляющее природу времени, иллюстрируют возможность понимания реальности через онтологии «временных сегментов» физического объекта. Более простой иллюстрацией подобной онтологии является солипсистская концепция, согласно которой вещи появляются только при их восприятии⁷².

Наконец, спецификация (в) подразумевает базисную онтологию целого и части, и в этом отношении, мереологические концепции могут полагаться основой видения мира. Кстати говоря, основные попытки построения онтологии верхнего уровня используют именно мереологические концепции, полагая их наиболее важными в членении мира на объекты.

В-третьих, концепция онтологической относительности позволяет понять впечатляющее различие онтологий, и больше того, их полное равноправие. Дело в том, что в часто предпринимавшихся попытках выстроить некоторую иерархию онтологий, в попытках выделить базисные онтологии, игнорировались как раз разные способы спецификации концептуализаций. Тезис о неопределенности радикального перевода Куайна гарантирует «равноправие» соответствующих онтологий, что очень важно в ситуации большого количества альтернативных способов спецификации концептуализации. Конечно, Куайн говорит об альтернативных спецификации концептуализаций в рамках более или менее однородного понимания концептуализации, скажем, средствами определенного языка. Но коль скоро можно установить некоторые правила перехода от одного языка описания мира к другому языку, проблема определения онтологии становится более четкой.

Кстати говоря, разговор об онтологии с упором на спецификацию языка, что является повседневной философской практикой, является важным с точки зрения конструирования информационных технологий. Так, онтологические сущности могут быть экстенциональными и интенциональными. Ясно, что такого рода важное различие имеет прямое отношение к анализу используемого языка. Большая гибкость естественного языка, с его интенциональными сущностями, предпочтительна по сравнению с более бедными возможностями экстенционального языка.

⁷² Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.

Важным аспектом в проблеме построения формализованных онтологий является огромное разнообразие способов концептуализации мира. В отличие от «созерцательной» концептуализации классических философских систем, учет человеческой практики приводит к разрастанию концептуализаций, и особенно, методов спецификаций таких концептуализаций. Научные теории, взгляды на природу человеческой морали, мотивы и практика социальных действий, мир вымышленных персонажей и ситуаций в беллетристике, религия и духовные ценности – все эти и многие, многие другие аспекты человеческой деятельности дают огромное число несовместимых между собой онтологий. Противопоставление «созерцательной» онтологии и «конструируемых» онтологий, имеет, конечно же, чисто условный характер, потому что и в созерцательных онтологиях присутствуют те самые спецификации концептуализаций. Но все-таки, такое противопоставление имеет смысл, поскольку артефакты в созерцательных онтологиях имеют более «объективный» характер, чем «суррогаты» в онтологиях, связанных с человеческими действиями. Свобода, которой обладают формальные онтологии, обретается за счет того, что объекты таких онтологий объявляются с самого начала фиктивными, то есть, вымышленными в целях практических. Они не подвержены критерию «объективного существования» в смысле соответствия реальности. Именно это обстоятельство придает им гибкость в решении конкретных задач хранения и извлечения информации. Одновременно, это приводит к атомизации соответствующих областей знания, в ходе которой барьеры между отдельными фрагментами представления знания становятся зачастую непреодолимыми. Главным препятствием тут является искусственный характер «вымышленных» онтологий. Ясно, что в преследовании идеи унифицированных систем представления знания нужна работа по прояснению логической структуры искусственных онтологий с фиктивными объектами, или суррогатами.

Как уже было ранее упомянуто, суррогаты возникают в ходе роста знания и в более реалистичных онтологиях, как это имеет место, скажем, с идеальными элементами Д. Гильберта. В этой связи возникает вопрос о возможности анализа «объективных» онтологий с точки зрения наличия в них, систематического или случайного, присутствия артефактов или суррогатов. Такой вопрос важен, потому что эти исследования могли бы помочь в решении того, насколько наличие суррогатов в онтологии мешает ей быть достаточно «реалистиче-

ской». Здесь возникает несколько стратегий, одна из которых состоит в поисках принципиальной теоретической возможности элиминации суррогатов, или артефактов, их онтологии. Другая стратегия состоит в демонстрации того, что объекты «подлинной онтологии» являются на самом деле фиктивными объектами.

Последняя стратегия особенно интересна в связи с тем, что в номиналистических интерпретациях математики в настоящее время большой интерес представляют такие трактовки математических объектов, в соответствии с которыми они являются артефактами, а сама математика уподобляется вспомогательному репрезентационному средству. Такие теории называются фикционалистскими. С точки зрения философии, подобного рода теории могут классифицироваться как прагматические, и хотя они и имеют прямую связь с философией прагматизма, в первую очередь они являются прагматическими по своим целям. Отрицание самой проблемы соответствия внешнему миру не является каким-то философским упущением, а является сознательной стратегией. Концептуализация тут является чисто искусственной, и является по сути лишь способом решения практической задачи. Естественно, что при такой постановке проблемы требуется логика и точность, и не только во избежание противоречий, но и для адекватности конструируемых онтологий смежным областям исследования.

Действительно, вопрос о смежных областях исследования важен при трактовке так называемых теоретических конструкторов. Постулируемые во многих областях исследований сущности имеют гипотетический характер, но в то же время они имеют объяснительную силу и эвристическую пользу на стыке исследований. Вопрос об их «окончательной» онтологической природе неясен, и уже то, что они могут быть «участниками» нескольких онтологий, важен для будущей унификации в представлении знания.

Но при обсуждении вопроса о соотношении классической онтологии и формальной онтологии возможен и более радикальный отрыв в сторону автономии последней. Развитые языки позволяют создавать очень сложные конструкции, и для «онтологической реабилитации» последних требуется предположение, что наличия такого богатого языка должно быть достаточно для решения онтологических проблем. Языковые конструкции заменяют нам классическую онтологию. Возникает вопрос, может ли такая точка зрения быть оправдана в рамках классической онтологии. Ответ на этот вопрос, рас-

смотренный в рамках логики, утвердителен. Концепция подстановочной интерпретации логических систем позволяет рассматривать лингвистические сущности как собственную онтологию⁷³.

Все указанные способы трактовки соотношения классической онтологии и онтологий информационных систем могут быть применимы для решения главной задачи в области представления знания, а именно, для преодоления несовместимости таких онтологий.

Наука в демократическом обществе

Рассмотрение соотношения демократии и науки в значительной степени упрощается как в специальной литературе, посвященной социологии и философии науки, так и в публицистических публикациях журнального и газетного толка. Последние грешат примитивизмом постановки самой проблемы, усматривая ее в вопросах достаточного или недостаточного финансирования науки или «утечки мозгов». Что касается специальной литературы, то она в значительной степени находится под влиянием точки зрения К. Поппера о том, что ценности научного сообщества во многом совпадают с ценностями «открытого общества». Предполагая, что открытое общество является демократическим обществом, и более того, гражданским обществом, можно было бы сделать вывод о том, что в демократическом государстве наука будет иметь не только прагматическое значение, но и сугубо идеологическое, как носитель желаемых социальных и институциональных ценностей. Больше того, К. Поппер полагал, что наука представляет собой модель рационального поведения в общем. И в политике в частности⁷⁴.

Имя Поппера упомянуто здесь не случайно. Хотя вопрос о соотношении демократии и науки обсуждался многими философами, в России этот вопрос приобрел особый статус и «привкус». Довольно большая часть грантов по проблемам развития в России демократии обеспечивались в прошлом проектом «Открытое общество», который финансировался Дж. Соросом. Последний является поклонником К. Поппера, и в силу этого многие разработки указанной нами про-

⁷³ Целищев В.В., Бессонов А.В. Две интерпретации логических систем. – М.: URSS. 2010.

⁷⁴ Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1993. – Т. 2.

блемы идут в «виговском» стиле. Термин «виговский» (более точно, история в стиле вигов), запущенный английским историком Г. Баттерфилдом, относится к такому пониманию истории, при котором все более позднее лучше предыдущего. Идея демократии по умолчанию считается прогрессивной как раз в «виговском» смысле, потому что становление демократических институтов, по предположению, не может ухудшить ситуацию с научными институтами.

Между тем, при самой простой постановке проблемы соотношения науки и демократии возникает ряд фундаментальных проблем, обсуждение которых и является целью данного раздела. Среди недавних трудов, которые привлекли внимание к этой проблеме, можно назвать книгу весьма влиятельного американского философа науки Ф. Китчера «Наука, истина и демократия»⁷⁵. Подход Китчера к этой проблеме включает апелляцию к самой серьезной и абстрактной политической философии, и кроме того, как философ науки Китчер апеллирует больше всего к сложившейся научной практике, что придает его суждениям дополнительный вес. Другой работой, которая заслуживает самого тщательного внимания, является последняя работа английского социолога С. Фуллера «Томас Кун: философская история для нашего времени»⁷⁶. В этой работе нашли в сжатом виде отражение различные идеи, которые Фуллер пропагандирует в ряде недавно вышедших книг по социологии науки⁷⁷. Работы этих авторов характерны тем, что они ставят под сомнение «виговское» видение соотношения демократии и науки в институциональном измерении.

На уровне достаточно развитого государства, независимо от того, является ли оно демократическим или нет, необходимость иметь развитую науку не отрицается никем. В такого рода обсуждениях неявно подразумевается, что достаточно развитое государство является государством с рыночной экономикой, и скорее всего, с демократическими институтами. Однако в случае науки эта предпосылка не является оправданной, поскольку наука может быть поддерживаема и тоталитарными режимами, и государствами, которые не подходят к ди-

⁷⁵ *Kitcher P.* Science, Truth, and the Democracy. – Oxford Univ. Press. – 214 p.

⁷⁶ *Fuller S.* Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Time. – Chicago Univ. Press, 2000.

⁷⁷ *Fuller S.* The Governance of Science: Ideology and the Future of Open Society. – Open University Press, 1999; *Fuller S.* Science. – Open Univ. Press, 1997.

хотомии демократическое / тоталитарное, например, Южная Корея или та же Япония. Коль скоро нас интересует по большей части соотношение демократии и науки в России, на первый план выдвигается вопрос о том, в какой мере совместимо формирование демократических институтов государства (и гражданского общества) и одновременно производство и потребление научного знания. Наука старого (советского) образца подвергается значительной институциональной ревизии, и создание новой системы финансирования науки зависит от функционирования демократических институтов, основанных на рыночной экономике. Однако именно здесь и возникает глобальная проблема.

Поведение власти в отношении институтов науки, по предположению, отражает волю народа, если прибегнуть к выспренной риторике. Такая воля народа выражается или прямо, или же через представителей. С другой стороны, понимание проблем науки и ее потребностей доступно лишь небольшой образованной части общества, и всякое решение проблем развития науки требует принятия рациональных решений, доступных лишь элите экспертов. Ситуация усложняется тем обстоятельством, что в силу специализации науки наличие даже такой группы экспертов сомнительно, поскольку немногие ученые могут принять решение по широкому спектру вопросов. Типичным примером при такого рода обсуждениях является противопоставление решений в области клонирования и создания лазеров с рентгеновской накачкой в рамках программы Звездных Войн. Ни один универсал не сможет дать равных по рациональности предложений в обеих областях.

Тут поднимается еще одна побочная проблема – наличие компетентных экспертов. Сама по себе идея экспертной оценки весьма далека от демократической процедуры, поскольку решение принимается не всем научным сообществом, а отдельными индивидами. Но, по видимому, это единственный путь решения практических проблем оценки научного творчества, который был принят в ходе формирования науки. Однако в нынешнее время специализации наук процедура экспертной оценки все больше отходит от демократических норм по определению процедуры. Этот вопрос связан с более общим вопросом о том, что понимали теоретики демократии пару веков назад под электоратом. Эксперт необходим там, где беспомощен просто образованный человек. Отцы демократии предполагали, что основу демократического общества должны представлять образованные люди, но

они не могли предвидеть ни развития науки, ни развития образования. Два века спустя после создания демократического государства на основе рыночной экономики образование в одной области не может заменить образования в другой области, и поэтому идея эксперта становится неизбежной. Но тем не менее, она уже противоречит самой идее демократического управления. В этой связи и возникают сомнения в том, оправдан ли взгляд, согласно которому ценности научного сообщества являются моделью гражданского общества, если при этом учитывать один лишь аспект экспертов. Опять-таки, напомним уже вышесказанное, что проблема экспертов является лишь частью более общей проблемы.

Эксперты представляют собой элиту, весьма узкую часть общества, и тогда значительная часть граждан в принятии решений зависят от небольшой группы людей. Такое понимание проблемы свойственно многим утопистам. В одном из фантастических романов Г. Уэллса будущее остается за «авиаторами», которых писатель рисует образованными и компетентными людьми, которые берут на себя ответственность за будущее остального большинства. Сейчас эту роль можно отвести генетикам, или же компьютерщикам, или кому-либо еще. Но поскольку исследовательские проекты, скажем, генетиков, требуют больших денег, которые берутся в современном обществе от налогов, мнение рядового налогоплательщика должно было бы быть учтено в этом вопросе, если мы говорим о демократическом устройстве. Однако вряд ли рядовой налогоплательщик, скажем, рабочий на заводе, понимает, нужно ли осуществление проекта человеческого генома. И не является ли утверждения экспертов о необходимости ассигнований на эту программу классическим проявлением максимы «наука есть удовлетворение любопытства за государственный счет»?

Но даже если принять неизбежность экспертов, трудно принять решение, какое из конфликтующих предложений различных экспертных групп принять. В более общем плане трудно понять, какое из научных достижений действительно стоит, чтобы его ценить. Потому что различные группы ученых, исходя из групповых интересов, будут отстаивать свое направление и представлять свои достижения в наилучшем свете.

Ясно, что между идеальными требованиями демократического решения таких проблем и требованиями экспертного знания существует противоречие, поскольку экспертное знание есть прерогатива

элиты. При разговоре о знании следует иметь два аспекта – получение знание и его использование. В обоих случаях элита имеет власть, которая становится двойной властью. Лозунг Мишеля Фуко, почти не перефразируя Ф. Бэкона, «Знание есть власть», вполне оправдан. Кстати говоря, Фуко имел в виду, что господствующие классы используют знание для поддержания своей власти. Ясно также, что элита является частью господствующих классов, и тогда противоречие между демократией и элитой предстает в случае науки в полной мере. Элитарность не является такой уж добродетелью в политической философии, – скорее, это злая необходимость, или же точнее, злая реальность. Любая теория демократического государства должна стремиться ликвидировать различия между элитой и остальным населением. Между тем, в российской политической философии нынешнего периода понятие элиты радостно гуляет по страницам сочинений. Это обстоятельство полностью отражается и на понимании науки в России, и все дискуссии об ее статусе практически касаются элиты. Тем самым противоречия между демократическим устройством государства и научным элитизмом еще больше усугубляется вместо того, чтобы разрешать его. В этой связи неплохо было вспомнить протестантское происхождение дихотомии элита / претериты со всей ее теологической метафизикой. Кстати, лучше всего эта проблематика в связи с наукой представлена в постмодернистской беллетристике у Томаса Пинчона в романе «Радуга тяготения»⁷⁸.

Для утверждения своей власти научная элита заинтересована прежде всего в «виговской» истории науки, таком благостном изложении все более накапливающихся знаний (так называемая «кумулятивная модель научного прогресса») с тем, чтобы связать прогресс социальный с научным прогрессом напрямую. Власть научная переходит во власть государственную через виговское оправдание науки. Следует иметь в виду, что научная элита имеет зачастую собственные интересы, которые могут конфликтовать с целями демократической политики, и полученная научной элитой власть может быть использована для преодоления демократического сопротивления эгоистичным планам элиты.

«Ранний» Гавриил Попов в одном из своих популярных политических очерков в конце 1980-х гг. отметил важную характеристику существования научной элиты в тоталитарном государстве Сталина.

⁷⁸ Пинчон Т. Радуга тяготения. – М., 2012.

Несмотря на репрессии в среде научных работников, значительная часть научной элиты существовала в условиях некоторого «конкордата» с властью – Власть говорит, что не трогает элиту, элита в ответ поддерживает власть. Эта упрощенная с точки зрения официальной истории картина оказывается не такой уж примитивной при чтении мемуаров, посвященных научной элите. Так, скандальные мемуары Коры Ландау «Так мы жили» многое говорят о быте элиты, а рассказы о приемах, которые устраивала избранным жена П. Капицы, кстати, дочь академика А.Н. Крылова, свидетельствует о почти династических чертах научной элиты, что собственно свойственно всем элитам.

Элитарный характер науки, как уже было сказано, поддерживается виговской историей науки, и российское науковедение, призванное соединить историю науки с социологией и философией науки, также идет по пути виговского бытописания подвигов отдельных школ и героев науки. В российском варианте виговскому описанию присуща скорее мифологичность, нежели критический анализ. Мифологичность подобного рода исключает рассмотрение серьезных моделей устранения противоречий между элитарным характером науки и демократическими институтами. Между тем, именно такие модели являются в высшей степени важными в современной политической философии и философии и социологии науки.

Модель подобного рода предлагает Ф. Китчер⁷⁹, цель которой состоит в том, чтобы показать, как возможно взаимодействие политических институтов демократического общества и элитных институтов науки. При этом взаимодействие должно быть взаимовыгодным, что достигается, по мысли Китчера только в рамках «вполне организованного» общества. Концепция такого общества была предложена Дж. Ролзом в его знаменитой работе «Теория справедливости»⁸⁰. «Теория справедливости Дж. Ролза представляет собой вариант старой идеи общественного договора, который достигается конфликтующими сторонами на основе четкой процедуры кооперативного поведения сторон. В качестве предложений, выдвигаемых сторонами, фигурируют «хорошо обдуманые» утверждения, которые и служат базисом в процессе достижения консенсуса. Именно такого рода процедуру имеет, видимо, в виду Китчер, когда вводит понятие группы «тщательно обдумывающих предложения мыслителей» (да-

⁷⁹ Цит. выше.

⁸⁰ Ролз Дж. Теория справедливости. – Изд-во НГУ, 1995.

лее «мыслителей»). Общий интерес мыслителей заключается в желании всем общего блага, вопреки эгоистичным интересам групп, которые представлены этими «мыслителями». Кроме этого, мыслителям свойственны образовательные интересы, реализация которых состоит в том, чтобы знакомить общую публику с наукой, ее достижениями и возможными приложениями. Общество, в котором взаимодействие институтов политических и институтов научных регулируется группой «мыслителей», называется Китчером «вполне-организованным» обществом.

Само по себе название этого общества не несет никакой информации, но люди, знакомые с теорией Ролза, немедленно понимают некоторые особенности того, какие условия наложены на работу группы «мыслителей». Самым главным условием является знаменитый «занавес неведения», за которым находятся «мыслители». Идея занавеса состоит в том, что участники соглашения, или общественного договора, не знают, кто они такие, и какие группы они представляют. В этих условиях они не знают, какого рода условия для них выгодны, и поэтому они принимают такие условия, которые были бы для них приемлемы в том случае, если они окажутся наиболее представителями наименее преуспевшей группы. Именно так, по мысли Ролза, преодолеваются эгоистичные интересы. Новизна подхода Ролза к проблеме общественного договора состоит в предложении математической модели процедуры достижения консенсуса. Примером, самым простым из серии примеров принятия решения, является дележ торта на равные части группой участников. Справедливый дележ получается в случае процедуры, согласно которой группой выбирается индивид, который делит торт на части, и получает свою долю последним. В этих условиях он будет вынужден делить торт на равные части, поскольку только в этом случае он имеет равные со всеми доли. В некотором смысле процедура такова, что приоткрывает «занавес неведения» тому, кто делит, показывая ему, что он может оказаться наименее преуспевшим из всей группы.

Понятие «занавес неведения» вызвало огромную полемику, поскольку идеальность этого понятия делает трудной его реализацию. В случае же проблемы соотношения демократических институтов и научных элит «занавес неведения» становится особенно трудным для реализации. Дело в том, что научные проекты сами по себе являются инновационными, и поэтому отчасти занавес неведения делается неэффективным в условия почти полной неопределенности. Но

в целом «мыслители» должны быть объективны в учете интересов других групп.

Заметим, что речь идет об учете интересов других групп в рамках все той же научной элиты, и здесь идеальные построения особенно опасны. Как выразился Д. Гринберг в недавней книге о науке и демократии, «демократия становится политикой, а истина – деньгами»⁸¹. В таких условиях идеальная конструкция «занавеса неведения» становится утопичной. Но это не единственный утопичный элемент в модели Китчера. Другим является подбор, или выбор, «мыслителей», готовых уважать интересы других групп, не говоря уже об интересах общей публики. Представители разных научных направлений на практике отстаивают интересы своих групп, используя весь арсенал приемов и методов, которые никак нельзя назвать джентльменскими, не говоря уже о «справедливости». В самом типичном случае это социально-дарвинистски понимаемая борьба за ресурсы.

Поскольку ресурсы общества являются в обычном случае ограниченными (Ролз называет типичный случай «скудными ресурсами»), «мыслители» должны предложить наиболее эффективное использование ресурсов. Существенным ограничением являются, по мысли Китчера, моральные и этические ограничения, которые должны ввести сами «мыслители». Это предложение также не слишком реализуемо, потому что по поводу этики, например, в генетических исследованиях, ведутся ожесточенные споры, которые вряд ли могут быть основой «хорошо обдуманного суждения» (терминология Ролза), которые и составляют содержание предложений «мыслителей».

Наконец, «мыслители» должны согласиться относительно возможных применений научных открытий. Все три перечисленных условия консенсуса в «вполне-организованном» обществе Китчера могут разрешить конфликт между демократическим способом принятия решения и элитарными решениями относительно знания, т.е. консенсуса в отношении социальных действий.

В настоящее время в философии науки существует весьма влиятельное направление, так называемое «социальное конструирование», согласно которому знание есть не результат поиска истины,

⁸¹ *Greenberg D. Science, Money, and Politics: Political Triumph and Ethical Erosion.* – University of Chicago Press, 1999.

а результат консенсуса сообщества относительно определенного вопроса⁸². Истина становится в этом смысле инструментом полезности, а не вопросом соответствия реальности. Такая прагматистская точка зрения нашло свое крайнее выражение у Р. Рорти, который объявляет науку (как и философию) некоторым видом «киббцирования», то есть, свободного разговора. Глобальные вопросы науки разрешаются на основе «разговора человечества»⁸³. Если же перейти от глобальных вопросов к более частным, тогда место «человечества» заменяет «сообщество» ученых, и при переходе к совсем уже конкретным вопросам, «сообщество ученых» может уступить место просто обществу. Социальное конструирование означает, что каждый человек волен иметь свое знание законов природы, и все, что требуется для продвижения знания, это нахождение консенсуса. В этом случае исчезает различие между «научной элитой» и «демократическим большинством». Таким образом, мы имеем радикальное разрешение противоречий между наукой и демократией. Беда только в том, что это действительно слишком радикальное решение, которое ликвидирует реальные противоречия между мнением демократического большинства и знаниями научной элиты. Классическим, часто цитируемым примером подобного рода, является то, что большинство американского населения не верит в эволюционную теорию Дарвина, которую научное сообщество считает одним из краеугольных камней научного мировоззрения.

Социальное конструирование не признается большинством представителей науки в качестве даже приблизительно правильной картины того, что имеет место, поскольку практически все они являются реалистами в философском смысле этого термина, признавая существование внешней реальности, тайны которой ими открываются. Но дело в том, что апелляция к одной лишь объективной истине о природе, которая интересует научную элиту, мало что объясняет общей публике. Применение научных знаний в социальной жизни является гораздо более сильным аргументом. Но между двумя этими позициями простирается огромная дистанция, которая и должна быть преодолена на основе деятельности демократических институтов. Действительно, если взять хрестоматийный пример

⁸² См. по этому поводу: *Hacking Ian. The Social Construction of What? – Harvard University Press, 2000.*

⁸³ *Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1997.*

с открытием генетического кода, тогда различие между двумя позициями можно проиллюстрировать следующим образом. Химическая структура ДНК и ее роль в производстве белков – это материальные факты, но описание ДНК как всемогущей молекулы, которая реплицирует себя и создает нам тело – это не описание природы, а идеологическое преподнесение фактов. Значимость этого описания состоит в том, что оно ведет к взгляду на изменение ДНК для лечения болезней и социальных зол. Таким образом, эпистемологические проблемы о природе истины перерастают в политические проблемы финансирования науки.

Но как и во всех финансовых проблемах, возникают принципиальные вопросы о системе распределения благ. Стандартный вопрос о такого рода распределении состоит в том, можно ли ожидать от этих мыслителей того, что они подавят свои индивидуальные корыстные интересы и придут к консенсусу? Далее, как прийти к согласию относительно важности направлений, или, говоря современным языком, относительно приоритетных направлений? Неоднородная структура вполне-упорядоченного общества вряд ли удовлетворяет этим требованиям.

Дело в том, что здесь есть реальное противоречие: с точки зрения идеологии элитного научного сообщества поиски истины являются фундаментальной целью науки, а вот с точки зрения демократических институтов общества предпочтительной является идеология социального конструирования. В данной работе мы не останавливаемся на том обстоятельстве, что система финансирования науки существенно зависит от принятой обществом точки зрения. Научное сообщество выработало систему экспертных оценок, которая остается оценками элиты, а не всего общества.

Ясно, что взаимодействие двух классов институтов требует увеличения числа политиков и администраторов в научной элите. В какой-то момент развития науки происходит слияние представителей демократических институтов общества и политиков от науки. Вполне возможно, что такое слияние будет более реалистичной моделью, чем модель вполне-упорядоченного общества Ф. Китчера. По крайней мере, научная практика нынешней России говорит в пользу именно такой модели, детали которой предполагается изложить в следующих публикациях.

Публичные интеллектуалы и научное сообщество

Наше общество переживает странные времена. Масштабные реформы, задевающие все слои общества, не обременены какими-либо идеями, которые могли бы подсказать, для чего эти реформы и чем они могут кончиться. Идеи, которые выжили в эпоху масштабного реформирования, не имеют ни малейшего шанса быть реализованными. Какие-либо попытки обнаружить порядок в происходящем в России, наталкиваются не просто на «голый эмпиризм» общественной практики, но и на стену глухого равнодушия и отсутствия всякого интереса к политической теории. В этом отношении постмодернизм как отказ от всех канонов понимания истории человеческого общества восторжествовал в самом плоском, удручающем смысле. На ум приходит знаменитая «прагматическая санкция», цитировавшаяся одним из героев Я. Гашека: «Пусть было, как было, ведь как-нибудь да было, никогда так не было, чтобы никак не было». Вот «как-нибудь» оно и есть, и не больше.

Модернизм преподнес нам совсем другое видение соотношения теории и политической практики. Политические программы вовсе не были пустым звуком с точки зрения высокой теории. Американская революция в лице ее «отцов» была пронизана идеями политической философии Дж. Локка. Французская революция была подготовлена Французским Просвещением. В конце концов, «Манифест коммунистической партии» был впоследствии подкреплён «Капиталом». Все эти хрестоматийные примеры, которые и приводить как-то неудобно в силу их заезженности, ныне подверглись постмодернистской атаке герменевтического толка, суть которой состоит в том, что связь политики с теоретической мыслью неправильно истолкована, что сами тексты неправильно поняты, что политическая практика лишь маскирует свои корыстные интересы философскими трактатами, и т.д. и т.п.

Между тем, одним из важнейших факторов взаимодействия политической теории и практики являлась фигура публичного интеллектуала. При всей расплывчатости этого понятия, следует признать, что публичный интеллектуал апеллирует к теоретическим схемам, умело применяя их к реалиям повседневности. Помимо этого, он обращается к аргументам, взывает к разуму, использует исторический опыт, и преисполнен скепсиса в отношении власти. В определенной

степени публичный интеллектual напоминает то, что за рубежом отмечают как специфически русское явление, а именно, интеллигенцию. Но конечно же эти два понятия не совпадают. Но одно надо допустить – ослабление роли интеллигенции (или ее аналогов) в социально-политической жизни общества ослабляет позиции и вес публичных интеллектualов. Во времена падения интереса к вещам интеллектuallyными аргументы перестают убеждать.

Как следствие, фигура публичного интеллектuala, стала постепенно сходить с политической арены. Мало кого сейчас можно увлечь аргументами или вообще свободной мыслью. «Публичные люди» предпочитают конформизм самой крайней степени. Люди, претендующие на репутацию «последнего интеллигента России», обязательно делают реверансы в пользу религии, да еще и с выражением глубочайшего уважения к церкви. Люди, стоящие в верхних строчках политических рейтингов, соотносят свои взгляды даже не с мыслями, а с действиями президента государства, поскольку мысли его неизвестны. Политические партии предпочитают устами своих лидеров говорить банальности, отнюдь не отягощенные ссылками на чтение каких-то теоретических трудов.

К тому же вся «политическая мысль» подверглась карнавализации до такой степени, что абсурдно ожидать вообще что-либо серьезное от власть имущих. Присутствие политических шутов при дворе снижает его интеллектuallyную атмосферу «ниже плинтуса», поскольку, по общему убеждению, власть обращена к народу, а не к узкому кругу умников и грамотеев. Они, эти умники и грамотеи, сделали свое дело и должны знать свое место. Но именно они могут знать что-то такое, что позволит понять подспудную теоретическую мысль, если таковая вообще есть, в полной сумятице действий практических политиков. Именно публичные интеллектualы крайне потребны в России сегодня, несмотря на полную дискредитацию интеллигенции.

Комплексные процессы трансформации социальных и политических практик, институтов, дискурсов и научных парадигм происходящие в России конца XX – начала XXI вв. привели к формированию новой ситуации познания в общественных науках. Начатые как целенаправленная попытка перестройки социально-политической, экономической, культурной сфер общества, с течением времени они приобрели характер во многом хаотических преобразований. Но цели, которые вначале казались относительно легко достижимыми, не бы-

ли достигнуты. Социальные феномены и дискурсы, считавшиеся первоначально временными издержками процесса трансформации, обрели все признаки постоянного явления. Более того, социальные и культурные явления, возрождение которых еще два десятилетия назад казалось немыслимым (поскольку они относились, как считалось, к давно преодоленному прошлому), вновь стали актуальными. При этом фундаментальные внутренние трансформации российского общества происходят на фоне более глобальных социальных процессов, связанных с эрозией современных наций-государств и переходом к информационному обществу.

На пространстве казавшегося почти социально однородным советского общества стремительно выросли разительно различающиеся по уровню жизни, доходов, по положению в социальной структуре социальные группы. Снова наполнились смыслом понятия «элиты» и «массы». Политика из рутинного и не афишируемого верха занятия превратилась в занятие публичное и рискованное. «Парламентаризм», «президентство», «партии», «предвыборная борьба», «лоббизм» и еще многие другие понятия стали относиться не только к полумифической западной жизни, а к российской, постсоветской реальности. Привычные ранее категории описания, парадигмы, теории внезапно стали нерелевантными в изменившемся мире. Принципиально изменилась структура социума и социальных институтов, а привычные ранее социальные практики и институты перестали работать в новых обстоятельствах

Крушение прежних идеологических схем большого масштаба привело к нивелированию теоретических ценностей вообще. В определенном смысле это проявление общей мировой тенденции: теория стала цениться меньше практики. Правда, такая лапидарная формулировка вряд ли может прояснить ситуацию со стремительным падением интереса к науке в постиндустриальном обществе. Одно из объяснений состоит в том, что наука достигла такого этапа своего развития, когда ее технологические применения гораздо более интересны, чем сама наука. Интересный тезис о «конце науки» как рациональном предприятии, выказанный Дж. Хорганом⁸⁴, содержит подозрение, что основные открытия фундаментального характера уже сделаны, и что наука в значительной степени перешла в стадию так называемой «иронической науки». Эта последняя существенно лишена тех стан-

⁸⁴ Хорган Дж. Конец науки. – СПб., 2002.

дартов, которые ей были присущи со времени возникновения, в частности, стандарта воспроизводимости результатов. Нынешние абстрактные результаты, представляющие по настоящему «научный» интерес, имеют дело с такими теориями как «суперструны», эмпирическое подтверждение которых находится далеко за пределами возможностей не только нынешней технологии, но и технологии будущего. Стандартная космологическая теория «Большого Взрыва», по вполне понятным причинам, вряд ли может получить прямое эмпирическое подтверждение. Эволюционные теории подвержены той же атмосфере относительной спекулятивности. Именно эта спекулятивность частично ответственна за падение интереса к науке как таковой. Другой причиной, наверное, является стоимость научных предприятий и практически универсальное требование эффективности вложений в науку.

При таком падении престижа теории важным является консерватизм институционального воплощения науки, то есть, социальных институтов ее функционирования. Возникает вопрос, насколько система российской науки была институционально подготовлена к несчастливому для себя повороту событий. Основной тезис данной статьи состоит в том, что отсутствие тех самых публичных интеллектуалов в России сильнейшим образом отразилось на возможности научного сообщества защищать себя.

Рассмотрим вопрос о том, каким образом научный истеблишмент прошлого сумел стать одной из «элит» нынешней России. Как уже упоминалось выше Г. Попов, видный политический деятель демократического перехода, писал в одном из своих очерков, что научная интеллигенция в прошлом заключила с властью контракт такого рода: мы лояльны власти, а взамен дайте нам заниматься наукой. В целом, несмотря на периодические «разгромные» набегии власти на науку, в прошлом этот контракт соблюдался, как в материальном отношении, так и в области ценностных ориентаций. Наука имела престиж, ученые и преподаватели имели не такую уж плохую оплату своего труда. Но этот контракт потерял всякую силу в новых условиях.

Вообще-то менять адрес своей лояльности не является чем-то неожиданным для «служивых людей». Именно, служивых, потому что контракт ученых с властью делал этих ученых служащими государства. Это не изобретение последнего времени – следует вспомнить в этой связи опыт Пруссии. Однако именно Пруссия сделала на этом пути поразительные успехи. Как свидетельствует видный английский

историк, «Пруссия занимала (перед Первой мировой войной) лидирующее положение в мире по части профессионально-технического образования». Следует помнить и том, что немцам было присуще и рациональное обращение с учеными. Американский историк Б. Такман объясняет взлет науки в 20-е годы XX в. в веймаровской Германии тем обстоятельством, что патриотически настроенные интеллигенты Франции ушли на войну, в то время как ученые Германии были забронированы, и тем самым, сохранены для будущего⁸⁵. Другое дело, что пришедшие в Германии к власти нацисты отошли от традиций XIX и начала XX веков поддержки науки на государственном уровне, и сотрудничество военных и ученых было минимальным до самого конца 1943 г., когда немецкую науку призвали на помощь во время продолжавшейся Битвы за Атлантику⁸⁶.

Создание научной элиты в СССР, лояльной новой власти, было сложным процессом, который с самого начала публичного интеллектуала поменял на чудака-ученого. Видимо, чудаковатый интеллигент был тем приемлемым для власти типом человека, политические убеждения которого не воспринимались всерьез. И если фигура Тимирязева в таком фильме как «Депутат Балтики» была, возможно, утрированной, то фигура И.П. Павлова и в реальности как нельзя лучше подходила для предписанного образа ничего не смыслящего в политике человека, но лояльного власти. Определенная индифферентность подобного рода видна уже в «Моих воспоминаниях» А.Н. Крылова, математика и кораблестроителя. А у П. Капицы, кстати его зятя, эта позиция перерастает в вынужденный патриотизм, после его возвращения из Англии.

На определенном этапе формирование научной элиты доверяется самому научному сообществу, в частности путем формирования новой среды членов Академии наук СССР. При этом, естественно, был обозначен некоторый рубеж старого и нового поколений, проявившийся в борьбе старых и новых научных школ. Типичной в этом отношении была ситуация вокруг известного математика Н. Лузина. В этом контексте публичный интеллектуал-ученый был не просто нереальной фигурой в силу жесткой политической ортодоксии, но и в силу того, что теперь все «идейные» проблемы стали

⁸⁵ Такман Б. Августовские пушки. – М., 1976.

⁸⁶ Дейтон Л. Вторая Мировая: Ошибки, промахи, потери. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. – С. 75.

внутренними, и окончательные решения по ним выносились сверху. История возвышения Г.Д. Лысенко есть пример подобного рода трансформации.

Историки науки признают, что представители нового научного истеблишмента послевоенного периода были людьми совсем другого рода, нежели предыдущий тип чудаковатого, не сразу принявшего советскую власть ученого. Новое поколение было психологически сформировано конформистским образом, тем более, что на кону стояли не какие-то там интеллектуальные споры о ценностях, а жизнь самого человека и его близких. К тому же Великая Отечественная война чрезвычайно усилила патриотические настроения, так что пацифизм и диссидентство А. Сахарова большинству его собратьев по цеху казалось в лучшем случае донкихотством. Между тем, позицию самого А. Сахарова можно ныне расценить и так, что он стремился быть именно публичным интеллектуалом, который имеет право высказываться по общечеловеческим вопросам.

Лояльность режиму и соответствующий ей патриотизм ученых был четко очерчен Железным занавесом, и термин «советская школа чего-то там...» вполне устраивала многих представителей научного сообщества, обособляя их в особую категорию. Пользуясь спортивной терминологией, можно сказать, что они были игроками не одной из многих команд, а представляли одну из главных таких команд. Подобного рода «патриотизм» оказался недолговечным, как это показал почти массовый исход ученых из России в 90-х гг.

Но зарубежные публичные интеллектуалы из ученой среды, отвечавшие марксистским критериям, были в почете. Джон Бернал, английский ученый в области естественных наук, издавался и цитировался на русском. А вот Бертран Рассел, противник марксизма, будучи публичным интеллектуалом от науки *par excellence*, критиковался в СССР то ожесточенно, то сдержанно, и даже с оттенком снисходительной наглости. Вообще, шла селекция тех ученых, кто сочувственно относился к идеологии СССР, и именно они объявлялись представителями «прогрессивного человечества». Политические лозунги вроде «борьбы за мир» были столь расплывчаты, что под рубрику «борцов» подходили очень многие.

Безусловно, трудно винить ученых в отсутствии гражданского мужества, поскольку они вряд ли могли в условиях жесточайшего тоталитарного строя иметь какую-либо позицию вообще. Вмешательство партийных структур во все стороны общественной и науч-

ной жизни в зародыше пресекало какую-либо возможность появления публичных интеллектуалов. Напрашиваются параллели с другим тоталитарным режимом, а именно, гитлеровской Германией, параллели, которые уже давно используются историками и политологами. Недавно опубликованная беллетристическая работа Х. Вольпи «В поисках Клингзора»⁸⁷ дает превосходное представление о вмешательстве партийных и государственных структур в работу ученых с приходом нацистов к власти. При этом создается впечатление, что оно было меньшим, чем в СССР. Это вполне совпадает с тезисом, что в СССР ученые были внутренне и внешне лояльны к власти, в то время как в Германии автономия университетов сыграла несколько демпфирующую роль. И если опала С. Капицы не представляет собой особых загадок, то роль В. Гейзенберга в попытках создать атомную бомбу до сих пор остается предметом догадок и дискуссий. Ясно, что подобного рода примеры снижают накал дискуссии о публичных интеллектуалах до обсуждения мотивов отношения власти и мыслителя. И тем не менее, именно здесь мы должны искать разгадку печального феномена в нынешней России, а именно, отсутствия в среде ученых публичных интеллектуалов.

Быть публичным интеллектуалом – значит быть более или менее независимым от власти. Но оппозиция подобного рода может иметь характер неприятия личностей, или же неприятия политических правящих структур. Как это ни странно, в СССР скрытое неприятие власти в среде ученых часто сочеталось с верой в вождей этой власти. «В круге первом» А. Солженицына эта странность описана досконально. Но даже сейчас эта «странность» проявляет себя в том, что даже наиболее отчаянные головы из академического истеблишмента редко решаются на критику власти в ее персонифицированной ипостаси. Это можно рассматривать и как результат того самого соглашения между учеными и властью, о котором говорилось ранее, но скорее это проявление апатии, вежливая форма которой представима как нежелание выходить за рамки своей профессиональной деятельности. Как нам кажется, такая скрытая, а иногда и явная мотивация исключает возможность быть публичным интеллектуалом, который намеренно выходит за пределы своей «компетенции».

Отсутствие в российском научном сообществе публичных интеллектуалов в значительной степени объясняется и определенной

⁸⁷ Вольпи Х. В поисках Клингзора. – М.: Транзиткнига, 2006.

автономией науки, да и самого научного сообщества. Внутри этого сообщества ведутся порой ожесточенные споры относительно самых разных вопросов, но это «внутренние» споры. Во-первых, мало кто в современном интеллектуальном истеблишменте России понимает хоть что-то в науке, и поэтому вынесение вовне проблем научной политики в ее наиболее общих выражениях, если оно и имеет место, не вызывает особого резонанса. Во-вторых, смена идеологии в России привела к тому, что образ «научного мировоззрения», каковым себя считал советский марксизм, был вытеснен «духовностью» религиозного толка. Пока рано говорить о наступлении в России фундаментализма, но наука здесь явно уступила место религии. Власть имущим приятнее говорить со священнослужителями, чем с учеными, а священнослужители охотно идут в публичные интеллектуалы.

Побочным, довольно забавным, эффектом такой ситуации является попытка бороться с суевериями, которые в нынешней России распространены чрезвычайно широко. Церковь, претендующая на ведущую роль в духовной культуре нынешней России, естественно осуждает тягу населения к суевериям и оккультным идеям и практикам, но возражения жиддутся опять-таки на веру, но уже в «канонические» религиозные идеи и практики. Научные же круги борются с лженаукой, которую в определенной степени также можно считать суевериями, несколько более интеллектуального типа. По большому счету, любое разоблачение суеверий должно быть основано на рациональной аргументации, и это относится не только к сфере интеллектуальных заблуждений, но и к сфере религиозных практик. Однако «политическая корректность» научных кругов, за исключением нескольких фигур, предотвращает вторжение рациональной аргументации в дела религиозные. В этой связи поневоле вспоминается знаменитый язвительный афоризм относительно лояльности теоретического мышления «высшим» установкам: «Философия есть служанка теологии и о душе мыслит благородно». Таким образом, публичный интеллектуал, даже если он и появляется в российском научном сообществе, предпочитает не задевать церковь. Такое сужение поля деятельности публичного интеллектуала никак не способствует становлению общественного института, рожденного Просвещением, лозунгом которого была критика всех интеллектуальных, политических и социальных устоев.

А. Макинтайр в своей книге «После добродетели» продемонстрировал провал программы Просвещения, а именно рационального

обоснования практик, принятых в современном либеральном обществе⁸⁸. Правда, он не указал, означает ли это возврат к «старым» практикам, или же мы можем ожидать появления новых общественных практик. Если справедлив первый вариант, тогда фигура публичного интеллектуала в научном сообществе, критика существующих устоев и приверженца рационального мышления, попросту нереальна. Вторая возможность более оптимистична, поскольку позволяет надеяться на то, что рациональное мышление займет определенное место в обществе. Возвращаясь к ситуации в России, трудно отдать предпочтение любой из этих двух возможностей. Нами были названы несколько исторически обусловленных причин отсутствия в России публичных интеллектуалов «от науки». Вообще понятие публичного интеллектуала в широком смысле этого слова весьма трудно применимо к нынешней России, и странно было бы, если оно было в ходу в научной среде. В политической жизни нивелировка интеллектуальных стандартов не дает никаких шансов говорить о вещах умных и важных. Низведение науки до такого общественно-го статуса, когда дальнейшее «скольжение» в этом направлении ставит под сомнение само существование научного сообщества, мнение которого должно быть востребовано государством, не дает научному сообществу преимуществ перед другими сферами общественной жизни. Между тем, по определению, публичный интеллектуал взывает к разуму и пониманию ценностей. Но в эпоху торжества массовых коммуникаций такие призывы вряд ли могут быть успешными. Таким образом, перспективы появления в научной среде России публичных интеллектуалов, возмутителей общественного спокойствия, весьма неясны. Остается надеяться на резкое изменение общественного климата в России в отношении науки. Парадоксально, но такого изменения ждать нереально, если научное сообщество не обретет в себе публичных интеллектуалов, подготавливающих такой поворот.

Наука, рационализм и политика

В последнее время в печати развернулась полемика относительно статуса и будущего Академии Наук России. Радикальные предложения противников Академии весьма разнообразны. Некото-

⁸⁸ *Макинтайр А.* После добродетели. – М.: Академический проект, 2000.

рые настаивают на полной ее ликвидации (как это сделано, например, в ряде стран Ближнего Зарубежья). Другие предлагают предоставить Академию ее собственной судьбе в условиях жесткого свободного рынка. Третьи настаивают на смене приоритетов в финансировании государством науки (отдавая предпочтение университетам), и т.д. Лейтмотивом всех подобного рода предложений является твердое убеждение в том, что нынешнее положение дел с РАН является неудовлетворительным, и в любом случае, эта организация нуждается в реформировании.

Спектр противников Академии Наук России также весьма разнообразен, начиная от анонимов, которые по каким-то причинам не хотят раскрывать своего авторства в столь радикальных предложениях, и кончая людьми, высказывающими откровенное недовольство выделенным положением РАН. Мотивы людей, выступающих против РАН в ее нынешнем состоянии, многообразны и психологически довольно понятны. Новое поколение элит российского общества, обладающих большими политическими и финансовыми возможностями, отнюдь не исповедует ценностей научного сообщества, олицетворением которых, по предположению, является РАН. Здесь же присутствует и недовольство людей, в той или иной степени испытывающих дискомфорт от того, что лишены статуса «избранных», людей, усматривающих монополизм РАН во многих аспектах научной и околонаучной жизни – от государственной поддержки до присуждения степеней и званий, наконец, людей, апеллирующих к пониманию новой роли науки в свободном обществе. Все эти аргументы против Академии Наук России представлены, например, в недавнем интервью бывшего министра науки Б. Салтыкова («Независимая газета» от 16.02.2001 г.).

Но даже допуская, что работа и внутренняя жизнь академических структур небезупречны, и что многие упреки в адрес Академии Наук справедливы, в конечном счете, надо дать себе отчет в том, что в России, в силу исторических традиций, наука была сосредоточена в Академии Наук, и при атаках на РАН подлинной мишенью остается все-таки наука в целом.

В данном разделе имеет смысл обратиться только к последнему соображению, оставив в стороне все вопросы, связанные с психологией. Кажется, что в общем-то ситуация является довольно серьезной, и подозрения о том, что атака на РАН является «политически заказанной», могут оказаться вполне обоснованными. В этом случае

традиционная апелляция к технологической пользе науки не окажется эффективной, поскольку противники РАН могут указать (и указывают) на западный опыт. И если РАН, которая трактуется ее противниками как «замкнутое сообщество» (в противовес «открытым обществам»), не найдет новых методов и аргументов защиты интересов научного сообщества в существующей ныне форме, РАН может встретиться со значительными трудностями. Главная трудность заключается, конечно же, в контакте с гражданским обществом, с «общей публикой», чьи чаяния с тем или иным успехом выражают элиты; преодоление трудностей подобного рода состоит в том, чтобы убедить публику в полезности и нужности науки не только в узко прагматическом смысле. И тут я высказываю второе соображение. Кажется, что обычный анализ трудностей, с которыми сталкивается наука в России, упускает ряд важных обстоятельств. Прежде всего, следует иметь в виду, что противники РАН апеллируют к западному опыту, и в этом смысле важно посмотреть, нет ли там тенденций потери наукой своего престижного положения, и если это так, то какого рода факторы являются доминирующими.

Два обстоятельства представляются важными. Одно касается ценностей науки, в частности ее главной ценности – «рациональности» научного сообщества. Именно она подвергается атакам со стороны критиков науки. И поскольку другой ипостасью рациональности является «идол» современного общества – эффективность, вопрос о рациональности и иррационализме имеет большое значение в формировании отношения общества к науке. Второе обстоятельство касается связи политики и концепций понимания науки как целого. В основе дискуссий о структуре науки, казалось бы весьма далеких от практики работающего научного сообщества и технологии, лежат весьма конкретные политические мотивы, в значительной степени определяющие все то же отношение общества к науке. Именно эти два обстоятельства стали фокусом мнений по поводу статуса науки в западном обществе в последние 7–8 лет, и памятуя об апелляции противников Академии к западному опыту, что именно эта полемика является некоторого рода идейной основой нападков на науку уже в России. И как ни странно, социологи науки и науковеды в нашей стране не уделяют этому вопросу достаточного внимания, полагая его чисто внутренним делом реформируемого общества.

Между тем, отношения науки, технологии и общества находятся в центре внимания университетских (или, как принято говорить там, академических кругов). В крупнейших научных центрах Америки и Европы бушует необъявленная война, получившая название «Научных войн». Предмет ожесточенных споров – статус науки в современном индустриальном обществе, что кажется парадоксальным, поскольку именно научные достижения лежат в основе технологических достижений. Тем не менее, социальное положение науки не кажется безоблачным: например, вера в чудеса геной инженерии является повсеместной, но не менее распространен и скепсис относительно ее долговременных последствий. Фундаментальная наука подвержена угрозе в силу не только недостатка экономических ресурсов, но и в силу ряда социально-политических причин, которые кажутся общей публике настолько абстрактными, что вряд ли стоит говорить о них. Но вдумчивый анализ показывает, что огромное значение имеет то обстоятельство, насколько действительны «рациональные» силы в обществе. Стандарты рациональности современного общества устанавливает наука, но надо признать, что приверженность общества науке совсем не рациональна, и в значительной степени подвержена идеологии. Недаром во времена недавнего радикального сокращения ассигнований на фундаментальную науку в Великобритании правительством М. Тэтчер газета «Таймс» опубликовала большую статью с портретами четырех виднейших философов – сэра Карла Поппера, Томаса Куна, Имре Лакатоса и Поля Фейерабенда, обвиняя их в падении престижа науки в британском общественном мнении. Все четыре злодея-философа причастны к обоснованию так называемого «релятивизма», согласно которому наука не имеет приоритета в установлении рациональности, и сама по себе не более рациональна, чем любой вид человеческой деятельности. Низвержение науки с пьедестала, по мнению многих, стало причиной резкого охлаждения общества к науке. Трудно сказать, насколько вердикт «Таймс» справедлив, но философы, иррационализм которых действительно весьма повлиял на взгляды на науку, инициировали и более глубокие процессы взаимоотношения общества и науки.

Дело совсем не в том, что общество стало враждебным или безразличным к науке. С точки зрения противников выделенного положения науки, она действительно сошла с пьедестала, и занимает теперь совсем иное место в западной культуре. Но не следует упрощать ситуацию, как это часто делают сторонники науки, и утверждать, что

неудовлетворенность наукой должна быть обязательно результатом невежества. Попытка избежать крайностей в таком сложном вопросе и привело к «научным войнам».

Инициаторами «научных войн» были представители нового направления в истории, философии и социологии науки, известного под названием «Исследование науки» – Science Studies or Science, Technology and Society (по-русски это скорее «науковедение», только на русском языке этот термин имеет позитивную коннотацию, а здесь – скорее отрицательную). Типичным, а может быть, даже наиболее ярким представителем этого направления является модный социолог, профессор университета Durham (Великобритания) американец Стив Фуллер. В Америке, с ее развитыми институтами гражданского общества, критика устоявшихся взглядов о природе науки со стороны этого направления (назовем его ИН – исследование науки) была поддержана многими радикальными течениями в академическом мире – постмодернистами, феминистами, мультикультуралистами. Все эти направления скорее принадлежат гуманитарной науке, и, казалось бы, они не окажут никакого влияния на ситуацию с фундаментальной наукой. Но случилось так, что аргументы, используемые представителями ИН, начали активно обсуждаться на управленческих форумах, где принимаются решения об урезании дорогих научных бюджетов, а также об уменьшении набора студентов на естественные факультеты. А это было уже совсем другое дело, и в ответ был дан залп со стороны представителей фундаментальной науки, а именно, публикацией в 1992 г. двух научно-популярных книг, одна из которых принадлежит американскому физика С. Вайнбергу (*Dreams of a Final Theory*), а другая – британскому биологу Л. Вольперту (*The Unnatural Nature of Science*). Затем последовали публикация обстоятельной книги Поля Гросса и Нормана Левита *Higher Superstition*. В этих книгах был подвергнут критике источник цинизма НИ относительно возможности науки в решении мировых проблем. Быть может, следует привести типичный образец подобного «цинизма», являющегося средством в «научных войнах». Представители НИ приветствовали (а может, и приложили руку к этому) решение Конгресса США прекратить финансирование суперколлайдера в Техасе, говоря, что трата 10 миллиардов долларов никак не оправдана необходимостью выполнения физикой ее «исторической миссии». Надо также заметить, что аргументация сторонников НИ отнюдь не ограничена, так сказать, гуманитарными аргументами о рациональности или иррационализме.

Например, профессор Линдли в 1993 г. высказал весьма типичное для НИ суждение о том, что для физических теорий было бы эффективнее в терминах затрат проверять теории компьютерной симуляцией, чем с помощью все больших ускорителей. И зря, говорит он, физики считают это попыткой лишить их дополнительных денег для исследования природы реальности. Ведь, в конце концов, ускорители сами по себе являются устройствами по симуляции первых миллисекунд существования вселенной после «Большого Взрыва», но были предложены в качестве такого инструмента полвека назад, а теперь пора думать о новых подходах, имея в виду и интересы общества. Для этого требуется соответствующий сдвиг в методологии, предполагающий, в свою очередь, соответствующее компьютерное умение со стороны физиков.

Являются ли эти обвинения обоснованными? Дело в том, что исследователи показали, часто в деталях, что когда наука рассматривается как конкретная человеческая практика, она проявляет все те особенности, которые можно ожидать от других социальных, экономических и политических институтов. Больше того, они говорили, что трудно специфицировать эмпирически отличительно «рациональный», «объективный» или «ориентированный на истину» характер научного ума. Дело не в том, что ученые менее рациональны, чем остальное человечество, а в том, что они не более рациональны. Рациональность науки проявляется в специфической социальной организации (что позволяет сконцентрироваться).

И мы обнаруживаем, что наука не является четко определенной деятельностью. Скорее, это много видов деятельности, которые больше связаны с социальным контекстом, нежели друг с другом. На любом этапе своей истории наука могла бы идти в самых разных направлениях. Те немногие пути, которые действительно выбраны ею, выбраны благодаря сопутствующим политическим, экономическим и культурным факторам. Тут нет ничего уникально «рационального», «объективного», или «ориентированного на истину», что присуще так называемому «научному исследованию». Не делайте ошибки: ученые не являются менее рациональными, чем остальное человечество; скорее, эти ученые не более рациональны, чем остальное человечество. НИ исследователи в общем наделяют остальных людей весьма большим интеллектом.

Сила науки, похоже, покоится на трех столпах. Один из них – это отличительная социальная организация, которая позволяет в некото-

рые периоды сконцентрировать усилия на определенных направлениях, и критический дух работы, которые сейчас осуществляются в глобальном масштабе со значительными материальными ресурсами. Другой – солидарные политические усилия по применению результатов научных исследований во всех аспектах жизни общества. Наконец – это контроль, который ученые установили над изложением собственной истории. Прошлые заблуждения и неудачи остаются по большей части сокрытыми от общества, что приводит к приглаженной картине «прогресса», в других отношениях уклоняющегося от человеческих дел.

Конечно, эти тезисы вызывают споры, поскольку в некотором смысле «демитифицируют» науку. Но они также обращены к ученым, которые должны быть более скромными в своих претензиях, так чтобы публика не переоценивала того, что может сделать наука. Неудача науки в соответствии ее собственным ожиданиям в отношении себя принесла науке гораздо больший вред в ее отношениях с обществом, чем ей причинили НИ. НИ не имеют никакого отношения к исследованиям СПИДа, но НИ могут помочь ученым справиться с тем, почему публика чувствует себя разочарованной наукой.

НИ внезапно привлекли к себе внимание два года назад, когда неизвестный никому американский физик Алан Сокал опубликовал статью, предназначенную для проявления того, что он считает абсурдом в нашей области исследования. Дело осложняется тем, что он опубликовал свою статью в ведущем журнале по культурным исследованиям, и редакторы журнала не заметили, что это просто пародия. В результате огромного внимания, которое было привлечено уловкой Сокала – к которой большинство отнеслось с одобрением – стало ясно, что он нащупал самое больное место непонимания, окружающее НИ. Многие из непонимания является результатом извращенного чтения того, что пишут исследователи НИ.

Однако яблоко раздора есть простое предложение: работающие ученые представляют собой только долю тех, кто вносят вклад в науку. Другими вкладчиками являются не просто люди, которые используют науку так, как это намереваются делать более или менее ученые, такие как технологи, физики или управленцы. НИ рассматривает в этом качестве также людей, которые потребляют науку, читая *Джо физику*, смотря по телевизору *Завтра мира*, и те, кто ест обезжиренные пирожные. Там, где ученые привыкли видеть только возможность плохих каламбуров, а именно, технические термины «относи-

тельность», «неопределенность», «хаос», потребители науки видят в них глубокий культурный смысл.

В самом деле, без всех этих побочных метафор и полупонимания науки, которые пронизывают нашу культуру, вряд ли будет так, что наука будет находить поддержку экономического, политического и духовного толка. Научные исследования сами по себе представляют собой весьма специализированную активность, и весьма чужды большинству людей. Результаты этих исследований всегда смешанные, поскольку каждый прорыв сопровождается массой новых проблем. И все же люди продолжают верить – и, вероятно, такая ситуация будет в будущем. Но в любом случае неясно, что можно выиграть за счет игнорирования, сбрасывания со счетов или даже переобучения этих людей. Более оптимальная стратегия начинается с попытки понять их. И тут на сцену выходят НИ⁸⁹.

Литература

- Аристотель*. Поэтика // Соч. – Т. 4. – М., 1983.
- Бурбаки Н.* Архитектура математики. – М.: Знание, 1971.
- Вигнер Э.* Непостижимая эффективность математики в естественных науках // Этюды о симметрии. – М., 1978.
- Воеводина Л.Н.* Мифотворчество как феномен современной культуры // www.dissercat.com/content/mifotvorchestvo
- Вольпи Х.* В поисках Клингзора. – М.: Транзиткнига, 2006.
- Гильберт Д.* Основания геометрии. – М., 1948.
- Дейтон Л.* Вторая Мировая: Ошибки, промахи, потери. – М.: Эксмо-Пресс, 2000.
- Карнап Р.* Философские проблемы физики. – М., 1966.
- Карнап Р.* Эмпиризм, семантика, онтология // Значение и необходимость. – М., 1959.
- Куайн У.* С логической точки зрения. – М.: Канон+, 2010.
- Куайн У.* Слово и объект. – М.: Логос, 2000.
- Кун Т.* Природа научных революций. – М., 1993.

⁸⁹ Эти строки были написаны до исторических решений руководства РФ о фактической ликвидации Российской Академии Наук. Мы исследовали тонкие механизмы возможного ущемления науки. Как оказалось, власть имущим не требуются тонкие аргументы, и гордией узел противоречий между властью и свободомыслящими, хотя и лояльными власти учеными, был разрушен с коварством, демагогией и грубостью, присущими власти имущим.

- Лакатос И.* Доказательства и опровержения. – М., 1964.
- Латур Б.* Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. – 2002. – № 5–6 (35). – С. 211–242.
- Макинтайр А.* После добродетели. – М., 2000.
- Мур Дж.* Принципы этики. – М., 1984.
- Норфолк Л.* Словарь Ламприера. – М., 1991.
- Пенроуз Р.* Новый ум короля. – М., 2000.
- Пинчон Т.* Радуга тяготения. – М., 2012.
- Поппер К.* Открытое общество и его враги. – М. 1993. – Т. 2.
- Рассел Б.* История западной философии. – Новосибирск, 2007.
- Рассел Б.* Проблемы философии. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство. 2010.
- Рейхенбах Г.* Философия пространства и времени. – М., 1985.
- Ролз Дж.* Теория справедливости. – М., 2010.
- Рорти Р.* Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997.
- Сноу Ч.* Две культуры и научная революция // Портреты и размышления. – М., 1985.
- Стивенсон Н.* Криптономикон. – М.: АСТ, 2004.
- Такман Б.* Августовские пушки. – М., 1976.
- Фуко М.* Археология знания. – СПб., 2004.
- Фуко М.* Порядок вещей. – М., 1976.
- Хайдеггер М.* Наука и осмысление // www.gumer.info/bogoslov/buks/philos/heidegg.php
- Хорган Дж.* Конец науки. – СПб., 2002.
- Холл М.* Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии – М.: Астрель, 2004.
- Целищев В.В.* Логическая истина и эмпиризм. – М., URSS, 2010.
- Целищев В.В.* Априорные структуры как представление знания. – Новосибирск, 2013.
- Целищев В.В.* Логическая истина и эмпиризм. – М., 2010.
- Целищев В.В.* Философия математики. Новосибирск: Наука. 2002.
- Целищев В.В.* Философские проблемы семантики возможных миров. – М., 2010.
- Целищев В.В., Бессонов А.В.* Две интерпретации логических систем. – М.: URSS. 2010.
- Barbour J.* The End of Time. – Oxford University Press, 1999.
- Barrow J., Tipler F.* Anthropic Cosmological Principle. – Oxford University Press, 1988.
- Benacerraf P.* Mathematical Truth // The Philosophy of Mathematics / Ed. P. Benacerraf, H. Putnam. – N.Y., 2-nd ed. 1998a.

- Benacerraf P.* What Numbers Could not Be // The Philosophy of Mathematics / Ed. P. Benacerraf, H. Putnam. – N.Y., 2-nd ed. 1998b.
- Cavailles J.* Complete works of philosophy of sciences. – Paris, Hermann, 1994.
- Colyvan M.* The Indispensability of Mathematics. – Oxford University Press, 2001. – P. 103.
- Frayn M.* Copenhagen. – L., 1998.
- Fuller S.* Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Time. – Chicago University Press, 2000.
- Fuller S.* The Governance of Science: Ideology and the Future of Open Society. – Open University Press, 1999;
- Fuller S.* Science. – Open University Press, 1997.
- Galison P.* Structure of Crystal, Bucket of Dust // Circle Distorbed / Ed. Doxiadis A., Mazur B. – Princeton University Press, 2012. – P. 207–284.
- Greenberg D.* Science, Money, and Politics: Political Triumph and Ethical Erosion. – University of Chicago Press, 1999.
- Gruber T.R.* Toward Principles for the Design of Ontology used for Knowledge Sharing // International Journal of Human and Computer Studies. – 1995. – V. 43 (5/6). – P. 907–928.
- Hacking I.* What Mathematics Has Done to Some and Only Some Philosophers // Mathematics and Necessity / Ed. Smiley T. – Oxford University Press, 2000. – P. 83–138.
- Hacking I.* Michel Foucault's Immature Science // Nous. – 1979. – V. 13.
- Hacking Ian.* The Social Construction of What? – Harvard University Press, 2000.
- Hintikka J.* The Principles of Mathematics Revisited. – Oxford University Press, 2004.
- Hintikka J., Halonen I.* Semantics and Pragmatics for Why-questions // Journal of Philosophy. – 1995. – V. XCII, No. 12. – P. 636–657.
- Kitcher P.* Science, Truth, and the Democracy. – Oxford University Press. – 214 p.
- MacCorduck P.* Machine Who Think. – Natick, MA: A K Peters, Ltd., 2004.
- Nagel E.* Logic without Ontology // The Philosophy of Mathematics / Ed. Benacerraf P., Putnam H. – N.Y., 1964.
- Nozick R.* Philosophical Explanations. – N.Y., 1981.
- Pagels H.* The Dreams of Reason. – N.Y., 1988.
- Parsons Ch.* Mathematical Thoughts and Its Objects. – Cambridge University Press, 2008.
- Pearce D.* False Prison. – Cambridge University Press, 1987.
- Pynchon T.* Against the Day. – N.Y., 2007.
- Quine W.V.O.* Ontological Relativity and Other Essays. – N.Y., 1970.
- Rzhetsky A., Evans J.* War of Ontology Worlds: Mathematics, Computer Code, or Esperanto? // PLoS Comput Biol. 2011 September; 7(9): e1002191. Published online 2011 September 29. doi: 10.1371/journal.pcbi.1002191
- Stove V.* Popper and After: Four Modern Irrationalists. – N.Y.: Pergamon Press, 1982.

Tasic V. *Mathematics and the Roots of Postmodern Thought.* – Oxford University Press, 2001

Tselishchev V. *Mathematical Intuition and Hilbert's Minimal Philosophy* // 23
World Philosophical Congress, Athens, 2013.

Глава 5

СОЦИАЛЬНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

Последние 30 лет существенным фактором изменения форм социальных взаимодействий и, до не которой степени, содержания конкретных форм общественных отношений стало экстенсивное развитие средств электронных коммуникаций: *сети Интернет, систем сотовой связи, геопозиционирования* и различных программных продуктов, реализующих возможности этих технических систем для различных человеческих потребностей. Эти годы можно назвать годами становления *цифровой эпохи* в истории человечества. Интернет в большей части мира уже стал неотъемлемой частью общественной жизни и продолжает захватывать все большие и большие сферы общественной деятельности и определять конкретные формы социальных явлений. Этот процесс вызывает определенные трудности в сфере морально-этической оценки вызываемых социальных феноменов, в понимании их природы с точки зрения норм права, в прогнозе баланса позитивных и негативных последствий их становления. Представляется возможным описать содержание этих феноменов, оценить степень их влияние в глобальном и национальном масштабах и попытаться понять, *являются ли эти феномены принципиально новыми данностями общественной жизни или же превращенными формами вполне привычных и понятных форм социальной жизни*. Последняя задача представляется особенно актуальной, по той простой причине, что потребность в новых парадигмах социального знания имеет в качестве своего источника не столько необходимость в создании более совершенной и эффективной теории управления общественными процессами, сколько в стремлении совладать с теми малопонятными явлениями и процессами нашего времени, которые, порой, ввергают в смятение не только ученых, но и власти. Иными словами, наиболее фундаментальным представляется следующий вопрос: *являются ли феномены, появившиеся в результате массового внедрения телекоммуникационных систем новыми по своей социальной природе, тре-*

бующей новой теории социальной коммуникации или нет, и общественные науки способны объяснить эти явления с помощью существующих теоретических инструментов? Давайте рассмотрим эту феноменальную специфику более детально.

Риторика ненависти

Проявления радикализма в высказываниях (личных, политических, религиозных, национальных, культурных, эстетических, научных и т.п.), использование оскорблений и выражение своего крайне негативного отношения к оппоненту с использованием аргументов к личности является явлением древним, настолько же древним, как сам человеческий язык. В определенные исторические периоды (острых социальных конфликтов) такая риторика, по тем или иным причинам, становится востребованной, популярной, вытесняет спокойные и трезвые формы аргументации, даже порой становится на службу официальной пропаганды. Во времена социальной стабильности такая риторика существует в узких социальных ячейках – радикальных кружках и партиях, религиозных сектах, на страницах газет и журналов (часто издаваемых подпольно) и редко становящихся достоянием широких кругов. С появлением Интернета этот тип риторики достаточно быстро переключался на тематические интернет-форумы, чаты, блоги и группы в социальных сетях. Впрочем, ее можно встретить не только на тематических форумах, но, в принципе, – везде. Она стала фоном практически любых разделов с комментариями в социальных сетях. Возможность действовать в сети не от своего имени, писать анонимно, снимает барьеры на проявление грубой враждебности, ксенофобии и ненависти. Особенно популярной риторика ненависти становится у подростков и молодежи, которые, как известно, склонны к крайним формам проявления собственного отношения к чему-либо.

Декларируя негативный характер риторики ненависти, различные общества и государства, тем не менее, относятся к этому явлению с разной степенью терпимости. Одни полагают, что это естественное, более того – полезное явление, позволяющее людям выместить свою агрессию на словах, а не в действиях, поэтому прилагать особые усилия для борьбы с ним не стоит. Другие считают, что Интернет есть продолжение реальной общественной жизни (и они

в этом, по сути, правы) и поэтому общество и государство должно принимать меры по сохранению правил приличия на дискуссионных площадках социальных сетей. Например, в Германии риторика ненависти (*Volksverhetzung*) определяется как «разжигание ненависти в отношении меньшинств при определенных условиях», строго запрещена и уголовно наказуема¹.

Наиболее наглядным, впрочем, как и неудачным, прецедентом борьбы с феноменом риторики ненависти на государственном уровне стал пример Южной Кореи. Согласно статистике, в 2008 г. количество издевательств и угроз составляло 13,9 процента от общего числа сообщений, написанных гражданами Южной Кореи². Корейские власти вполне разумно посчитали, что главным причиной массового распространения риторики ненависти является возможность действовать в интернете анонимно. Поэтому в 2008 г., незадолго до президентских выборов, в Южной Корее был введен в действие скандально известный среди интернет-общественности закон «Система действительных имен в интернете»³ (*Internet Real-Name System*), который требовал, чтобы все крупные интернет-порталы проверяли личность своих пользователей. Это относилось ко всем пользователям, которые выкладывали контент в открытом доступе. Например, чтобы добавить комментарий к новостной статье, требовались регистрация и указание идентификационного номера гражданина. Иностранцы, которые не имели такого номера, должны были отправлять по факсу копию паспорта. Хотя этот закон изначально встретился с протестами общественности, большинство крупных порталов, в том числе Daum, Naver, Nate и Yahoo Korea, осуществляли такие проверки⁴. Youtube отказались подчиниться закону, предпочтя отключить функцию комментирования на корейском сайте⁵. Закон был принят в целях борьбы с киберпреступностью, а также чтобы уменьшить количество клеветы и оскорбительных комментариев в южнокорейском интернете.

¹ Strafgesetzbuch [German Criminal Code], Section 130, http://bundesrecht.juris.de/stgb/_130.html.

² <https://opennet.net/research/profiles/south-korea>

³ http://koreanlii.or.kr/w/index.php/Real_name_system

⁴ *Kim Hyung-eun*. Korea JoongAng Daily (13 August 2008). «Do new Internet regulations curb free speech?». – <http://joongangdaily.joins.com/article/view.asp?aid=2893577>.

⁵ *Martyn Williams*. IDG News (13 April 2009) «Google Disables Uploads, Comments on YouTube Korea». – http://www.pewworld.com/article/162989/google_disables_uploads_comments_on_youtube_korea.html

Кроме того, новый закон предписывал системным администраторам раскрывать данные пользователей, публиковавших комментарии с угрозами или раскрывающие тайну личной жизни других участников дискуссии.

В течение пяти лет южнокорейские пользователи интернета не могли анонимно оставлять комментарии на местных сайтах. Однако, сделать пространство национального сегмента интернета более дружелюбным властям так и не удалось. Южнокорейские пользователи чтобы сохранить свою анонимность просто перешли на зарубежные веб-ресурсы, популярность же отечественных сайтов упала до предела. При этом количество оскорбительных комментариев уменьшилось лишь на 0,9 процента⁶. 24 августа 2012 г. Конституционный суд Южной Кореи отменил закон о раскрытии данных, нарушающий свободу слова в стране, гарантированную конституцией. Согласно судебному постановлению, отмененный закон препятствовал формированию плюрализма мнений, который является основой демократии. Интернет-ассоциация Южной Кореи горячо поддержала решение Конституционного суда.

В более общем виде противники ограничения риторики ненависти в Интернете ссылаются на следующие аргументы: 1) риторика ненависти выполняет функцию психической разрядки; 2) ограничение риторики ненависти в национальном масштабе наносит вред национальному сегменту сети; 3) разрешение риторики ненависти облегчает полицейский надзор за радикальными элементами; 4) в критический момент существует возможность включения профилей фильтрации риторики такого типа, вплоть до полного блокирования дискуссионных площадок

Таким образом, можно прийти к выводу, что такое древнее явление, как риторика ненависти, благодаря внедрению электронных дискуссионных площадок вышло на новый количественный уровень и, возможно, – приобрело или в скором времени приобретет новые качественные черты. Есть основания полагать, что эти черты могут оказаться крайне опасными для социальной стабильности, поскольку возможно возникновение больших волн распространения отдельных форм риторики ненависти (агрессивных мемов), которые в определенный момент помимо своей сугубо оценочной модальности приобретут императивную. Иными словами, возможно и даже неизбежно

⁶ <https://opennet.net/research/profiles/south-korea>

появление неуправляемых процессов в коммуникационной среде высокой плотности. Последствия легкомысленного отношения к таким явлениям даже в благополучных странах могут оказаться самыми удручающими в силу существования объективной волновой динамики, онтологическими феноменами которой является возникновение солитонов – непредсказуемых волн аномально большой амплитуды и удельной энергии.

Важно иметь в виду, что волны с определенными характеристиками могут появляться только в средах с определенной плотностью. Это характерно и для волн в коммуникационной среде. Предыдущие процессы уплотнения среды, связанные с появлением периодической печати, радио и телевидения существенно увеличили плотность среды, однако процесс носил асимметричный характер, поскольку количество обратных связей со средствами СМИ было невелико (сами журналисты, люди пишущие письма в редакции и интервьюируемые), среда была вполне управляема. С развитием Интернета пользователи сами стали авторами, это было отмечено и выражено в концепции эпохи развития интернета, известной как «Веб 2.0». Плотность коммуникационной среды выросла на огромные значения, судя по всему, – на порядки. Можно привести аналогию. Ударные волны существуют в разных средах – газах, жидкостях и твердых телах. Волна, порожденная одной и той же энергией в газовой среде и в жидкой, способна произвести разрушения несопоставимых масштабов, – взрыв бомбы в воздухе и под водой существенно отличается своими разрушительными последствиями в пользу последнего случая. Таким образом, рассуждая по аналогии, можно предположить, что одни и те же социальные события, например распространение некоего радикального призыва, может иметь разные последствия в доцифровой и в цифровой коммуникационной среде. К настоящему времени уже существуют примеры, подпадающие под такое объяснение. Это, так называемые «твиттерные революции» в арабских странах.

Инфляция копирайта

До века электронных носителей нарушение авторских прав не носило угрожающего для интересов авторов характера. Копирование книг и изображений было делом трудоемким и неоправданным эко-

номически. Появление ленточных, а впоследствии кассетных магнитофонов с возможностью перезаписи с одного носителя на другой впервые стало наносить ущерб производителям аудиопродукции. Появление видеомэгнитофонов в дальнейшем нанесло ущерб производителям видеофильмов. Массовое внедрение Интернета, организация отдельными энтузиастами огромных файловых хранилищ мультимедиа и, особенно, появление файлообменных сетей, стало настоящим кошмаром для правообладателей. Новые технологии практически мгновенного копирования произведения в любой точке Земли поставили под сомнение саму возможность эффективного правоприменения авторского права. Авторы и правообладатели, объединенные в ассоциации, начали упорную борьбу за свои экономические интересы в политико-правовой сфере. Лобби правообладателей стремится законодательно запретить использование файловых хранилищ, нарушающих авторские права, фильтровать контент, нарушающий авторские права и, что вызывает наиболее острую полемику – запретить просматривать продукцию, нарушающие их права. В некоторых странах такие запретительные режимы уже действуют. Защита авторских прав в странах, где право частной собственности считается святым, является мощным аргументом для введения правовых оснований для блокировки сайтов, фильтрации контента и даже уголовного преследования пользователей, пытающихся получить доступ к контенту, хранящемуся в Сети с нарушением авторских прав.

Особенно показателен пример Франции, в которой в 2009 г. был принят так называемый «закон Хадопи», названный в честь французского агентства HADOPI⁷ (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet), специального надзорного органа, ответственного за соблюдение авторских прав в Интернете. Этот закон позволяет ведомству HADOPI без всякого решения суда отключать от Интернета пользователей, которых вторично поймали на нелегальной загрузке контента, нарушающей авторские права, или отказе защитить свои системы снова против подобных нелегальных скачиваний. В августе 2009 г. этот закон был дополнен так называемым законом «Хадопи II». Принятие этих законов вызвало крайне негативную реакцию защитников прав человека как во Франции, так и в Европейском Союзе. Закон рассматривался в Парламенте ЕС, который счел, что лишение гражданина доступа в Интернет без реше-

⁷ <http://www.hadopi.fr/>

ния суда является грубым нарушением его прав. Рассматривался законопроект и в Конституционном суде Франции, который 10 июня 2009 г. признал основную часть закона противоречащей Конституции Французской Республики, поскольку он нарушает Декларацию прав человека и гражданина 1789 г., а именно, – презумпцию невиновности, принцип разделение властей и свободу слова. Однако, 22 октября 2009 г. исправленная версия закона была принята Конституционным судом. В исправленном законе была прописана судебная процедура, позволяющая лишить гражданина доступа к Интернету за нарушение авторских прав. В остальных требованиях закон сохранил свой первоначальный вид⁸.

Подобного рода законодательные инициативы ставят принципиальный вопрос: «Соблюдается ли принцип соразмерности совершенного правонарушения и понесенного наказания в данном случае?» Подключение к Интернету в информационном обществе является жизненно-важным сервисом, без доступа к которому нормальная социальная жизнь человека становится крайне затруднительной. По степени причиняемых человеку проблем и страданий такое решение сопоставимо с лишением свободы.

К настоящему моменту в мире фактически существует законодательно закреплённая монополистическая система, защищающая экономические интересы правообладателей. Как пишут К. Энгстром и Р. Фальквинге в книге «Дело о реформе копирайта»⁹, на протяжении XX в. шла борьба за доходы между двумя классами правообладателей: авторами и издателями; к настоящему моменту эта борьба проиграна авторами и львиную долю доходов получают издатели. Энгстром и Фальквинге в главе «Копирайт как фундаменталистская религия» утверждают следующее:

«Самая невероятная из таких попыток случилась 13 января 1535 г., когда по требованию Католической церкви был введён закон о запрещении всех книжных магазинов, назначена смертная казнь через повешение для всех, кто использует печатный станок.

Этот закон был абсолютно неэффективен. Пиратские печатные магазины нанизались вдоль границ страны как жемчужное

⁸ Pfanner E. France Approves Wide Crackdown on Net Piracy"// *New York Times*. – 22 October 2009. // http://www.nytimes.com/2009/10/23/technology/23net.html?_r=0

⁹ *The Case for Copyright Reform* // http://www.copyrightreform.eu/sites/copyrightreform.eu/files/The_Case_for_Copyright_Reform.pdf

ожерелье, а пиратская литература текла во Францию по контрабандным каналам, выстроенным обычными людьми, жаждущими больше читать.

То, что сейчас происходит противостояние индустрии копирайта и общества, практически идентично тому, что происходило, когда был создан печатный станок, и Католическая церковь объявила войну саморазвивающимся людям. В обоих случаях дело, в действительности, не в религии или законе, а в очень простом принципе, что люди есть люди, а обладающие властью будут использовать ее, чтобы ее сохранить.

Интересно здесь то, что защитники копирайта действуют как религиозные фундаменталисты. Они не религиозны в настоящем смысле этого слова, разумеется. Но они действуют и реагируют, словно у них религиозное чувство по отношению к копирайту, словно это что-то, о чём не разрешается спрашивать.

Энрике Данс¹⁰ заметил, что они атакуют с эмоциональным и агрессивным рвением не только сторонников пересмотра копирайта, но и всех, кто просто спрашивает про копирайт: называют реформистов пиратами, ворами и т.д. В другое время и в другом месте было бы выбрано слово «еретики».

Факты и цифры, проливающие свет на ситуацию и способные помочь найти решение проблемы, никогда не приветствуются, но агрессивно отвергаются и игнорируются фундаменталистами копирайта».

Печатный станок был прогрессивной технологией, угрожавшей контролю над информацией, которым Католическая церковь владела до этого. Когда старые структуры власти увидели риск, что их могущество сойдет на нет, они стали бороться против этого всеми доступными им способами. И хотя технология, в итоге, победила, бывшие информационные монополисты успели причинить довольно много дополнительного урона обществу, прежде чем приняли неизбежное поражение.

Интернет – прорывная технология, угрожающая контролю над информацией, которым до сих пор владела индустрия развлечений. Когда старые структуры власти видят риск, что их власть ускользнёт или сойдёт на нет, они используют для борьбы все доступные способы. И хотя технология в итоге победит, бывшие инфор-

¹⁰ Ссылка на текст: <http://www.enriquedans.com/2011/02/el-fracaso-de-la-ley-sinde.html>

мационные монополисты создают довольно много дополнительного урона обществу уже сейчас. Большая часть современной индустрии развлечений построена на коммерческой эксклюзивности защищённых копирайтом работ, и мы хотим сохранить это. Но нынешние сроки защиты – пожизненно плюс 70 лет – это абсурд. Никакой инвестор не посмотрит в сторону бизнеса с такими сроками окупаемости».

Понятие «Исключительные авторские права» на английском звучит как «монополия».

К концу XIX века монополия издателей практически лишила авторов шансов получать доходы от своих работ. Существенная историческая роль в создании современной системы защиты авторских прав принадлежит знаменитому французскому писателю Виктору Гюго, который предпринял, в конечном счете, удачную попытку сделать французское традиционное право под названием «Droit d'auteur», – «право автора» международным. Французский писатель мог передать свои исключительные авторские права французскому издателю, но не издателям в Германии или Великобритании. Любопытно, но к середине XIX века о копирайтных и патентных монополиях забыли, когда по всей Европе вводили законы о свободном рынке. Следует отметить, что патентный закон по-прежнему говорит о «предотвращении нечестной конкуренции» как обосновании своего существования. Виктор Гюго попытался соблюсти баланс, ограничив власть издателей, дав авторам некоторые права, но при этом сохранить институт исключительных авторских прав, т.е. – монопольные права для издателей. Гюго не дождался того дня, когда проявились результаты его идеи – подписания Бернской конвенции¹¹ в 1886 г. В ней говорилось, что страны должны уважать копирайты других стран, было основано агентство BIRPI¹², которое должно было следить за со-

¹¹ Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) – международное соглашение в области авторского права, принятое в Берне (Швейцария) в 1886 г. Является первым и ключевым международным соглашением в этой области. В настоящее время администрируется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (*WIPO*). – Wiki.

¹² *The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI)* – международная организация, была создана в 1893 г. для управления Бернской конвенцией и Парижской Конвенцией по охране промышленной собственности. BIRPI является предшественником Всемирной организации интеллектуальной собственности (*WIPO*). – Wiki.

блюдением конвенции. Это агентство эволюционировало и сейчас оно является WIPO (Всемирной организацией интеллектуальной собственности), по-прежнему наблюдающее за исполнением Бернской конвенции, которая также эволюционировала и претерпела два изменения.

Существует иллюзия, что институт копирайта создавался для того, что бы творческие люди могли зарабатывать. Изначальный смысл был совершенно другим – в том, «...чтобы поощрять прогресс наук и полезных искусств...»¹³, как это, например, записано в Конституции США. Как утверждают Фальквинге и Энгстром, исключительные авторские права не являются правами собственности, а напротив – ограничением оных, поскольку копирайт это санкционированная государством частная монополия, накладывающая ограничения на то, что люди могут делать с вещами, которые они легитимно купили. Современный же дискурс ярых защитников копирайта состоит из некорректных слов «кража», что кого-то ограбили, сделав копию и т.п. Правообладатели инициируют судебные процессы против граждан, включая бедных домохозяек, где за несколько десятков выложенных в открытый доступ песен предъявляют им иски в миллионы долларов. Еще ни одного значительного штрафа правообладатели не получили, но они готовы тратить миллионы долларов на судебные иски, ради того, что бы создать прецедент и запугать общество. Иногда подобное запугивание приносит свои плоды. Согласно упомянутым авторам, знаменитый режиссер Ларс Фон Триер разослал по Германии серию угрожающих писем, в которых утверждалось, что их адресат незаконно скачал и посмотрел фильм этого режиссера и что ему следует заплатить тысячу евро, либо по решению суда ему придется раскошелиться на гораздо большую сумму. Несмотря на то, что это было блефом, режиссер получил 600 тысяч евро, больше, чем от продажи DVD-дисков. В определенном смысле слова можно говорить об относительно законной форме вымогательства.

До эпохи дешевых средств копирования результатов интеллектуальной собственности человек покупал книгу, пластинку или другой материальный носитель, себестоимость которого обычно была существенна. Эти носители являлись вещами, и к ним можно было относиться как к вещам. С появлением технологии аналогового, а затем еще более дешевой прорывной технологии цифрового копи-

¹³ Ссылка на текст: http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Clause

рования, попытка юридически запретить копирование, приравняв его к воровству, является стремлением вместить технологию в прокрустово ложе устаревшей Бернской конвенции. Это не означает, что авторы не должны получать вознаграждение за свой труд, однако к настоящему времени существует немало примеров успешной монетизации своего авторского труда на основе открытого публичного доступа к произведениям.

Полицейский надзор

Криминальный сыск, политический сыск, контрразведывательная деятельность, разведка и т.п. в прошлые времена были очень специфическим видом деятельности, основанном на работе с доверенными лицами, агентами и прочими личностями, сообщающими разные сведения в личных или публичных беседах. Такая работа всегда занимала очень большое количество времени, сил и средств. В прошлом установление персональных данных, дружеских и товарищеских связей конкретного человека, круга его общения, было весьма трудоемкой задачей. Появление социальных сетей стало бесценным подарком не только для служб сыска и надзора, но и для всяческих коммерческих агентств: детективных, подбора персонала, финансово-кредитного анализа и т.п. Если ранее задача выявления друзей друзей конкретного человека была если не невыполнимой, то в большинстве случаев экономически невыгодной, то с появлением социальных сетей она стала технически элементарной! Среди правозащитников многих стран бытует заблуждение, что спецслужбы по определению являются главными врагами свободного Интернета. В действительности это далеко не так – спецслужбы в крайней степени заинтересованы в относительно свободном циркулировании информации, что позволяет получать и анализировать информацию техническими средствами, не прибегая к чудовищным расходам по вербовке, обучению и содержанию армии оплачиваемых агентов. Эффективность анализа социальных сетей и блогов разведками других стран привела к тому, что многие государства стали создавать специальные регламенты, запрещающие определенного рода государственным служащим заводить аккаунты в социальных сетях либо ограничивающие их активность на содержательном уровне.

Понятно, что правоохранительные органы преследуют самые разные цели, нередко находящиеся в отношениях отрицательной обратной связи – более эффективное достижение одних целей снижает эффективность достижения других. Конфликты интересов разведки и контрразведки являются наглядным примером в любой стране. Эти конфликты можно обнаружить в публичных дискуссиях относительно того, какой контент следует, а какой не следует фильтровать. Однако, по поводу вопроса о необходимости того, чтобы каждый гражданин имел постоянное подключение к Интернету, правоохранительные органы обычно единодушны: чем больше граждан будут проявлять активность в Интернете, особенно в социальных сетях – тем проще собирать установочные данные, проводить оперативно-розыскные мероприятия и заниматься аналитикой. В этом плане интересы правоохранителей и общества относительно доступности Интернета совпадают. Однако, также правоохранительные органы заинтересованы в доступе к большему массиву данных, включая личные данные. По понятным причинам это вызывает сопротивление гражданского общества и правозащитников.

В России для этих целей были созданы системы СОРМ-1 и СОРМ-2. АНБ США использует систему Eshelon для целей глобального мониторинга Интернета. Обратим внимание на европейский опыт законодательного регулирования надзора в Интернете. Многие отечественные правозащитники апеллируют к европейским правовым нормам как эталонам соблюдения прав человека. Между тем, даже во многих «эталонных» европейских демократиях в этом вопросе ситуация далеко не радужная.

В 2006 г. в ЕС была принята Европейская хартия хранения данных¹⁴. Директива была инкорпорирована в национальное законодательство большинства государств-членов ЕС; согласно этому документу, интернет-провайдеры на местном уровне обязаны сохранять конкретные данные, относящиеся к электронным сообщениям, чтобы помочь в расследовании преступлений и в качестве доказательств для возможных судебных разбирательств. Данные должны храниться не менее шести месяцев, но не более двух лет.

¹⁴ Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of March 15, 2006, on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC.

Целью архивации данных было объявлена трассировка незаконного контента, выявление источников атак на информационные системы, установлении лиц, использующих сети электронных коммуникаций для террористической деятельности и организованной преступности. Директива вызвала острую критику во многих государствах-членах ЕС и было оспорено в немецком Конституционном суде¹⁵.

Тем не менее, некоторые страны пошли еще дальше в своих надзорных инициативах и вышли за пределы дозволенного законодательством ЕС.

В марте 2007 г. шведское правительство разрешило своему Агентству национальной военной разведки (МУСТ) поставить под контроль трансграничные телефонные переговоры и трафик электронной почты без необходимости запрашивать ордер. Кроме того, государственное агентство имеет право разработать план мониторинга ключевых слов в пересылаемых сообщениях и даже устроить мониторинг контента на серверах за пределами страны¹⁶. НКО предъявили иск к Правительству Швеции в ЕСПЧ¹⁷. Некоторые крупные международные компании в области ИКТ выразили свое недовольство этими правилами и заявили, что прекратят делать значительные инвестиции в страну, если спорная норма не будет отменена¹⁸.

В Финляндии – стране, в которой право доступа Интернет признано правом человека¹⁹, ассоциация работодателей (включая компанию Nokia) пролоббировали закон, позволяющий работодателю отслеживать электронную почту работников с целью предотвращения промышленного шпионажа. Закон не разрешает читать содержание писем, но разрешает отслеживать атрибуты писем: адрес, время отправки, факт прочтения, наличие вложений.

В Германии также предпринимаются активные шаги в сторону увеличения государственного онлайн-надзора. Новые поправки в национальное законодательство требует, чтобы провайдеры сохраняли

¹⁵ Heise Online, «Data Retention: ISPs Rely on Constitutional Appeals and Exception Rules». January 10, 2008, <http://www.heise.de/english/newsticker/news/101624/>.

¹⁶ European Digital Rights, «Cross-Border Wiretapping Proposed by the Swedish Government». March 14, 2007, <http://www.edri.org/edrigram/number5.5/sweden-wiretapping>.

¹⁷ David Landes. Norwegian Group Joins Case against Sweden's Wiretapping Law. - The Local, February 13, 2009, <http://www.thelocal.se/17578/20090213/>.

¹⁸ David Landes. Norwegian Group Joins Case against Sweden's Wiretapping Law. - The Local, February 13, 2009, <http://www.thelocal.se/17578/20090213/>.

¹⁹ <http://www.point.ru/news/stories/21007/>

личные данные, такие как сообщения электронной почты и их параметры, IP-адреса каждого абонента Интернета, а также уникальный идентификатор каждого клиента, позволяющий отслеживать онлайн-активность.

Еще более сомнительным выглядят так называемые онлайн-рейды, осуществляемые криминальной полицией Германии Bundeskriminalamt.²⁰ Смысл этих рейдов заключается в заражении персонального компьютера троянской программой для полного отслеживания активности пользователя. В марте 2008 г. Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, согласно которому онлайн-рейды могут применяться только в исключительных случаях.

Во Франции аналогичная практика стала нормой. В 2011 г. Конституционный Совет Франции ратифицировал Статью 4 закона LOPPSI2²¹, позволяющей фильтровать Интернет без всякого судебного решения. Согласно этому закону, черный список сайтов находится под контролем Министерства внутренних дел. 21 апреля 2011 г. агентство NADOPI проанонсировало свои планы интегрировать скрытое программное обеспечение, называемое в модемы и маршрутизаторы французских провайдеров с явно артикулируемой целью отслеживать весь трафик, включая частную переписку и мгновенные сообщения. Этот софт также содержит утилиту, с помощью которой можно следить за тем, что пользователь набирает на клавиатуре (кейлоггер), а также собирать эти данные к себе в базу. Согласно закону, кейлоггеры могут быть инсталлированы на конкретный компьютер на период до четырёх месяцев. Согласно решению суда этот срок может быть продлен на 4 месяца. Кроме того, Loppsi 2 предписывает интернет-провайдерам тесно сотрудничать с государственными ведомствами. В случае необходимости провайдеры должны подчиниться требованиям властей и блокировать доступ к конкретным сайтам. Кроме того, в предварительный вариант законопроекта включал положение о создании глобальной базы данных Pericles (по иронии названа в честь знаменитого правителя эпохи расцвета афинской демократии), которые будут содержать супер-досье с информацией о французских гражданах. Досье будут включать любые сведения, какие только можно будет собрать в автоматическом ре-

²⁰ Wikipedia. «Online-Durchsuchung». - <http://de.wikipedia.org/wiki/Online-Durchsuchung#Deutschland>.

²¹ Франция: тоталитарный закон Loopsi 2 // <http://right-world.net/news/312>

жиме – вроде номеров водительских удостоверений и мобильных идентификаторов IMEI.

В 2005 г. итальянское правительство приняло решение усилить надзор за Интернетом и телефонными сетями. Постановление правительства требует хозяев интернет-кафе требовать с клиентов предъявление паспорта, делать и сохранять ксерокопию, периодически предоставлять полиции лог-файлы посещаемых сайтов²². Так же постановление усложняет процедуру лицензирования Интернет-провайдеров, делая существенным условием наличие удовлетворительных систем мониторинга и хранения данных.

Анонимность

Наличие имени у человека, судя по всему, по своей древности сопоставимо с появлением высокоартикулированной речи. Необходимость различать сородичей не менее значима для выживания, чем именование окружающих предметов и типов действий. В эпоху до возникновения и массового внедрения письменности существовала возможность достаточно вольно обращаться со своим и даже с чужими именами для разного рода мошенников, прохвостов, интриганов и шпионов. Всем хорошо известен феномен самозванства, характерный для тех времен, когда процедура идентификации личности являлась серьезной проблемой и опиралась исключительно на личную зрительную идентификацию и идентификацию по характерным физическим признакам (шрамы, родинки, увечья, отклонения в поведении и речи и т.п.). Вплоть до изобретения Альфонсо Бертильоном антропометрии во Франции в конце XIX в. идентификация преступников была крайне ненадежным делом, – случаи, когда преступников судили как рецидивистов, если их задерживали в месте, где ни один полицейский не знал его лично, были крайне редки, – обычно преступники срочно придумывали себе псевдоним. Внедрение технологий дактилоскопии, общегражданских паспортов и их аналогов сделало институт идентификации личности общественной нормой. Сейчас крайне сложно вообразить нормально функционирующее технократическое общество, в котором отсутствуют сложные протоколы

²² *Sofia Celeste*. «Want to Check Your e-Mail in Italy? Bring Your Passport». *Christian Science Monitor*, October 4, 2005, <http://www.csmonitor.com/2005/1004/p07s01-woeu.html>.

идентификации личности. Эти протоколы усложняются и наполняются различными биометрическими данными, включая генетические.

Фальсификация личности становится сложной задачей, усложняя деятельность преступников и нелегальной разведки. О сложности и дороговизне создания легенды говорит то, что нелегальную разведку себе могут позволить только считанные очень богатые государства, – настолько это дорогое и сложное предприятие.

Помимо фальсификации личности, существует возможность действовать анонимно. Эта возможность также всегда ценилась революционерами, заговорщиками, специальными агентами, преступниками и журналистами. Отношение к анонимным сообщениям в различных политических и правовых режимах различается. В одних случаях анонимные жалобы рассматриваются государственными и общественными органами, в других случаях на это наложен запрет. Право журналистов и писателей на псевдоним защищено законом в России и многих странах мира, также защищены личные данные штатных и внештатных сотрудников спецслужб, действующие под оперативными псевдонимами. Можно утверждать, что феномен анонимности выработан обществом в качестве защиты от различных форм мести. Как только в Интернете появились первые дискуссионные площадки, феномен анонимного пользователя, получившего имя «Анонимус» стал повсеместным. Мы уже упоминали неудачный опыт Южной Кореи, запрещавшей анонимность в Интернете с целью борьбы с риторикой ненависти. Впрочем, есть страны, в которых такая практика применяется до сих пор. В 2011 г. Правительство Саудовской Аравии ввело новые правила и регулятивные нормы для всех онлайн-газет и блоггеров, требующие специальной лицензии от Министерства культуры и информации²³. Согласно новым правилам, все авторы в сети, включая авторов на форумах и даже авторов коротких сообщений, вроде сервиса мгновенных сообщений «Твиттер», должны получить эту лицензию, срок действия которой составляет три года.

Правительство королевства объяснило нововведение тем, что оно должно защитить общество от тлетворных влияний и отметило, что оно в любом случае уже давно осуществляет политику цензуры интернет-контента. Следует обратить внимание на то, что

²³ <http://www.tgdaily.com/business-and-law-features/53403-saudi-arabia-bans-blogging-without-a-licence>

Саудовская Аравия имеет одно из самых больших количеств блоггеров среди арабских стран. Заявители на получение лицензии должны быть старше 20 лет и иметь законченное полное среднее образование. Им также требуется предъявить документы, которые «доказывают их хорошее поведение». Любой, кто будет пойман за блоггингом без лицензии подвергается штрафу в 100 тыс. риалов (примерно 27 тыс. долл.) и/или будет заблокирован – «забанен», возможно, – навсегда.

28 мая 2003 г. Комитет министров Совета Европы на заседании постоянных представителей министров иностранных дел принял *Декларацию о свободе коммуникации в Интернете*²⁴. Среди семи принципов коммуникации, которые определены в этой декларации, присутствует анонимность в Интернете:

«В целях обеспечения защиты Интернета от контроля и расширения свободного выражения идей и информации, государства-члены должны уважать желание пользователей Интернета не раскрывать свою личность. Это не мешает государствам-членам принимать меры и осуществлять сотрудничество в целях установления лиц, виновных в преступных деяниях, в соответствии с национальным законодательством, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и другими международными соглашениями между правоохранительными органами и органами юстиции».

В Пояснительной записке к этой Декларации положение об анонимности интерпретируется следующим образом:

«Цель этого принципа заключается, прежде всего, в необходимости уважать волю пользователей оставаться анонимными. У этого принципа есть два аспекта. Во-первых, у пользователей могут быть весомые причины не раскрывать своё имя при размещении своих сообщений и материалов в Интернете. Принуждение к раскрытию своего имени способно чрезмерно ограничить их свободу выражения мнения. Это также может лишить общество доступа к потенциально ценной информации и идеям.

Во-вторых, пользователи нуждаются в защите от необоснованной слежки за их поведением в Интернете со стороны государственных или частных органов и организаций. Следовательно, госу-

²⁴ <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=37031>

дарства – члены Совета Европы должны, в частности, позволять использовать устройства или программы, позволяющие пользователям защищать себя в таких ситуациях.

Однако, у этого принципа есть ограничения. Государства – члены Совета Европы должны иметь возможность получать информацию о лицах, ответственных за противоправную деятельность в пределах, установленных в национальном праве, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в особенности, в её статье 8, в других соответствующих международных договорах, таких как Конвенция о киберпреступлениях».

Упомянута статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гласит:

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случая, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Таким образом, право анонимности не является абсолютно святым и личность может быть установлена, если станет ясно, что личность, скрывающаяся за псевдонимом, преследует преступные цели, угрожающие обществу. Актуальность такого ограничения демонстрирует судебное дело в Европейском суде по правам человека в связи с возможным нарушением статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это дело известно как «дело К.У. против Финляндии»²⁵. Гражданин Финляндии К.У., подлинное имя которого не раскрывается из соображений этики, обнаружил в Интернете объявление, написанное анонимным автором от имени его 12-летнего сына. Объявление содержало предложение вступить в интимную связь. Сам мальчик узнал об этом, когда получил отклик на

²⁵ Case Of K.U. v. Finland // <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Judgments/K.U.%20v.%20FINLAND%20en.pdf>

объявление от взрослого мужчины. Отец ребенка подал заявление в полицию с целью установить личность автора объявления, однако Интернет-провайдер отказал заявителю, считая себя связанным правилами конфиденциальности пользовательского соглашения. Полиция обратилась в окружной суд с просьбой обязать провайдера раскрыть указанную информацию в соответствии с уголовно-процессуальным правом. Суд не обнаружил в законе прямого указания, позволяющего ему это сделать при совершении преступления, не относящегося к тяжким. После неудачных апелляций в национальных инстанциях отец ребёнка обратился с заявлением против Финляндии в Европейский Суд по правам человека. ЕСПЧ удовлетворил требования истца и указал в своем вердикте, что свобода выражения мнения и конфиденциальность связи должны соблюдаться, а пользователи телекоммуникаций и интернет-услуг должны иметь гарантии конфиденциальности и тайны личной жизни, такие гарантии не могут быть абсолютными. Европейский суд указал, что, при необходимости они должны отступать перед иными законодательными императивами, такими как поддержание общественного порядка и предотвращение преступлений, защита прав и свобод других лиц. Государство-ответчик было вынуждено изменить свое законодательство после этого случая, обязывающее теперь раскрывать имя нарушителя в подобных ситуациях.

Материалы непристойного содержания

Это общественное явление имеет столь же древнюю историю, как и феномен изобразительного искусства. Откровенное изображение сексуальных сцен можно найти и на наскальных рисунках и на античных фресках. Однако, именно с появлением печати и фотографии порнография становится доступной широким массам. Следующим событием, еще более повысившим уровень доступности порнографии, стало появление Интернета. Если до интернет-эпохи порнографические материалы можно было получить только в специальных магазинах, по почте и из рук в руки, то в настоящее время они стали легкодоступны. Характерно, что качественное увеличение степени доступности изменило характер самой порноиндустрии – она диверсифицировалась, колоссально выросла ее спецификация. Контроль со стороны государства оборота порнографических

материалов в новых условиях стал на порядок более сложной задачей. Однако, самым неприятным феноменом стал не рост порноиндустрии как отрасли, но легкость доступности материалов для несовершеннолетних.

Феномен порнографии он-лайн является распространенным аргументом сторонников введения способов и процедур ограничения доступа к интернет-контенту и к самому Интернету. Эти способы включают в себя: 1) добровольную установку самими пользователями на собственных машинах программ контент-фильтрации; 2) юридическое принуждение Интернет-провайдеров устанавливать программы или специальное оборудование («железо») для фильтрации на различных узлах обработки данных; 3) классическую меру воздействия – административное и/или уголовное преследование хозяев порно-порталов, открытых в нарушении закона, регулирующего оборот порнографической продукции; 4) юридически закрепленная процедура верификации возраста пользователя в публичных местах (интернет-кафе и публичных wi-fi зонах) с целью выбора профиля фильтрации; 5) создание и пропаганда общественной системы жалоб на порнографические сайты с целью их добавления в «черные списки»; 6) глубокая фильтрация порнографического контента на узлах сопряжения национального интернета и глобальной сети с целью изоляции национальной сети от зарубежного антиморального контента на основании нормативно-правовых актов различного уровня.

Использование методов (2) и (6) сопряжено с негативными эффектами, связанными с несовершенством систем фильтрации, вследствие которых неизбежны технические ошибки, из-за которых в черные списки попадают сайты, не содержащие порнографии. Вот как охарактеризовал работу таких систем журналу «Компьютера» Рафал Рогозинский (Rafal Rohozinski) – директор группы перспективных исследований сетевой безопасности Кембриджского университета:

«Практически всегда используются коммерческие системы уровня предприятия. У этих систем, надо сказать, есть серьезные недостатки. Например, их очень трудно точно настроить на тот контент, который вы желаете заблокировать. Поэтому иногда блокируется заодно и безобидная информация – Рон Диберт в своем докладе приводил пример, как в одной из стран стал вдруг недоступен вебсайт

американского посольства, так как в слове "usembassy" система отреагировала на порнографическую, по ее мнению, строку "ass". С другой стороны, не так трудно обойти блокировку, которую обеспечивают эти системы»²⁶.

В Саудовской Аравии система действует не на уровне отдельных провайдеров, а через единственное «бутылочное горлышко». Дело в том, что сегмент саудовского интернета сообщается с глобальной сетью через прокси-ферму, расположенную в Королевском технополисе (KACST)²⁷. Еще в далеком 2001 г., согласно статье в Нью-Йорк таймс²⁸ от более 7000 сайтов добавлялось в черный список ежемесячно. Контрольный центр получал каждый месяц более 100 запросов с просьбой исключить сайт из черного списка, в большинстве случаев по причине технической ошибки коммерческого программного обеспечения для фильтрации производства американской фирмы Secure Computing. Характерной особенностью данной системы цензуры является то, что она, в принципе, направлена на сотрудничество с подданными – на сайте подразделения существует специальная форма, с помощью которой можно написать заявление с предложением заблокировать тот или иной ресурс. Для этого существует специальная форма и, как сообщается, сотни заявлений приходят каждый день от обеспокоенных моралью подданных Королевства. Так же можно написать заявление об ошибочном внесении своего сайта в «черный список», рассчитывать на разблокирование и даже получение весомой компенсации.

Кроме того, сторонниками защиты свободы информации высказываются мнения, что внедрение обязательных систем фильтрации контента на уровне провайдеров может привести к тому, что программы фильтрации будут использоваться не только надлежащим образом, а будут перенацелены на политическую цензуру.

Неоднократно высказывались мнения, которые стали общераспространенными, что почти половину интернет-трафика занимает порнография. В действительности это не так. Согласно подсчетам, сделанным в 2011 г., только 4% из сайтов топ-миллиона являются порнографическими и только 13% запросов на поисковых машинах

²⁶ Между киберземлей и кибернебом: цензура в Сети рухнет 1 декабря // <http://old.computerra.ru/print/297430/>

²⁷ <http://www.kacst.edu.sa/en/Pages/default.aspx>

²⁸ Companies Compete to Provide Saudi Internet Veil // New-York times. – 19.11.2001

касаются порнографического контента²⁹. По мере развития интернета, доля порнографического контента падает.

Детская порнография, несомненно, подпадает под более общее понятие порнографии, однако выделение ее в самостоятельный социальный феномен вполне оправдано. Если к доступности «взрослой» порнографии отношение обществ существенно различается, то относительно полной неприемлемости доступности и даже самого существования феномена детской порнографии существует абсолютный общественный консенсус как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне.

Характерно, что американо-канадский исследовательский проект Open Net Initiative (ONI)³⁰, изучающий режимы цензуры и фильтрации данных в различных странах, воздерживается от оценки, действительно ли существует ли в конкретной стране режим фильтрации детской порнографии и насколько он эффективен по той простой причине, что для такой оценки требуется пересылать и размещать такой контент, что является противозаконным практически везде.

Однако, правовые режимы против детской порнографии и мнения о допустимых мерах борьбы с таким контентом мнения расходятся. В некоторых странах, например в США, действует предельно строгий режим: уголовно-наказуемо простое владение материалами детской порнографии и преступление, «совершаемое с помощью компьютера», т.е. криминальна сама осознанная попытка получить к ним доступ (скачать файл)³¹. Это означает, что противозаконно не только распространение контента, но и *сама попытка получить доступ к контенту*.

В России попытка получить доступ к такому контенту пока не является уголовно-наказуемой. В 2012 г. группа депутатов из всех 4-х фракций предложила дополнить статью 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) пунктом о приобретении и хранении детского порно и наказывать за него лишением свободы на срок до четырех лет. «Между тем в РФ нет никакой ответст-

²⁹ <http://www.forbes.com/sites/julieruvolo/2011/09/07/how-much-of-the-internet-is-actually-for-porn/>

³⁰ <https://opennet.net/about-oni>

³¹ Десткая порнография: модель законодательства и всемирный обзор // http://sartraccc.ru/Pub_inter/kindporno.pdf – 2010.

венности за детское порно в личных целях, тогда как примерно в 55 странах это считается преступлением»³², – поясняют депутаты в пояснительной записке. Также в 2012 г. на заседании Общественной палаты РФ глава Следственного Комитета РФ А. Бастрыкин заявил: «Исполнение Факультативного протокола и Конвенции Совета Европы потребует от России введения законодательного определения понятия «детской порнографии», установления уголовной ответственности за владение и получение детской порнографии без цели ее распространения»³³. Более того, А. Бастрыкин утверждал, что в УК РФ должны быть введены санкции за умышленную загрузку или просмотр детской порнографии в интернете и так называемый grooming («груминг» – вхождение в доверие к ребенку посредством интернет с целью его сексуальной эксплуатации).

Противники внесения ответственности за хранение материалов и за попытку доступа к материалам аргументируют свою точку зрения тем, что сфабриковать уголовное дело под такую норму не составляет особого труда.

Политика в отношении фильтрации этого типа контента также вызывает нарекания.

Иногда это приводит к острой полемике и судебным разбирательствам. Например, в 2005 г. датская полиция установила так называемый Фильтр детской порнографии совместно с НКО «Спаси Ребенка». Когда «Спаси Ребенка» и полиция обнаруживают сайт, содержащий детскую порнографию, полиция информирует провайдера и просит его блокировать доступ к этому сайту без всякого предварительного оповещения хозяев сайта. Эти сайты блокируются фильтром, который держится полицией в секрете. В 2008 г. утечки Wikileaks показали, что среди заблокированных сайтов некоторые сайты были неактивны или содержали материалы, которые не имели никакого отношения к детской порнографии³⁴.

Заместитель министр внутренних дел Германии Бригитта Зиприс, отвечающая за Интернет-безопасность в стране, ответила в интервью Рейтер, что «нереалистично пытаться экранировать Германию от

³² Цит. по: http://www.neva24.ru/a/2012/07/19/Posmotretl_detskoe_porno/

³³ http://www.infox.ru/accident/crime/2011/04/28/Bastrykin_obyeshchay.phtml

³⁴ <http://advocacy.globalvoicesonline.org/2010/05/31/internet-freedom-under-pressure-in-denmark/>

иностранных сайтов, даже если полиция имеет своей целью пресечь деятельность доморощенных нацистов. Настолько же нереалистично бороться с другими угрожающими материалами, такими как детская порнография, – заявила она»³⁵.

Следует признать, что нередко градус общественной полемики по этому вопросу столь высок, что превышает возможность трезво обсуждать все аспекты этой проблемы. Эта специфика крайнего эмоционального неприятия феномена детской порнографии используется сторонниками введения цензуры интернет-контента, они прибегают к нему, как к аргументу последнего шанса и часто имеют успех. Критики законодательных инициатив в этой области нередко становятся мишенями в информационных компаниях. *Сам факт*, что депутаты отказываются голосовать за закон (возможно просто плохой с технической точки зрения), направленный против детской порнографии, расценивается некоторыми сторонниками этого закона как проявление корыстных интересов без всяких дополнительных оснований. Например, 9 июня 2010 г. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов заявил: «Что касается прохождения законов в парламенте, то, несмотря на то, что все прекрасно понимают, что нужно выставить заслон и пресечь действия педофилов, однако когда начинается обсуждение в профильных комитетах Госдумы, вдруг находятся люди, которые против этого. И я задаю себе вопрос: а не существует ли у нас педофильское лобби, которое просто это финансирует и противодействует принятию. Думаю, я не далек от истины»³⁶.

Как мы видим, феномен детской порнографии в Интернете является мощным аргументом для введения цензурных режимов, криминализации интернет-серфинга (не исключен вероятный заход на запрещенный ресурс и скачивание запрещенного файла), что, в конечном счете, может привести к ограничению прав человека на получение информации. Следует отметить, что подобные строгие режимы действуют в странах, которые считаются эталонами демократии и свободы слова.

³⁵ Source: *Germany won't block access to foreign Nazi sites*, Adam Tanner, Silicon Valley News, 25 Jul 2000

³⁶ Астахов подозревает, что в России действует педофильское лобби // <http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=140551>

Социальные сети как новая форма «сарафанного радио»

Феномен социальных сетей привлекает все большее и большее внимание. Не будет большим преувеличением утверждать, что мы наблюдаем зарождение новой формы социальной самоорганизации. Само понятие «социальная сеть» изначально было введено социологами, которые определили ее как социальную структуру, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (общность, группа, индивид), и взаимозависимостей или связей между ними (социальных отношений), таких как родство, дружба, сексуальные, денежные отношения, религиозная общность, политические убеждения, знания или соображения престижа³⁷.

Анализ социальных сетей интерпретирует социальные взаимодействия в понятиях теории сетей (междисциплинарное направление исследований, входящее в состав теории графов и науки о сетях), в рамках которой анализируются индивидуальные агенты и связи между ними. Существует большое разнообразие как типов агентов, так и типов связей. Исследования в рамках различных дисциплин показывают, что социальные сети действуют на всех уровнях от персонального (семейного) до национального и оказывают существенное влияние на жизнь людей, организаций и сообществ, а также в значительной степени определяют успешность этих агентов в их деятельности.

В социологии социальная сеть считается неустойчивой формой существования группы людей, промежуточной между аудиторией (или даже несвязным множеством) и сообществом. Хотя период существования такой формы может быть весьма длительным, социальная сеть должна постоянно воспроизводить себя, а внутри нее должна происходить непрерывная взаимосвязь агентов, в противном случае сеть деградирует до уровня аудитории или разрушится. Под аудиторией в данном контексте понимается объединение людей на основе общего предмета внимания, сообщество предполагает совместное действие, направленное на достижение общей цели. Социальная сеть отличается от аудитории наличием взаимосвязей между участниками

³⁷ *Travers J., Milgram S. An Experimental Study of the Small World Problem // www.cis.upenn.edu/.../travers_milgram.pdf*

объединения, однако не предполагает обязательных целенаправленных совместных действий.

Применительно к сети Интернет понятие социальной сети прежде всего отсылает к теории шести рукопожатий. Согласно популярной гипотезе, выдвинутой в 1969 г. американскими психологами С. Милгрэмом и Д. Трэверсом, каждый человек на Земле опосредованно знаком с любым другим человеком через короткую цепочку общих знакомых – в среднем из шести человек (так называемый «эффект малого мира») ³⁸. В момент появления гипотеза представлялась нереалистичной, особенно в случае с попыткой построить такие связи для жителей малых городов и деревень. Развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий и появление глобальной сети мотивировало возобновление интереса к теории шести рукопожатий и созданию служб, реализующих данный принцип на базе сети.

Исторически первые веб-сайты в сети предполагали исключительно однонаправленную коммуникацию: владельцы или редакция сайтов вещала для пользователей (производила информацию в виде статей, фотографий и т.п.), пользователи, оставаясь анонимными, потребляли информацию как читатели или зрители. С развитием технологий появлялись различные инструменты обратной связи в виде голосований или функции комментирования; активно развивались службы общения в виде конференций и чатов. Переломным моментом можно считать появление функций персонификации пользователей в виде анкет и служб знакомства, предоставляющих возможности поиска таких анкет по заданным признакам.

В настоящее время знакомства и поиск людей являются ключевыми элементами большинства социальных сетей. Другой немаловажной функцией стал поиск «потенциальных друзей» из числа знакомых или людей со схожими данными в анкетах. Это объясняется приоритетной ролью потребности в коммуникации в жизни социума. Почти все популярные службы социальных сетей стремятся удовлетворить ключевые потребности личности, определенные в «пирамиде Маслоу»: общение, признание и самовыражение – предлагая социальную и техническую базу для решения данных задач. Наконец, немаловажными (в некоторых случаях – ключевыми) функциями социальных сетей могут выступать обмен ресурсами и кооперация с целью достижения совместных целей.

³⁸ TRADOC Regulation 350-6 <http://www.tradoc.army.mil/tpubs/regs/tr350-6.pdf>

Важно отметить, что с социологической точки зрения популяризация социальных сетей приводит к изменению принципов концентрации аудитории в сети Интернет. Если традиционно пользователи объединялись в тематические сообщества (подобное структурирование по темам было свойственно еще до развития сети Интернет, в частности, сети Fidonet), в настоящее время аудитория часто организуется вокруг людей, то есть социальные сети более эгоцентричны.

Социальные и коммуникационные функции сайтов обеспечили стремительный рост популярности социальных сетей в Интернет. Благодаря заметному росту пользователей сети Интернет во всем мире участники популярных служб социальных сетей получили значительное пространство для коммуникации и фактически основанный на практике принцип «шести рукопожатий». С 2002–2003 гг. стремительно растет и количество сайтов, обладающих элементами социальной сети. В англоязычной литературе даже распространилась формула YASNS – Yet Another Social Networking Service (букв. «еще одна служба социальной сети»); более того, появились службы, позволяющие пользователям с минимальными затратами создавать собственные службы социальных сетей.

Хотя точный суммарный объем аудитории социальных сетей во всем мире не известен, можно предположить, что это сотни миллионов пользователей. При этом исследования отмечают также высокую активность коммуникаций: в среднем каждый участник социальной сети проводит в ней порядка часа в день (в России около 30% пользователей сети Интернет проводит в социальных сетях от 1 до 3 часов в день). В некоторых случаях увлечение пользователей социальными взаимодействиями в сети Интернет наносит урон их деятельности и активности в мире. Известны случаи запрета доступа сотрудникам коммерческих и даже правительственных организаций к тем или иным социальным сетям (так, солдатам американской армии запрещен доступ к MySpace, в Канаде чиновникам запрещен доступ к Facebook)³⁹. Популярность социальных сетей определяет высокий интерес к подобным службам со стороны бизнеса, инвестиционных фондов и государственных организаций.

В настоящий момент не существует общепринятого бесспорного определения социальной сети в сети Интернет. Обычно это

³⁹ Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship; Boyd, Ellison, 2007 // <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>

понятие определяются как интернет-ресурс, предназначенный для взаимодействия людей в группе или в группах (itpedia.ru). При этом указывается, что в качестве подобия социальной сети можно рассматривать любое сообщество в сети Интернет, представители которого участвуют в совместных обсуждениях. Однако данное определение чрезмерно размыто и не выделяет именно социальные аспекты сетей.

Эллисон и Бойд⁴⁰ определяют социальную сеть в Интернет как веб-сервис, позволяющий пользователям:

- Создавать открытые (публичные) или частично открытые профили пользователей
- Создавать список пользователей, с которым они состоят в социальной связи
- Просматривать и «трассировать» свой список связей и аналогичные списки других пользователей в рамках одной системы.

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение понятию «социальная сеть». Социальная сеть в сети Интернет это интерактивный многопользовательский веб-сайт, обладающий следующими обязательными качествами:

- содержание (контент) сайта создается исключительно или преимущественно его пользователями;
- сайт представляет автоматизированную среду, в рамках которой пользователям имеют возможность создавать связи с другими пользователями (социальные связи) или создавать социальные объекты (тематические группы);
- пользователи имеют возможность получать статическую и динамическую информацию об объектах, существующих в данной социальной среде, о социальных связях между ними;
- пользователям доступны коммуникационные функции с другими пользователями и социальными объектами.

Таким образом, от других типов ресурсов в сети Интернет, в том числе сайтов, имеющих функции обратной связи или предлагающих инструменты общения пользователей, социальные сети отличаются развитой социальной направленностью и наличием механизмов, явно

⁴⁰ www.regierenkapieren.de

позволяющих пользователям объединяться в взаимодействовать в группах.

Схематично принципы взаимодействий в наиболее типовой социальной сети можно описать следующим образом. Пользователь А создает личный профиль, в котором указывает необходимые анкетные данные, и определяет свою связь с пользователем Б. В таком случае пользователь А сможет следить за действиями или находящимися в открытом доступе сообщениями пользователя Б; пользователь Б в общем случае получит доступ ко всей информации пользователя А. Пользователь В сможет найти пользователя А или Б по анкетным данным (например, на основе схожих интересов, близкого географического положения, биографических данных, наличия общих знакомых) и установить собственную связь с ними. Существенно отметить, что все три пользователя могут не состоять в реальной социальной сети и даже не знать друг друга лично. Хотя изначально термины «друзья», «контакты» и другие, как правило, были реально обоснованны, в современных социальных сетях количество связей каждого пользователя может исчисляться сотнями или тысячами, многие из которых могут быть не знакомы пользователю.

Ключевым системообразующим элементом социальной сети, как правило, является база связей пользователя. На основе таких баз пользователи могут коммуницировать между собой или искать других пользователей, связанных с ними через цепочку знакомых. Социальный статус пользователя в данной сети гласно или негласно определяется объемом этой базы. От нее же, как правило, зависит потенциальная аудитория сообщений данного пользователя (чем больше связей, тем больше людей увидит информацию, опубликованную пользователем). В некоторых случаях, однако, данные о социальных связях пользователя могут быть скрыты. Такие социальные сети привлекают людей, предпочитающих иметь определенную приватность в общении или нежелающих афишировать персональную информацию.

Большинство социальных сетей позволяет контролировать степень приватности публикуемой информации. Сообщения могут быть персональными (обращенными к конкретному участнику сети), закрытыми или приватными (доступными ограниченному кругу лиц, например, друзьям пользователя), публичными (доступными для просмотра всем пользователям сети или, в случае открытых сетей, любому человеку в сети Интернет). С 2007 г. появились специали-

зированные независимые службы поиска по социальным сетям: подразделы в поисковых системах Яндекс и Google позволяют проводить поиск по блогам, журналам и сайтам социальных сетей, а также предоставляют связанную с ними статистику (например, наиболее популярные темы в социальных сетях за определенный промежуток времени).

Представляется возможным выделить типичные характеристики и функции социальных сетей:

— Хранение персональных анкетных данных участников и информации об их связях («друзья», «контакты» и т.п.)

— Возможность устанавливать связи типа «друг», «знакомый» и т.п. в отношении других участников сети

— Возможность размещать на сайте собственное информационное наполнение (статьи, комментарии), в том числе мультимедийное (фотографии, музыка, видеоролики)

— Возможность обмена мгновенными или почти мгновенными сообщениями с другими участниками сети (чат)

— Возможность отслеживать активность (публикуемую информацию) других пользователей и реагировать на нее голосованием, комментированием

— Возможность индексировать информационное наполнение посредством задания ключевых слов, упрощающих систематизацию и, в дальнейшем, поиск информации

— Возможность создавать тематические группы, устанавливать принадлежность к тематическим группам

— Наличие рейтингов пользователей по различным параметрам (статистические, вычисляемые), например, популярность, активность, рейтинг отношения или доверия других пользователей

— Назначение модераторов из числа участников сети (преимущественно в тематических коллективных блогах)

— Расширенные функции, построенные на базе связей участников (например, календарь событий или встреч пользователей с функциями совместного доступа)

— Возможность создания мини-программ на основе стандартизированного открытого языка разработки для интеграции в функционал социальной сети

— Игровая составляющая, создающая дополнительную мотивацию общения и взаимодействия участников (как правило, многопользовательские игры, частично ориентированные на расширение круга контактов пользователя)

Кроме того, социальным сетям обычно характерны:

— Высокая скорость распространения информации, в том числе доверительных мнений («экспертные трибуны») и настроений («са-рафанное радио»)

— Высокая активность коммуникаций (каждый участник социальной сети проводит в ней в среднем 2 часа в день)

Неспециализированные социальные сети изначально лишены какой-либо специализации и не несут никаких ограничений по тематике коммуникаций участников (хотя в некоторых случаях в рамках конкретной социальной сети может сформироваться доминирующая группа пользователей со схожими интересами). В то же время в рамках крупных социальных сетей часто происходит сегментация аудитории по тематическим интересам с созданием соответствующих групп внутри сети, таких как тематические и профессиональные сообщества в LiveJournal.com.

Специализированная социальная сеть – социальная сеть, участники которой изначально объединяются вокруг определенной темы, идеи или области профессиональной деятельности. Такой специализацией могут выступать фотография, автомобили, политика, природа, воспитание и другие темы.

В качестве специализированных социальных сетей можно рассматривать тематические группы и объединения пользователей внутри крупных глобальных социальных сетей (MySpace, Facebook, ВКонтакте, LiveJournal).

Основные отличия специализированных социальных сетей от обычных:

— Наличие специфического функционала, востребованного в данном сообществе

— Существенно меньшая аудитория

— Более сильная степень влияния на участников

— Высокая активность аудитории в вопросах, связанных со специализацией конкретной сети, профессиональное понимание тематики

Как мы видим, к настоящему времени в силу своей распространенности, богатству функций и сложности структуры социальные сети стали достаточно значительным фактом социальной организации/дезорганизации. Это неизбежным образом привлекает к ним влияние различных государственных служб, ведомств и институтов. Проанализируем наиболее значительные примеры использования социальных сетей в интересах государств.

Правительственные органы ФРГ достаточно широко используют в целях информирования граждан мультимедийные политематические порталы, электронные газеты и журналы, новостные ленты и электронную почту. Консультации в он-лайн режиме и прочие формы диалога с гражданами в основном используют региональные (земельные) и муниципальные власти. Пока на федеральном уровне такие сервисы редки и в основном ограничены форумами и чатами. Вместе с тем, федеральное правительство ФРГ в сентябре 2008 г. запустило в Интернете сайт для детей и подростков в возрасте от 10 до 14 лет⁴¹. На сайте в развлекательной форме дается информация о немецких политиках, о политической жизни страны и Европы. В рамках этого медиа-проекта свой личный аудио-подкаст для детей ведет А. Меркель. Сайт обладает развитыми интерактивными формами взаимодействия с детьми. Федеральное министерство внутренних дел в 2010 г. создало специализированную электронную сеть, обеспечивающей всем полицейским Германии быстрый доступ к служебной информации, позволяющей производить аутентификацию владельцев электронных паспортов и удостоверять подлинность документов. По инициативе и при поддержке Федерального министерства экономики и технологий ФРГ Союз инженеров Германии в течение ряда лет поддерживает работу 110 профессиональных социальных сетей по различным направлениям науки и техники в целях поддержания научных связей между заинтересованными учеными и специалистами и стимулирования инновационной деятельности. Так, Аахенский центр компетенции в области медицинской техники поддерживает работу сети по медицинской тематике⁴². Проведенный в 2008 г. анализ целевых групп пользователей сети Интернет

⁴¹ <http://www.kompetenznetze.de/netzwerke/medtech-AKM>

⁴² http://www.actaonline.de/presentationen/acta_2008/acta_2008_Information%2390EDC.pdf

в ФРГ⁴³ показывает, что 73% пользователей в возрасте от 14 до 64 лет целенаправленно посещают в сети определенные выбранные ими сайты и относятся к категории «преданных пользователей». 49% пользователей ищут в сети информацию по политическим проблемам. Структура целевых групп, а также соображения информационной безопасности и высокой ресурсоемкости интерактивных инструментов веб 2.0 заставляют правительство ФРГ с осторожностью и неторопливо переходить к интерактивным формам общения с гражданами в социальных сетях. Акцент делается на формате электронного правительства. В 2005 г. было завершено выполнение государственной программы «BundOnline» стоимостью 650 млн. евро, благодаря которой в Интернете стали доступны гражданам все услуги государственных органов⁴⁴ Настоящий портал предусматривает коммуникации в разных направлениях: сверху вниз (G2C) и снизу вверх (C2G). В 2008 г. наметился переход некоторых органов власти на интерактивные порталы. Федеральное министерство экономики и технологий ввело в действие портал⁴⁵, на котором поддерживается диалог с потребителями энергии (перспективы изменения цен на энергоносители и электричество, методы энергосбережения в домашнем хозяйстве, рекомендации по альтернативным поставщикам услуг). Министерство по защите окружающей среды и климата запустило предназначенный для молодых пользователей блог⁴⁶ с сильно развитыми интерактивными возможностями. Помимо сетевых дискуссий по вопросам экологии на данном сайте практикуется размещение фото- и видеоконтента пользователей, содержащего информацию о конкретных случаях нарушения экологических норм.

В Австралии на правительственном портале Get Involved Directory⁴⁷ гражданам страны, желающим принять участие в политическом процессе, предоставляются возможности виртуального участия в дискуссиях и форумах, получения консультации или размещения предложений, идей или обмена опытом. Кроме того, гражданам дают советы, как включиться в реальную политиче-

⁴³ www.bund.de

⁴⁴ www.energie-verstehen.de

⁴⁵ www.meinumweltblog.de

⁴⁶ www.svc021.syd1-0106dpq.server-web.com/index.cfm

⁴⁷ www.svc021.syd1-0106dpq.server-web.com/index.cfm

скую жизнь страны. Кроме того, в Австралии существует достаточно развитое интернет-сообщество представителей органов власти: Australian Gov 2.0 Community⁴⁸.

В США еще в 2007 г. избирательный штаб Барака Обамы использовал во время предвыборной борьбы технологию ежедневной рассылки по электронной почте листовок новостей в индивидуальные адреса избирателей так, что у тех складывалось впечатление, что к ним обращается лично Обама. Эта политическая маркетинговая технология легко может быть трансформирована в интересах правительственных органов, которые могут персонифицировать свои информационные контакты с гражданами.

На правительственном портале ExpectMore.gov⁴⁹ административная и аналитическая служба в режиме он-лайн отслеживает ход выполнения правительственных программ и размещает оценки о достижении конкретного результата или провале исполнения. Граждане получают возможность наблюдать, насколько эффективно используются государством полученные от них в виде налогов деньги. Реакция наблюдателей на подозрительные решения и действия правительственных органов публикуется тут же в портале, и с этой реакцией могут ознакомиться другие посетители портала (в шутку их именуют «сторожевыми псами»).

В конце мая 2009 г. власти США открыли портал Data.gov, куда начали выкладывать федеральные данные в машиночитаемых форматах. Пока там собрана не вся правительственная информация, но в дальнейшем, по планам властей, именно Data.gov станет основным ее источником.

Преуспели США в области использования социальных сетей для нужд технической разведки. Инвестиционное подразделение ЦРУ под названием In-Q-Tel инвестировало в стартап Visible Technologies, который занимается мониторингом социальных медиа в Сети. Таким образом, американские спецслужбы рассчитывают более эффективно использовать "открытые разведданные". ПО от Visible Technologies умеет отслеживать более полумиллиона WEB 2.0-сайтов ежедневно, проверяя миллионы постов и обсуждений в блогах, на форумах и в комментариях на таких ресурсах, как Flickr, YouTube, Twitter и Amazon. Однако, на сегодняшний день технология Visible Tech-

⁴⁸ <http://gov20australia.ning.com/>

⁴⁹ <http://gov20australia.ning.com/>

nologies не приспособлена для мониторинга популярных "закрытых" социальных сетей, таких как Facebook. Пользователи данной разработки могут получать в реальном времени новые упоминания об интересующей их теме, заданной в виде ключевых слов. Кроме того, разработка Visible Technologies позволяет пользователям выставлять теги для постов, пересылать их своим коллегам и обсуждать данные материалы через специальный веб-интерфейс. ПО от Visible умеет оценивать каждый проверяемый пост, определяя контекст его содержания как позитивный, негативный, смешанный или нейтральный. Также программа может оценить степень влияния беседы на сайте или автора какой-либо заметки на общественное мнение. По словам представителей In-Q-Tel, задача Visible – помогать ЦРУ отслеживать иностранные социальные медиа и обеспечивать военных информацией о выявлении различных проблем. Впрочем, как отмечают аналитики, данный инструмент можно будет направить и на контроль медиа в самих США. Сейчас Visible Technologies уже занимается мониторингом WEB 2.0-ресурсов для таких компаний, как Dell, AT&T и Verizon. А для Microsoft Visible мониторит мнения о новой операционной системе Windows.

Верхняя палата британского парламента совместно с независимой неправительственной организацией Hansard society модерирует «Блог лордов»⁵⁰, обеспечивая прозрачный доступ всем желающим к комментариям. Подобный блог ведет министр иностранных дел. Правительство определило норматив, регламентирующий правила блогосферы для государственных служащих, которые желают поддерживать он-лайн контакт с гражданами. В таких блогах также предусмотрен сервис для поддержки комментариев читателей и обеспечения доступа к ним для третьих лиц. Таким образом, мотивируется развитие критики снизу вверх в рамках политической коммуникации.

Кабинет министров поддерживает в интерактивном режиме сайт «Покажи нам правильный путь»⁵¹. Суть этой коммуникации состоит в привлечении рядовых граждан к выработке политических мер по актуальным событиям внутренней и внешней политики. Гражданин, давший правительству хорошую идею, получает солидное вознаграждение в размере 20 тыс. фунтов. Аналогичную акцию по «покупке»

⁵⁰ www.whitehouse.gov/omb/expectmore

⁵¹ www.lordsoftheblog.wordpress.com

идей граждан ведет министерство юстиции, выделившее в этих целях бюджет в 150 тыс. фунтов.

В Великобритании проведено исследование эффективности интерактивных инструментов веб 2.0 с точки зрения влияния на общество. В исследовательском отчете о цифровых диалогах с населением⁵² дается оценка, что граждане относятся с большим доверием и прислушиваются к мнению участвующих в диалогах политиков, если политики максимально быстро реагируют на вопросы или посты партнеров по диалогу, а также, если диалог ведется по двум каналам одновременно и приближается по формату к обычной беседе.

В руководстве правительства Великобритании собраны простые правила, которые позволяют государственному блогу потенциально стать более эффективным. Например, такие правила как то, что блоггинг ведется от лица ведомства, что в качестве аватара берется логотип министерства или службы, а в день должно выходить от двух до десяти сообщений, не чаще, чем раз в полчаса. Описываются разные виды записей в официальном микроблоге, мелкие технологии, такие как укорачивание ссылок и т. д.

В Южной Корее участие граждан в выработке политических решений стимулирует существующий с 2003 г. веб 2.0 форум Cyber Policy Forum . Здесь ежемесячно обновляются актуальные темы для общественной дискуссии и разработке предложений. Так, в 2003 году по 6 темам было принято 23 предложения граждан, которые легли в разработку правительственных программ.

В Дании 2001 г. в провинции Северная Ютландия состоялась двухмесячная он-лайн дискуссия между политиками и молодыми избирателями, впервые идущими голосовать. В форуме приняли участие 46 политиков. Правительство Дании выделило на проект 700 тыс. евро. В результате дискуссии существенно повысилась явка молодых избирателей на выборы, и результат мероприятия был положительно оценен властью.

Одним из наиболее показательных примеров использования социальных сетей в военно-политических целях продемонстрировал Израиль. Во время военной операции Израиля «Литой свинец» в секторе Газа осенью 2008 г. на самой посещаемой русскоязычной площадке блогов Livejournal.com произраильские блоггеры открыли уже на второй день начала боевых действий блог «gaza2009». Позже блог

⁵² www.showusabetterway.co.uk

зарегистрировался и начал работу в других популярных социальных сетях Контакт.ру, Одноклассники.ру.

Инициатором и модератором блога стал бывший советник министра обороны Израиля М. Бибичков. Блоггеры объявили своей главной задачей инициировать и координировать разъяснительную работу среди русскоговорящего населения Израиля и вне его (в России) о позиции Израиля «в справедливой борьбе с террористами Газы». За несколько дней блог объединил вокруг более 1 тыс. постоянных читателей-блоггеров. В день блог посещало около 30 тыс. человек. Через блог шло оповещение участников о проведении акций в поддержку Израиля во всех точках мира и проводилась рекрутизация наиболее убедительных с точки зрения пропаганды сторонников Израиля. Блог аккумулировал и распространял поток мультимедийной информации, аналитических материалов, экскурсов в историю конфликта. 14 января 2009 г. организаторы блога «gaza2009» были приняты членом правительства Израиля Ш. Мофазом, который дал высокую оценку деятельности «штаба русскоязычных блоггеров» в поддержку политики Израиля. Активность израильских блоггеров не ограничивалась русскоязычным сегментом Интернета. В начале января 2009 г. в англоязычной сети *Facebook* начало работу сообщество блоггеров «I wonder how quickly I can find 1 000 000 people who support Israel». Уже к 15 января 2009 г. сообщество расширило свой состав постоянных читателей-корреспондентов до 150 тыс. чел.

Еще во время войны в Газе в англоязычном сегменте Интернет была зарегистрирован блог *Giyus.org* еврейской студенческой организации «World Union of Jewish Students. В поддержку «патриотического» блога МИД Израиля распространил в сети письмо, в котором призвал всех симпатизирующих Израилю читателей «осознать важность Интернета как нового поля битвы создания имиджа Израиля» и призвал «улучшить координацию усилий в режиме онлайн от лица Израиля». МИД призвал симпатизантов скачивать с сайта блога *www.Giyus.org* «полезную утилиту «Internet Megafone», с помощью которой читатели будут получать ежедневные информационные материалы, «требующие возражений». Читателей призвали активно рекрутировать в своем окружении лиц, желающих поддержать Израиль в Интернете. Была названо минимальное число участников проекта (100 тыс.), которое необходимо достичь для получения «нужного эффекта». Ресурс сайта микроблоггинга *Twitter* активно использовался сотрудниками генконсульства Израиля в Нью-Йорке. В целом,

по выражению министра абсорбции Израиля Э. Афлало, «армия блоггеров» является новейшим оружием Израиля на информационном фронте».

Как мы видим, усилия государства регулировать сферу социальных сетей пока что ограничиваются попытками составить некоторую конкуренцию в этой области, выступая в качестве создателя собственных социальных сетей, тематических групп и генераторов контента; ведением мониторинга и разведки. Более же глубокое регулирование, в том числе юридическое сталкивается со сложностями технической реализации, в основе которых лежит технология облачного хостинга. Показательным примером является техническая сложность удаления ссылок на фильм «Невинность мусульман» с видеохостингов во исполнение судебного предписания. Рассмотрим эти проблемы.

Очевидно, что в странах с развитой коммуникационной инфраструктурой социальные сети как форма общественной коммуникации постепенно вытесняет другие формы, в основе которых лежит личное общение и общение с помощью средств массовой информации. Бурный рост количества пользователей социальных сетей, количества самих социальных сетей, разновидностей контента и открыто предоставляемых сервисов экспотенциально увеличивает сложность этой области человеческой деятельности. Характерно, что эта область деятельности является трудным объектом для анализа и мониторинга в силу своей сложности и многообразия, несмотря на свою открытость. Самоорганизующийся аспект неизбежно вступает в конфликт с потребностью организации и управления этой сферой деятельности не в ущерб тем целям, ради которых социальные сети были созданы. Судя по всему, изначальный смысл создания социальных сетей носил коммерческий характер, однако со временем они стали использоваться в общественных и политических целях. Первыми ценность социальных сетей для интересов государства осознали спецслужбы в интересах разведки, контрразведки, сбора установочных данных о лицах, дезинформационных и пропагандистских мероприятий. Таким образом, на вооружение был взят негативный аспект социальных сетей – открытость, массовость, безопасность сбора информации и относительная легкость анонимного действия. Этот же негативный аспект стал предметом беспокойства государственных служб, ответственных за соблюдение контрразведывательных режимов и внутреннюю политическую

стабильность. Только в последние 5 лет некоторые государства (США, ФРГ, Великобритания, Австралия, Дания и др., в т.ч. Россия) осознали необходимость использовать социальные сети с целью увеличения повседневной эффективности прочих органов государственной власти, а не только спецслужб. Кроме того, степень влияния социальных сетей на внутреннюю и внешнюю политику приобрела такой масштаб, что стала очевидна необходимость регулирования этой отрасли как на техническом, так и на юридическом уровне. Существуют радикальные способы регулирования, включающие в себя ограничение пользования Интернетом (правовыми или экономическими мерами) и ограничение доступа к определенным сервисам и доменным зонам техническими средствами. Пример жесткого заградительного режима можно обнаружить в КНДР, где Интернетом имеет право пользоваться только очень ограниченный круг государственных и партийных чиновников. В Туркменистане интернет легализован, однако стоимость его такова, что абсолютно не по карману подавляющему большинству граждан. В Китае реализован достаточно изощренный технический способ фильтрации неблагоприятного контента, благодаря которому понятие «китайский файрволл» стало нарицательным. В тех же странах, в которых доминирует либеральный подход на коммуникационную политику, подобные меры рассматриваются как явно неприемлемые, поскольку считается, что они приносят больше вреда, чем пользы. Возможность избирательной фильтрации контента, а не отключения целых публичных сервисов, как это реализовано в Китае, является технически непростой задачей в силу самой архитектуры социальных сетей. Дело в том, что большинство социальных сетей на уровне технической реализации основаны на технологии облачного хостинга, развивающейся в настоящее время опережающими темпами. Облачный хостинг является технологией, существенно увеличивающей сложность трансляции, хранения и обеспечения безопасности данных. Службы, ответственные за безопасность данных, особенно трансграничных, на данный момент, очевидно, не справляются с этими вызовами.

Вне всякого сомнения в основе любого рационального способа регулирования интернет-ресурсов лежит мониторинг. Методология мониторинга социальных сетей включает в себя комплексную обработку, учет и анализ данных, полученных в процессе следующих мероприятий:

- Сбор текстовых массивов информации с сайтов социальных сетей;
- Сбор данных о посещаемости социальных сетей;
- Построение обновление комплексных рейтингов;

В результате проведения этих мероприятий собираются массивы данных следующего типа: а) текстовые массивы данных, представляющие собой проиндексированные поисковым механизмом базы данных; б) данные в виде записей о каждом посещении пользователями Интернет страниц сайтов из так называемых «лог-файлов», собираемых системами веб-серверов при каждом запросе любой страницы.

В виду того, невозможности получить лог-файлы со всех сайтов (эти данные принадлежат владельцам веб-сайтов и не могут быть переданы ими третьим лицам по запросу по причине конфиденциальности; исключение – запросы органов внутренних дел в рамках проведения следственно-розыскных мероприятий) единственным способом получить данные о посещаемости всех страниц сайтов является использование данных интернет-статистики.

Интернет-статистика – это сервис, позволяющий собирать и анализировать различную информацию о посетителях веб-сайтов. Информация выбирается из данных, предоставляемых сетевыми протоколами. Для получения переменных протокола из запроса пользователя требуется, чтобы вместе со страницей сайта выполнялся серверный скрипт системы интернет-статистики. Самым простым способом сделать это является размещение на странице картинк-счётчика посещений или интернет-счетчика. Подобные процедуры сбора и оценки данных с помощью интернет-счетчиков называют внешним аудитом, в отличие от внутреннего аудита на основе анализа лог-файлов. С помощью интернет-статистики можно выявить следующие параметры:

- посещаемость сайта специализированной социальной сети;
- популярность страниц (материалов) социальной сети;
- источники переходов посетителей на сайт социальной сети;
- поисковые системы и запросы, по которым посетители попадают на сайт социальной сети;
- каталоги и рейтинги, из которых на сайт социальной сети приходят посетители;

- пути, по которым проходят посетители по сайту социальной сети, начиная с точки входа и заканчивая точкой выхода с сайта;
- информация об используемых посетителями сайта социальной сети браузерах и операционных системах, о параметрах их настройки;
- информация об IP-адресах посетителей, используемых ими провайдерах подключения к сети Интернет;
- о географическом местоположении посетителей – страны и города.

Можно сделать вывод, что внешний аудит является предпочтительней внутреннего мониторинга по ряду причин: а) при внешнем аудите возможно измерение показателей посещаемости специализированных социальных сетей и сайтов ФОИВ единым набором измерительных инструментов по общей методике. Это дает возможность адекватного сопоставления результатов измерений для различных специализированных социальных сетей; б) реализация мониторинга по схеме внешнего аудита позволяет осуществлять его по большему числу параметров, позволяет менять параметры мониторинга «на лету», без вмешательства в работу программного обеспечения сайтов самих сетей. Некоторые социальные сети могут не иметь вообще или иметь недостаточно развитые средства собственного мониторинга; в) при внешнем аудите снижается вероятность недобросовестного влияния на окончательные результаты мониторинга со стороны заинтересованных представителей самой социальной сети; г) оценка посещаемости с помощью установки интернет-счетчика является одной из наиболее надежных реализаций мониторинга специализированных социальных сетей.

Цензура и фильтрация данных

Политическая цензура является достаточно старым и неплохо изученным политическим явлением. В странах с демократическими режимами политическая цензура запрещена, считается одним из наиболее больших зол, препятствующих реализации свободы слова и свободы совести. Однако, следует признать, что даже в демократических странах она существует на уровне редактор-

ской политики. Эта редакторская политика мотивируется либо конъюнктурой рынка, либо доминирующими в обществе и истеблишменте идеологическими установками или негласными соглашениями между властями и редакторами в рамках неформальных клубов. Так или иначе, до появления Интернета существовали достаточно эффективные инструменты ограничения свободы слова и свобода печати в различных диапазонах.

Внедрение Интернета в массы стало серьезным вызовом тем политическим режимам, для которых политическая цензура, осуществляемая через контроль над СМИ, была одним из привычных и эффективных способов удержания власти. Если в доцифровую эпоху зарубежные пропагандистские радиостанции были существенным фактором в нарушении государственных монополий на публичное распространение информации, то можно себе представить, какую огромную роль играют зарубежные информационные порталы и дискуссионные площадки сегодня. В прошлом такие государства боролись с зарубежными радиоголосами техническими средствами с помощью технологий радиоэлектронной борьбы – «глушилок». Сегодня ситуация не изменилась принципиально, – государства, склонные к жестким политическим цензурным режимам продолжают использовать технические средства для фильтрации и блокировки нежелательной электронной информации, в данном случае – не в радиозфире, а в сетях передачи данных. Существуют государства, которые осуществляют такую фильтрацию в скрытом виде, основываясь на постановлениях (иногда – секретных) органов исполнительной власти. Иными словами, само существование режима фильтрации может быть засекречено от народа. Например, в Туркменистане, зачисленном «Репортерами без границ» в список «врагов интернета», фильтрация интернета никак не оговорена на законодательном уровне, хотя существует в действительности. Многие китайские граждане также не подозревают о том, что поисковые запросы претерпевают глубокую фильтрацию. Особенности работы «Великого китайского файрволла» до сих пор являются большой тайной и предметом детального изучения. В 2002 г. в Китае были введены правила для провайдеров, обязывающие фильтровать и удалять с сайтов призывы к свержению коммунизма, контент, в котором страдает репутация Китая как государства, а так же контент, в котором пропагандируется сепаратизм или «культы зла». Под «культом зла» в первую очередь имеется в виду опальная

секта «Фалуныгун», формально объявленная вне закона⁵³. Любопытно, что власти КНР называют учение «еретическим», хотя Китай является светским, более того – атеистическим государством. Впрочем, это не более чем результат неудачного перевода на европейские языки термина, означающего на китайском языке «ложное учение»⁵⁴.

У другого «врага интернета» – Королевстве Саудовская Аравия, государстве с абсолютной монархией, необходимости имитировать демократию и свободу слова нет совсем, поэтому режим политической цензуры действует совершенно открыто. В этой стране, где официальной идеологией является религиозная идеология в форме ваххабистской версии ислама, критика ваххабизма запрещена, а течение шиизма объявлено ересью. У заклятого врага Саудовской Аравии – государстве победившей шиитской теократии Исламской республике Иран ситуация не многим лучше. Уголовный кодекс Ирана определяет такие преступления, как пропаганда против государства, «оскорбление религии», создание «тревоги и беспокойства в общественном сознании», распространение «ложных слухов», критика чиновников. Другой ключевой частью законодательства для регулирования онлайн-контента в Иране стал Билль о кибер-преступлениях (Cybercrimes Bill), ратифицированный в ноябре 2008 г.. Он требует от провайдеров, чтобы «запрещенный» контент не отображался на их серверах, чтобы они немедленно информировали правоохранительные органы и сохраняли контент в качестве доказательств.

Впрочем, не стоит впадать в иллюзию, что только для так называемых «азиатских деспотий» характерно запрещение враждебных идеологий и фильтрации нежелательного политического контента. В таких столпах западной демократии, как Франция и Германия официально запрещена пропаганда нацизма. Германия поддерживает черный список книг, комиксов, журналов, видеокассет и музыки, так называемый Индекс. Список, первоначально предназначенный для защиты молодежи от порнографии, был расширен и стал включать другое содержание, в частности, материалы, где идеализируется история Германии, продвигаются идеи неонацизма или отрицается Холокост. Серьезной проблемой для системы цензуры Германии являлось «несговорчивость» иностранных сайтов следовать цензурным предписаниям немецких судов. Так, в сентябре 1996 г. по предписа-

⁵³ China creates stern Internet, e-mail rules // Associated Press/USA Today, 18 Jan 2002

⁵⁴ Новая китайская секта «Фалуныгун» // <http://iriney.ru/sects/falun/001.htm>

нию Генеральной прокуратуры Германии немецкие провайдеры предприняли попытки заблокировать доступ к сайтам, таким, например, как размещенный в Нидерландах сайт праворадикального журнала «Радикал». Эта акция имела непосредственный эффект в виде дальнейших публикаций этого материала, включая его расползание по зеркалам сайта, сгенерированных в различных частях мира под различными юрисдикциями. В июле 2000 г. Правительство Германии фактически признало свое поражение, объявив, что оно прекращает ограничивать доступ к контенту за пределами страны.

В пределах Германии ситуация остается прежней. 19 марта немецкий провайдер Hetzner Online AG полностью заблокировал работу сайта Forum.msk за отказ в удалении статьи коммуниста Александра Майсурына «Цветы для русского дуче», в которой он критикует открытие памятника Столыпину, сравнивая его политику с политикой Бенито Муссолини. Помимо явно осуждающего обсуждения политики Муссолини, приведшей страну к краху, А. Майсурян позволил себе процитировать фрагмент из «Моей борьбы» Адольфа Гитлера. Несмотря на антифашистское содержание статьи, провайдер предпочел отказать сайту в хостинге на основании антинацистского законодательства. Следует добавить, что сделано это было на основании письма администрации сайта от некоего лояльного российского гражданина, воспользовавшегося хорошим знанием немецкого законодательства для борьбы с оппозиционным нынешней власти сайтом.

Подобные же события имеют место во Франции, однако французские власти оказались более стойкими. В 2012 г. в суд обратился Союз еврейских студентов (UEJF) и французская группа адвокатов. 24 января 2013 г. суд предписал сервису Твиттер раскрыть персональные данные пользователя, который размещал антисемитские посты, которые рассматриваются французскими властями как нарушение французских законов, направленных против речей, разжигающих ненависть. Администрация Twitter отписалась, что она «рассмотрит варианты» относительно французских обвинений. Твиттеру было дано две недели, чтобы выполнить решение суда, пока не будет наложен ежедневный штраф в размере 1 тысячи евро. Вопрос о юрисдикции во исполнение решения суда оказался существенным, поскольку у Твиттера не оказалось ни офисов, ни сотрудников во Франции. По этой причине оказалось совершенно непонятно, как исполнить решение суда.

Вероятно, не будет большим преувеличением сказать, что феномен запрещения конкретных форм светской и религиозной идеологии является прямым вызовом свободе слова и свободе выражения, что является прямым попранием общепринятых представлений о правах человека. Однако, возможно допустить, что в ряде обществ такие запреты оправданны по причине особых исторических условий (например, необходимость денацификации Германии) или разделяемы большинством граждан или подданных.

Научное издание

Д.В. Винник, Ю.В. Попков, Н.С. Розов,
Е.А. Тюгашев, В.В. Целищев, А.А. Шевченко

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

Оператор электронной верстки Г.Я.Симанова

Подписано в печать 20.12.2013.

Формат 60×90¹/₁₆.

Офсетная печать.

Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 21,5.

Уч.-изд. л. 20.

Тираж 400 экз.

Заказ № 810.

Оригинал-макет изготовлен на настольной издательской системе.

Отпечатано в типографии «Манускрипт», г. Новосибирск, ул. Зеленая горка, 1/14.